

БОРИС ХАЗАНОВ ДАЙ МНЕ ИМЯ

БОРИС ХАЗАНОВ

БОРИС
ХАЗАНОВ

ДАЙ
МНЕ
ИМЯ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис
ХАЗАНОВ

ДАЙ
МНЕ
ИМЯ

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

X 152

Хазанов Б.

X 152 Дай мне имя / Б. Хазанов. – СПб.: Алетейя, 2017. – 400 с.

ISBN 978-5-906910-60-8

В книге, объединившей под общей обложкой четыре сборника художественных и философских произведений, автор, русский писатель и мыслитель, лауреат «Русской премии» и обладатель многих других престижных наград, политический эмигрант из СССР и представитель русского литературного Зарубежья, подводит итоги своего творчества и жизни на родине и в изгнании.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-60-8



© Б. Хазанов, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини.

Осип Мандельштам

Из сборника
«ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ СУРОВЫЕ»

ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ СУРОВЫЕ

1

Водокачка стояла на отшибе, у спуска в овраг, наполовину засыпанный снегом; на дне оврага между сваями расплылась зеленая полынья. Наверху визжал ворот, и старик банщик, разъезжаясь валенками на обледенелом помосте, вытаскивал оплывшую бадью. Вода, сверкая, как серебро, бежала по бородатому от сосулк желобу, встроенному прямо в окошко бани: там она вливалась в огромную бочку, которая одна занимала половину парильни.

Все сооружение выглядело очень старым. Помост пел и раскачивался под ногами у банщика, когда он вытягивал из воды плескавшуюся щербатую бадью. Сруб осел и был источен червяком; внутри бани стены и потолок покрылись копотью, в углах голубела плесень, а пол, никогда не просыхавший, был в трещинах и ходил под ногами. И баня, и водокачка над оврагом, и видневшиеся вдаль, покрытые шапками снега терема начальств были возведены еще первыми строителями, теми, кто давно уже истлел под корягами старых пней. В те времена на месте оврага, по дну которого теперь влачился безродный ручей, текла глубокая и быстрая речка, носившая древнее раскольничье название, а там, где был поселок, рос густой лес.

Визг ворота над ручьем и дым, поднимавшийся из трубы над древним памятником цивилизации, не могли означать ничего другого, как то, что сегодня — банный день. И шествие начальств, направляющихся в парильню, открывала августейшая царствующая чета. Впереди четким военным шагом, в шинели, достававшей ему почти до пят, шел начальник лагпункта. Банщик нес за ним таз и веник. А следом, в пуховом платке и больших валенках, семеня, стараясь не отставать, существо, состоявшее при великом князе, то ли работница, то ли жена — девушка, даже почти девочка, которую капитан взял к себе в дом из ближней деревни.

В бане, подвернув лагерные кальсоны, старик (фамилия его была Набиркин), тяжело дыша, хлестал веником толстое и до глаз налитое кровью тело начальника. На лице старика было всегдашнее выражение истовости, сознания долга и какого-то унылого мужества; он любил свою работу, дорожил местом и старался изо всех сил, так что пот струился по его кривой и тощей спине, на которой безостановочно двигались оттопыренные лопатки. В клубах пара грохотал радостный мат-капитана. А жена капитана, худенькая и малокровная, с провалами темных монашеских глаз, доставшихся ей от предков раскольников, сидела в предбаннике, держа наготове домашний графинчик.

Великий князь выходил — вылезал, — он был весь красный и распухший, в свекольном нимбе, с росинками жемчуга вокруг чела и, прикрытый снизу полотенцем, принимал из рук ее стопку, полную до краев. Он ценил это умение подать стопку, полную, как глаз, не пролив, однако, ни капли. После чего имел обыкновение, выдохнув воздух, сопя, налить маленько и банщику. Набиркин торопливо натягивал ватные порты. Время было оставлять капитана вдвоем с княгиней, замиравшей от страха под отечески-хищным, хитробезумным взглядом склеротических глаз самодержца. Старик Набиркин, похожий на старую ученую собаку, тряся головой, трусил по тропке в поселок.

Навстречу ему уже брел худой и грустный начальник спецчасти. Шайку с веником и смену белья несла за начальником бухгалтерша, его жена, и было слышно, как она покрикивает на мужа, то и дело оступавшегося в снег. Спецчасть редко когда бывал трезвым, и на работе все дела за него вел заключенный, числившийся дневальным: пересчитывал и перекладывал формуляры, составлял сводки, списки и секретные отчеты, так что начальник ничего не делал, только ставил дрожащей рукой подпись под бумагами, в которых давно уже не разбирался. Покончив с ними, банщик отправлялся к дому командира взвода.

Так он обходил по очереди всех начальников, следуя раз навсегда установленному порядку, строго соблюдая последовательность лагерных должностей и чинов. При этом и щедрость его услуг в точности равнялась чину служаемого, так что за мелкими начальствами он и не заходил вовсе, передавая приглашение через посторонних; старик Набиркин гордился этим умением с одного взгляда, брошенного наверх из пропасти своего ничтожества, мгновенно и

безошибочно определить меру величия каждого начальника, умением, без которого не обойтись в мире, где любой, с кем имеешь дело, — начальник. Но в том-то и дело, что начальник начальнику рознь.

Но одного начальника, чрезвычайно важного, не было в этом списке: того, кто в молчании и тайне сидел в своем кабинете, в зоне, там, где в конце длинного коридора конторы, за двойной дверью, обитой дерматином, он представлял в своем лице ведомство, стоявшее в стороне от всех и над всеми. Страх и ужас, внушаемый оперативным уполномоченным, был таков, что суровый банщик, пожалуй, чувствовал облегчение от того, что уполномоченный не ходил в баню. Вместе с тем он чувствовал себя обойденным, словно ему не доверяли шлепать веником, растирать, почтительно намазывать и окатывать чистой водой это вельможное тело, тщательно оберегаемое под мундиром с блестящими пуговицами и золотыми плавниками погон. Под Новый год, уже в бытность Набиркина на своей должности, конвойная бригада поставила уполномоченному личную баню на дворе, перед его теремом.

Постройка бани была следствием сложной дипломатической обстановки. Технорук, ненавидевший уполномоченного двойной ненавистью обыкновенного человека и бывшего заключенного, намеревался задобрить его этой баней как в целях дальнейшего спокойного существования вообще, так и принимая во внимание жульнические приемы, без которых было невозможно перевыполнить производственный план. План всегда перевыполнялся, но перевыполнить его значило навлечь на себя еще худшие беды. Сейчас же о персональной бане оперуполномоченного стало известно «наверху»: одновременно и не сговариваясь дунули в управление начальник культурно-воспитательной части и жена командира взвода: командирша из-за того, что та же самая бригада должна была пристроить к ее дому флигелек, а КВЧ — просто так, из патриотизма. Об этой истории можно упомянуть лишь мимоходом, тем более что на опере она никак не сказалась: он лишь усмехнулся таинственной усмешкой и снял трубку, чтобы протелефонировать куда надо. И дело, завонявшее было в воздухе, само собой заглохло. Начальник же КВЧ спустя немного времени загремел куда-то на дальний лагпункт.

Под вечер в баню к Набиркину тянулась уже вовсе не организованная толпа — начальник конюшни, вольнонаемный экспедитор, зонные надзиратели, проводники собак. Эти мылились все вместе, а после них их женщины.

Старик сидел за стеной в темном закутке, перед загашенной топкой, и от нечего делать смотрел в дырочку на моющихся женщин. Зрелище это не вызывало в нем никаких чувств: инстинкт, давно угасший, влачил существование в форме брезгливого любопытства. По своему качеству женщины не всегда соответствовали чину своих владельцев; это усиливало презрение старика к мелкой сошке — надзирателям и прочим, словно они заграбастали нечто, не соответствующее их положению. Поглядев немного, он отворачивался и равнодушно сплевывал в золу.

Темнело, опять визжал ворот, гремела цепь: он доливал бочку холодной водой. Остывшие камни медленно шипели, выжимая последние пара. Немногие поздние посетительницы обматывали платками румяных и сонных детей. Все с тем же выражением долга и унылого мужества старик банщик подметал пол, кашляя, сгребал с лавок мокрые клочья последних известий и приветственных писем Вождю. Обмылки собирал отдельно, хозяйственно отскребывал всякий прилипший кусочек: за месяц у него набирался целый ком, его можно было перетопить и нарезать брусочками. Эти брусочки он продавал в зоне.

Уже сиял во тьме над лагерем, по ту сторону мигающих огоньков поселка, огненный венец. Белый луч прожектора висел над частоколом. С четырех сторон на зону были наведены пулеметы. Лагпункт казался мертвым: ни единого звука не доносилось оттуда. Бесконвойный банщик возвращался домой, и кашель его постепенно затихал вдали.

2

На вахте загремел наружный засов; Набиркин вошел в проходную. Дежурный надзиратель, вооруженный одним пистолетом, небрежно обхлопал его под мышками и по швам, пощупал для вида коленки, помял в руках полы бушлата. Старик стоял перед ним, выпятив грудь и растопырив руки, в торжественно-глупой позе, даже рот у него был приоткрыт. Обыск, повторявшийся изо дня в день каждое утро и вечер, превратился давно в пустую формальность.

У вахтера от лежания на лавке в холодной дежурке ныли кости и ломило затылок. Он мучительно зевал, изрыгая пар, при каждом зевке глаза его заливались слезами. Он пошел отворять внутренний засов.

Бесконвойный банщик вошел в зону. Но вместо того, чтобы направиться к себе в секцию, он свернул в другую сторону, и скоро его бушлат исчез в белесоватой тьме, сквозь которую смутными видениями проступали бревенчатые бараки. Банщик очутился на краю зоны, где вровень с колючей проволокой, ограждавшей запретную полосу, шел трап мимо бараков до санчасти.

Старик шагал по трапу, по-крестьянски прямо перед собой ставя разбитые валенки. Снег запорошил его сутулую спину и круглую ушанку. Наверху, под черными тарелками фонарей, снег густо сыпался в конусах света, как будто рождался вместе с ним; косая тень то обгоняла старика, то бежала за ним; он шел, минуя одно крыльцо за другим, пока не дошел до последнего барака. Тут он остановился, осмотрелся, нет ли кого, и взошел на крыльцо.

Отхожее место находилось в конце темных сеней, чтобы добраться до него, нужно было пройти бесшумно мимо дверей, за которыми с обеих сторон сидело по дневальному. Набиркин крался вперед, пока не уперся в дверь клозета. Она пронзительно закрипела. В лицо ему дуло сквозняком. Постепенно выступил из потемок обледенелый желоб, помост с дырами; налево тускло блестели соски деревянной рукомойни. Голубоватый свет сочился из амбразуры, заваленной снегом. Притворив дверь, старик отколупывал закочевшими пальцами пуговицы бушлата.

Теперь можно было распушить бечевку, на которой держались стеганные порты, мешком висевшие на плоских ягодицах старика. Кряхтя от натуги, он залез рукой глубоко между ног. Таким образом было извлечено то, что он спрятал там. Старательно, как все, что он делал, он уложил свою драгоценность на дно кармана-тайника, пришитого к подкладке бушлата, где у него хранились куски хлеба, ложка, запасная бечевка и другие необходимые вещи.

Дело было сделано, он вздохнул с облегчением. Затем брюки были водворены на место, бушлат плотно застегнут, и так же осторожно он выбрался на крыльцо. Как-то вдруг старик Набиркин почувствовал, что продрог, и кашель, словно разбуженный осьминог, ожил и зашевелился на дне его легких. Он стоял на крыльце, мрачно озираясь, с прижатым ко рту кулаком, сотрясаясь от беззвучного кашля, и ждал, не покажется ли кто. Все было тихо. Фиолетовый снег покойно струился на землю. Затем послышалось нежное бречанье кольца, волочащегося по проволоке. Позванивая, оно проехало мимо и затихло. Это по ту сторону частокола, в тоске и скуке,

взад-вперед трусили от вышки к вышке продрогшие овчарки. Успокоенный, банщик стал спускаться с крыльца; в груди у него все еще что-то пело и свистело. Он зашагал к последнему крыльцу.

3

В эту ночь Василий Вересов, проживавший в последней секции окраинного барака, творил суд над ларешником, чья дерзость граничила с бунтом.

Ларешник был человек новый и в своей должности, и на лагпункте. Учили это, подождали, пока привыкнет. Отнеслись как к человеку. Пришли к нему — культурно, вежливо, хотя полагалось, чтобы он сам пришел и принес положенное. Не было на лагпункте человека, который не знал бы порядка: и каптер, и кладовщик, и заведующий пекарней — все платили дань.

В ларек пришел дневальный, так называемый Батя, хитрый мужик, служивший у Вересова чем-то вроде завхоза. Ларешник послал его подальше. Приходил вор Маруся — мрачный и тупорылый верзила. «Ты: курить есть? Пожрать есть?» Ларешник выжал Марусю за порог, на дверь навесил железную перекладину и огромный, как снаряд, замок. Опять разговора не получилось.

Подошли и стали крутиться возле крыльца два жучка — сквозь дыры в запахнутых бушлатах у них проглядывало голое тело. «Дяденька, дай сахару. Миленький, дянька, в рот ты стеганный. Дай консерву». Зубы у них стучали от холода, оба приплясывали. Ларешник — ноль внимания.

Поздно вечером его подкараулили, взяли с двух сторон за руки, сзади третий обнадежил пинком в зад. Ларешник был высокий косявый человек. Он попытался стряхнуть висевших на нем. Спустя некоторое время его втащили в секцию.

Там никто не спал. Когда в сенях отворилась дверь, оттуда раздался звериный вой: пятьдесят блатных, обливаясь слезами, пели каторжные куплеты — зауспокойный гимн. Наверху, на верхних нарах, трясло лохмотьями, чесалось, грызлось и копошилось то, что на языке наших мест называлось коротким словом «шобла». Внизу сидели иерархические чины: Маруся, Хивря, слюнявый и гнилоглазый Ленчик по прозвищу Сучий Потрох и другие именитые люди.

Это был легендарный Курский вокзал, и так же, как не существовало лагпункта без начальников частей, надзирателей, стрелков,

без духовного пастыря — начальника КВЧ, оперативногоуполномоченного и начальника-самодержца, без единого, учрежденного раз навсегда порядка властей, чинов и подчиненностей, — точно так же невозможно было во всем Чурлаге найти подразделение, где бы не было рядом с официальной иерархией начальства иерархии воров, изнутри управлявшей лагпунктом.

У стены, прямо напротив входа, между нарами, стояла генеральская койка, застеленная тремя одеялами; вся стена над ней была оклеена картинками из журналов, серебряными и пестрыми бумажками и лоскутками цветной материи, а над изголовьем были распялены на гвоздочках большие и пыльные крылья птиц. На одеялах сидел Вересов, подвернув под себя ноги с жирными ляжками. На груди у Вересова висел оловянный крест, а в руках он держал гитару.

К нему подвели ларешника. Пение стихло.

«Тебе чего, землячок?» — ласково сказал Вересов, точно он ни о чем не знал. И, склонив набок голову, стал перебирать струны. Тут кто-то, подкравшись сзади, съездил ларешника по хоботу; ларешник обернулся и увидел вихляющуюся спину, спокойно удалявшуюся к дверям, Человек подтягивал на ходу заплатанные порты.

У порога он вдруг остановился, плеснул в ладоши и — тата-тата-тата-та!» — пошел задом, трясясь и воздев руки, дробя чечетку. На лице танцора застыло выражение экзотической мертвенной радости. Так он дошел, трясясь и обшлепывая себя, до койки генерала. Тот пнул его в тощий зад: «В рот стеганный!» Человек комически охнул, скосоротился и ползком убрался под нары.

«Ша! — квакнул Вересов. — Чтоб мне было тихо. — И ларешнику кротко: — Землячок, приближься».

Все замолчало. Генерал играл на гитаре. Он играл и пел сильным утробным голосом: «Прощай, Маруся дорогая!» Чины изобразили на лицах сумрачную думу. Шобла благоговейно слушала.

Генерал рванул струны. Песня оборвалась.

«Та-ак, — сказал он раздумчиво и впервые удостоил пленника пристальным взглядом с головы до ног. — Так, — цыкнул в сторону длинной слюной. — Это как же, земляк, получается? Нехорошо, в рот меня стегать. Некультурно!»

Ларешник ничего не ответил. Генерал поерзал задом, устраиваясь поудобней.

«Ишь, сука, ряшку наел, — заметил он. — Подлюка, пес смрад-ный... Забыл, с-сука, — голос генерала окреп, — кто тебя кормит? Тебя, хад, народ кормит, трудящие массы. На ихнем хоботе сидишь! А ты сахару пожалел. Выходит, им с голоду помирать, да?»

«А кто платить будет?» — ларешник спросил, проглотив слюну.

«Молчи, хад, когда начальство разговаривает! Всякая падаль тут будет пасть раскрывать... — Вересов цыкнул слюной, ввинтил в пленника зоркие глаза. Помолчав, заговорил наставительно: — Слушай, земляк... Ты жить хочешь? Ты папу-маму любишь?»

Ответа не было. Склонив большую голову, Василий Вересов погрузился в думу над струнами.

Вдруг словно ток ударил генерала.

«Вот твоя мама! — заорал он и ткнул себя кулаком в жирную грудь. — И вот твой папа, — добавил он, — Слушай сюда... Ты кто: человек или яврей? Ты смотри мне в лицо, мне в лицо! Ты, может, в жиды записался? Тогда снимай шкары. Мы тебе сделаем обрезание. Верно я говорю, вошееды?»

«Жидяра! — отвечали согласно с нар. — Пуцай шкаренки сы-мает...»

«Слушай сюда. Ты Васе правду говори, Вася лжи не любит... Ты как со мной жить хочешь: вась-вась? Или кусь-кусь?»

Сказав это, генерал склонил голову, и раздался жидкий дребезг струн. На нарах улеглись друг на друге, вытянули головы. Зрелище все больше походило на спектакль, ритуальное действие, разыгрываемое по определенному плану.

«Прощай, Маруся дорога-ая!» — снова запел Вересов, но тотчас умолк и строго воззрелся на ларешника. «Ап-чхи!» — сказал он раздельно. Тотчас услужливая рука поднесла и вложила платочек в ладонь Вересова.

Генерал бросил платок на пол. «Подними».

«Ну?» — Голос генерала повис в воздухе.

Человек, стоявший перед ним, не шевелился.

«Та-ак, — констатировал Вересов. — Значит, кусь-кусь. Так и запишем. — И он утвердился на своем сиденье, подпрыгнув несколько раз, и картинным жестом обхватил гитару, точно фотографировался. Не глядя, коротко: — Снимай шкары!»

Ларешник косился по сторонам. Одно за другим он обводил взглядом лица, устремленные на него.

В это время сверху, рядом с койкой вождя, стали спускаться на пол чьи-то длинные ноги.

Костлявый верзила воздвигся рядом с генералом. Легкий ветер побежал по рядам. Это был знаменитый Рябчик, официальный супруг генерала, законный вор, первый после Вересова человек на лагпункте.

Вересов сладко улыбнулся.

«Чтой-то ты, земля, туто соображаешь. Аль не дошло? — Глаза его блеснули.

— А ну, снимай штаны, кому сказано!»

Барак застыл в гробовой тишине. Ларешник весь подобрался, сторбился. Втянул голову в плечи. Зубы у ларешника мелко стучали. Он не сказал ни слова.

Тогда все увидели, как прыщавый Васин подбородок повернулся к Рябчику. Вересов вознес к верзиле взгляд скорбного быка. Тот качнул коромыслом могучих плеч. Шагнув к пленнику, Рябчик уставился на него неподвижным взглядом дымных глаз.

Не спеша Рябчик оторвал от земли башмак и носком ушиб ларешника спереди по берцовой кости, ниже колена. Ларешник зажмурился и застонал.

«Терпи, земляк, для здоровья полезно, — голос гермафродита продребезжал с генеральской койки. — Угости-ка, мама, земляка еще разок».

«Мама» скосоротил физиономию и расставил ноги. Глаза Рябчика наблюдали с каким-то тусклым любопытством жертву. Он отвел назад крюком согнутую руку — ларешник попятился — «гх!» — верзила издал звук, с которым мясники рубят мясо.

Длинная фигура ларешника мгновенно выпрямилась, после чего он начал как-то странно заваливаться назад, хватая ртом воздух, однако не упал. И тут произошло нечто небывалое, невероятное и неслыханное.

Рябчик ждал, ларешник качался, развесив руки и отбрасывая длинную тень, достававшую до койки вождя: сейчас опрокинется. Вместо этого он нырнул вперед — кинулся, как кидаются на нож грудью, но каким-то образом миновал его. С ближних нар услышали утробный звук. Струя вырвалась из недр. И что-то мерзкое и тягучее, пролетев в воздухе, влажно и веско шмякнулось на оловянный крест генерала. «Га!» — выдохнули на нарах.

В первую минуту вождь смешался. Он обвел недоуменным взглядом кровать, посмотрел на свои ноги и грудь. Снова взглянул на грудь.

Жемчужные сопли, жирно поблескивая, висели на кресте. Они еще качались.

Ларешник харкнул на генерала! Ларешник промазал. Надо было взять чуть выше.

Василий Вересов поднял глаза на мерзавца, они были белые, как слизь. Молча выпростал жирные ноги, отставил гитару. Знаком руки, не глядя, осадил Рябчика.

Дневальный Батя, покойно сидевший на приступочке возле двери, цыкнул слюной сквозь дырку в зубах и быстро перекрестился. «Сам, сам», — как шелест пронеслось по рядам. Вождь слез с кровати и сам пошел на ларешника. Спектакль кончился, — было очевидно, что генерал лишился речи от гнева и небывалого в его жизни изумления.

Но не дойдя двух шагов, вождь остановился. Выкатив драконьи глаза, вобрал в себя воздух, выпятил зад. Дохнул огнем:

«Прощай, Маруся дорогая!» — Вересов пел свою любимую песню низким, сиплым, утробным голосом. Вересов пел погребальный гимн.

Это был как раз тот момент, когда банщик, дойдя до последнего крыльца, хрипя и кашляя, поднимался по ступенькам. Через минуту заскрипела тяжелая дверь; он вошел в секцию, задыхаясь, сгорбленный и покрытый снегом.

Никто не обратил на него особого внимания. Старика Набиркина знали в Курском вокзале. Он стал было отряхивать валенки, как вдруг увидел ларешника и, охнув, затрусил на выручку.

Старик бросился к Вересову. Поздно: бык успел пронзить свою жертву рогами. Теперь он топтал ее копытами. Уже не было возможности заставить обидчика омыть поруганную святыню, вылизать ее своим языком: ларешник лежал неподвижно, уткнувшись в пол лицом, с закинутыми над головой руками, и изо рта у него текла кровь. «Вась, а Вась. Да ладно, Вась. Да... с ним, Вась», — повторял горестно старик, цепляясь за рукав генерала, который все еще, пытаясь, рвался в бой.

Мама-Рябчик, в чьих услугах более не нуждались; сидел на нарах, равнодушно покачивая длинными ногами в циклопических

башмаках. Вождь разрешил отвести себя назад, на койку. Некто Ленчик, именуемый Сучий Потрох, отправился в санчасть за л е п л о й.

Лепила пришел, это был пожилой, спокойный человек в очках, в далекой юности он учился года полтора на медицинском факультете. Он присел на корточки перед лежащим, повернул ему голову и стал хлопать по щекам.

Усевшись на койку, генерал вытащил из кармана соленый огурец. Генерал хрюкнул его зубами, и звук и запах лопнувшего огурца разнеслись по секции. Дернулись кадыки — вся шобла разом проглотила кислые слюни. Пятьдесят человек, для которых голод был профессией, жрали огурец вместе с Васей глазами и кишками, врубались в мякоть Васиними зубами, провожали быстро уменьшавшийся огурец, сосали и глотали сок. Никому уже не был интересен ларешник, который волочился к выходу, вися на плечах у двух провожатых и уронив безжизненную голову на грудь.

Набиркин побрел за Вересовым, уныло кашляя, таща по полу разбитые свои валенки. От них тянулись мокрые следы.

Дрожащей рукой он старательно расстегнул одну за другой пуговицы бушлата и полез вглубь, во внутренний карман, где хранилось у него то, что так хитроумно и незаметно пронес он через вахту. Старик принес Васе положенное. В полутьме, под сенью развешанных пыльных крыльев, генерал принял дары — две пачки цейлонского чая и поллитровку водки, купленную у колхозниц, которые кормились в поселке для вольнонаемных.

4

Когда те, кто вернулся из лагеря, рассказывали о том, как они жили там, уцелевшим друзьям, то рассказы эти вызывали у слушателей смешанное чувство любопытства и отчуждения.

Им говорили как о чем-то обыденном о том, что по самой сути своей не могло быть нормальной жизнью обыкновенных людей и напоминало образ жизни вырожденков или далеких экзотических племен, и они относили это за счет особой аберрации зрения, свойственной, как они думали, бывшим узникам; никому из тех, кто слушал эти рассказы, не приходило в голову, что с таким же успехом могли очутиться за проволокой и они сами: они отказывались допустить такую возможность, как невозможно верить, идя за гробом, что в один прекрасный день понесут и тебя.

В сущности, они и не верили в собственную смерти; и так же мало верили в пресловутую страну Лимонию, в Чурлаг, Карлаг, Унжлаг, Севжелдорлаг и т. д. со всеми их обитателями. Казалось невероятным, что обыкновенный, ничем не отличающийся от нас с вами человек может ни с того ни с сего исчезнуть, провалиться в люк, чтобы продолжать призрачное существование на каком-то ином свете, как невероятным кажется, что сосед, с которым вчера еще здоровались на лестнице, сегодня ночью скончался.

Тем более никто из них не поверил бы, если бы ему сказали, что фантастическая жуть лагеря — это лишь иное обличье обыденной жизни громадного большинства людей. Насколько проще и легче было поверить в Голгофу, в романтику вышек и прожекторов, словом, поверить в производ, чем допустить удручающую произвольность этого ада, в конечном счете созданного его же собственными обитателями. Поистине не властью стрелка на вышке, а властью тупого и злобного соседа вершилось то, что составляло высшую и конечную цель лагеря, и здесь, как везде и всегда, величие начальства было лишь символом ни от кого не зависящих законов, управляющих и начальниками, и всеми людьми.

Эти слушатели не догадывались, как много общего было между обычной жизнью по эту сторону лагерей и жизнью сумрачной страны в тайге на северо-востоке, с ее иерархическим строем, не сразу заметным (ведь только издали колонна плетущихся на работу узников казалась вполне однородной массой, братством и равенством несчастных), но в тесноте и безвыходности лагерного существования ощутимым ежеминутно и на каждом шагу. Контингент — не коллектив. Молчаливая солидарность перед лицом притеснителей, товарищество и братство, один за всех и все прочее в этом роде в этой стране были так же бессмысленны и невозможны, как и в их стране, в их собственной, обычной и нормальной жизни.

Итак, то, что на первый взгляд казалось безумным изобретением каких-то дьявольских канцелярий, на самом деле было пророчеством и репетицией. Миллионы людей вошли в это — в безмолвном ужасе, как входят в воду, которая кажется обжигающе-леденящей, но проходит время, и холод не ощущается. Становится ясно, что в аду живут так же, как наверху, только чуточку откровенней. Глядя на старого банщика, как он возвращается поздно вечером в зону, втянув голову в плечи, в длинном заплатавшем бушлате, сотрясаясь в кашле и выплевывая какую-то клейковину, начинало казаться, что

он был таким всегда, всю жизнь, что он так и родился, обросший с ног до головы крысиной шерстью концлагеря.

В 1942 году Набиркин, который был тогда на десять лет моложе, стоял в колонне таких же, как он, голодных и обросших щетиной солдат, ночью, под морозящим дождем; они стояли на набережной гамбургского порта, громадность которого угадывалась в темных силуэтах гигантских кранов, барж и грузовых пароходов. Отсюда, во тьме затемнения, их должны были перегнать в лагерь, находившийся от города всего лишь в нескольких километрах. Говорили, что там много наших, живут в кирпичных бараках и получают зарплату.

В шталаге III, куда он попал, находилось несколько тысяч русских. Все они подыхали медленной смертью вместе с цыганами, какими-то украинскими богомолами и евреями.

Так он оказался в числе тех, кому пришлось испробовать это занятие сначала у чужих, а потом у своих. И там, и здесь были свои преимущества и свои ужасные недостатки. После того, первого, заключения он перебивал в лагере советских военнопленных под Нарвиком, пересыльном лагере, стационарном лагере, американском лагере перемещенных лиц и проверочном лагере для возвращающихся на родину, и прошло больше года, прежде чем его снова засадили, но в памяти все это сбилось в кучу, смешались даты и термины; старик называл лагерфюрера начальником лагпункта, а шталаг путал с Чурлагом — получалось так, словно не было никакого перерыва, никакого просвета.

Там их наказывали за то, что они происходили отсюда, здесь — за то, что побывали там. Они были виноваты в том, что воевали, и в том, что были захвачены в плен. Подобно множеству людей, мужчин и женщин своего века, они были виноваты при всех обстоятельствах, самим фактом своего существования, виноваты потому, что должна была находиться работа для карательных учреждений, и потому, что требовалась рабочая сила для лагерей. Работать! Работать! План! Проценты! Такова была воля богов, возглашаемая из репродукторов.

Кто однажды отведал тюремной баланды — будет жрать ее снова.

5

В лагере не имей сто друзей, имей к е р ю. Тогда, в 1942 году, Набиркин стоял в колонне рядом с одним лейтенантом. После дол-

гого путешествия партия прибыла в стационарный лагерь, по-немецки шталаг. Это было одно из подразделений известного впоследствии концлагеря Нейенгамме.

Все стояли и смотрели, как начальник транспорта передавал колонну шарфюреру, одетому в черное, который слушал его с выражением отрешенности и брезгливой скуки. Очевидно, и настоящая жизнь, и человечество — все это было для шарфюрера где-то далеко, а здесь его окружали отбросы. Но ничего не поделаешь: такая работа. Очевидно, он так думал. Шарфюрер поглядел на сапоги первой шеренги, вернее, на то, что осталось от сапог, и что-то мрачно пролаял на ихнем языке. Охранники окружили партию со всех сторон.

Раздалась команда, которую никто не понял; все начали поворачиваться, кто направо, кто налево, поднялась суматоха. В задних рядах охранники — здоровые лбы, в шлемах, напоминающих перевернутые горшки, били замешкавшихся прикладами. Вместе со всеми Набиркин побежал к деревянному бараку.

На крыльце, подбоченясь, стоял молодой эсэс. Он был без фуражки, воротник с серебряными молниями расстегнут. Ветер шевелил его светлые волосы.

Была произнесена речь.

«Вы, але! — сказал парень, сверкая льдистыми глазами, на самом что ни на есть русском языке, и даже с оканьем. — Слушать сюда. Сейчас я вам кой-чего скажу, а больше с вами никто разговаривать не будет. Вы больше не люди, поняли?»

Все поняли. Еще бы не понять! Дальше следовало несколько четких фраз, похожих на стихи.

Позади парня с непроницаемым видом стоял худой, зеленоглазый немец в фуражке с вздернутой тульей, внимательно слушал.

Оратор сплюнул и продолжал:

«Вы принадлежите Германской империи, в рот ее с потрохами, тут вас научат работать, грызи вашу мать... Что заработал — твое, а даром жрать баланду никто не будет. Это вам не Россия».

«Чего-о? — вскинулся он вдруг, хотя никто их стоявших в толпе не проронил ни слова. — Рыло начищу, кто будет пасть открывать!»

Это он мог. Вот уже это он мог.

Немец у дверей переминулся с ноги на ногу, двинул кадыком и сложил на груди тонкие руки.

Парень шмыгнул носом:

«Слушай сюда...»

«Сейчас будут записывать анкетные данные. Каждый подходит к господину офицеру вот там, в канцляй, и гр-ромким голосом, отчетливо! — где родился, где крестился. Политруков нет? Жидов нет? Говори сразу, а то хуже будет».

С этими словами парень — льняные волосы, ни дать ни взять из-под Вологды — расставил ноги в начищенных сапогах и с громом высморкал наземь длинные сопли. Должно, простыл без шапки. Стоявшие в колонне смотрели, как он достал платочек со дна разла-тых галифе обтереть липкие пальцы.

Им объяснили: или они будут честно вкалывать на благо империи, или пускай пеняют на себя, но только просто так подохнуть им не дадут, пусть-де не надеются. И через слово — матом. Они стояли, грязные и обросшие седой щетиной, в рваных шинелях и в пилотках, с которых были сорваны звездочки, и молча слушали.

Потом по очереди стали входить в барак, который был оцеплен. Двое в железных горшках стояли при входе. Внутри оказался длинный коридор, по обе стороны — двери с табличками. За ближней дверью стрекотала машинка. Каждый должен был постучаться, войти, сорвать шапку и рапортовать. Потом, если все в порядке, бегом по коридору к выходу на другое крыльцо. Там ждала зуботычина и пинок в зад. На этом заканчивалась регистрация.

Они вошли в эту комнату. Высокий лейтенант и приземистый Набиркин стояли у порога — руки по швам. Пальцы старика Набиркина были почти вровень с коленками. Он и тогда уже выглядел стариком. Так он запомнил эту минуту: прямой, неподвижный профиль товарища, тонкая шея с кадыком; в комнатухе жарко, топится печь, на окне — решетка; горит яркая лампочка, хотя на дворе еще день. Немцы, сидевшие за столом, не взглянули на них — один стучал на машинке, другой перелистывал списки, им было безразлично, кто стоял перед ними.

Набиркин был тысяча восемьсот девяносто пятого года рождения, родился в деревне Звонари Курской губернии, русский, православный, беспартийный, колхозник, звание — рядовой. (Он торопливо отрапортовал это, точно вывалил из мешка картошку.) Лейтенант был с девятьсот одиннадцатого года, место рождения... — «Weg!» — рявкнул писарь, и они побежали по коридору.

«Weg! Weg!» — пошел! — слышалось и перед дверью в конце коридора, и на крыльце. Все по очереди скатывались со ступенек и занимали место в колонне.

Отсюда был виден вход в зону — каменное двухэтажное здание вахты с караульной вышкой и воротами; сквозь решетку виднелась уходящая вдаль дорога, плоские здания барачных плац. На вышке стоял часовой, его круглый шлем чернел на фоне неба. Кроваво-красный флаг империи лениво плескался над крыльцом вахты.

Толпа бросилась к воротам, едва раздались лающие звуки команды. Внезапная паника охватила людей, каждый думал об одном: скорей очутиться за воротами. Перед створом чуть приоткрытых ворот, куда с трудом могли протиснуться два человека, началась звериная давка. Это казалось невероятным — люди сами рвались в концлагерь. Если бы ворота совсем закрылись, они полезли бы вверх по чугунной решетке.

Охрана бесстрастно взирала на эту суматоху. На этот раз никого не били, ни одного выстрела не прогремело. Не было надобности.

Кто-то рванул створку ворот на себя. Толпа устремила в проход. Человеческий фарш стал продавливаться в ворота. Старик Набиркин, отчаянно и бесполезно толкавшийся в задних рядах, был в этой давке сбит с ног.

Выручил лейтенант. Рывкнув бешеным матюгом, распихал ослепших, лезущих. Какой-то мужик, ощерившись, лягнул высокого лейтенанта сапогом в живот. Набиркин поднялся на ноги и кинулся на мужика...

К дерущимся подбежали в горшках, заработали приклады. Медленно, ржаво заскрипели железные петли ворот, и толпа вынесла их на дорогу. Лейтенант был тот самый ларешник, а Набиркин — так и остался Набиркин.

6

Глубокой ночью Вересов пил чифирь в Курском вокзале, в кругу законных воров и ближних шестерок.

На черной глади густого, смолистого напитка волновались желтые блики. Кружка переходила из рук в руки. На ее приготовление пошла целая пачка чая.

Питье действовало быстро, с первого глотка золотистый дракон, извивавшийся в чаше, вонзил когти в сердце. Нужно было перетерпеть сердцебиение, не выронить чашу — глотнуть снова. И медленно, как сходит ночь, околдовал душу чифирь.

Сидели с серьезными лицами, тесным кружком. Роняли тяжелые, как сургуч, слова.

«Кончать его надо было, суку...»

«Пес смрадный...»

«Распустили паскуд...»

«Нет, я чего скажу... У нас на Севере бы не допустили. Сука буду. У нас бы не допустили».

У нас, у нас. У нас козел хрудями тряс.

«Ты, морда с ручкой! Ты с кем ботаешь? Ты кого хлестаешь?»

«Кончайте, подлюки, развопились. Почифирить не дадут».

«Леха, в рот стеганный! Пой!»

Леха улегся головою на стол и не шевелился. Язык не ворочался.

«Леха!!» — рывкнул генерал.

Леха поднял голову, сипло затянул: «Этап на Север, срока агромные. Кого ни спро-осишь, у всех Указ». «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые!» — в отчаянии подхватил нестройный хор.

«...Чего я скажу — Ушастый трекал. Этап готовят. Всех воров на Север».

«Брекает...»

Вконец окосевший Леха с трудом спел «Не для меня» и «Звенят бубенчики». Ржавой пилой резанул сердце...

«Звенят бубенчики, звенят бубенчики. Ветер звон доно-осит». «А молодой жулик, молодой жулик начальничка просит!» — певцу вторил хор полумертвыми голосами.

Чаша по очереди опрокидывалась над каждым ртом.

«В-в-в-в! — забормотал, дрожа, Леха, — Ууу! — он завыл сиротливым псом. — Вот она, сука, вот она».

В дверях стояла баба-кикимора.

«Бей ее!»

Кружка полетела в дверь. Блатные, сбившись в кучу, дружно крестились. Мир распадался...

Все это время генерал сидел на главном месте, не участвуя в т о л к о в и щ а х. Одним присутствием Вася Вересов давал тон и значительность собранию. Авторитет его нимало не ущербился, вернее, тотчас и с лихвою был восполнен крутой расправой с обидчиком, и теперь, с полузакрытыми глазами, скрестив поросшие рыжим волосом руки в синих наколках, Вересов был еще больше и как никогда достоин занимать место легендарных вождей Гориллы и Мухомора, зарубленного три года назад в столовой, при выходе из кино. О чем он грезил, какие думы внушил ему наркотик, звенящий в крови?

Таинственное прошлое Вересова предстало перед ним в образе его отца, каким он видел его в последний раз, в ночь, когда отец ушел из дому. Было это в деревне, в 32 году. Давно и бесследно исчезнувший из его жизни, он смутно виднелся у порога, на том месте, где стоял ларешник, где повредившийся певец Леха увидел грудастую и косматую бабу. Васю тяжело мучило. Вся секция с рядами нар медленно поворачивалась, и ему показалось, что он сидит в корабельном трюме, под ним качается пол, пароход плывет по Охотскому морю. Что-то приподнимало его, это была волна за бортом и одновременно волна тошноты, поднявшаяся из желудка.

Он двинулся к выходу. Но выхода не было. Страшное сознание обреченности, нелепой гибели живьем на дне качающегося парохода пронизало Вересова. Рука, покрытая татуировкой, уцепилась за край стола.

Кругом все спали. Ледяной ветер дул в лицо генералу. Впобалку лежала шобла — народ Вересова, его подданные, бригада «аляулю». Его супруг, Рябчик, простерся на койке. Зловещий храп оглашал тусклый чертог.

А на дворе цепенела полночь, на вышках дремала в тулупах караульная стража, и усталые псы, седые от инея, усевшись на задние лапы, протяжно выли на лунный круг, маслянистым пятном проступивший в небе.

1967 г.

ДИСПУТ

...приводит доказательства из Талмуда, что даже Моисей не мог при жизни взойти на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода.

Ицхок-Лейбуш Перец. «Если не выше»

История (или притча), сочинённая Перцем, основана, как известно, на хасидском анекдоте; не пытаясь соревноваться со знаменитым писателем, я хотел бы рассказать всё как было в действительности, разумеется, в меру моего понимания действительности, — что, конечно, тоже не бесспорно. Протагонист известен: речь идёт о цадике из украинского местечка, память об учителе жива благодаря Перцу, в самом же местечке никто о нём, разумеется, не помнит. Да и общины не осталось.

Время действия? Так ли уж это важно — принимая во внимание, с кем встретился реб Шмуэль; но если нужны факты, то вот они: рабби жил в середине шестого тысячелетия. По христианскому календарю это будет где-то на переломе веков. В Библии сказано: срок человеку определён в сто двадцать лет. Так долго реб Шмуэль, конечно, не жил, но всё же дотянул до начала сороковых годов. И, наконец, что касается географии (раз уж мы её коснулись): в соседней Польше, в Бельско-Бьяльском воеводстве, находится городок Освенцим, где учитель, вопреки обещанному бессмертию, завершил своё земное существование. Заодно и вся община.

Напомню о притче, как её передаёт Перец. Раз в неделю немировский цадик исчезал; это привлекло внимание жителей местечка, распространился слух, что рабби Шмуэль удаляется беседовать с Богом. Нашёлся человек, который его выследил. Оказалось, что учитель, переодетый крестьянином, перед рассветом выходит из своего дома и направляется в соседнюю деревню. Там, в полуразвалившейся хате лежит одинокая больная женщина. Рабби колет дрова, топит печку, готовит еду, кормит и утешает больную. Потом так же незаметно возвращается к себе домой. На вопрос хасидов: где же был рабби, не на небе ли? — соглядатай ответил: «Если не выше».

Прелестный рассказ — и, кстати, довольно убедительный. Но действительность, в отличие от вымысла, редко бывает правдоподобной. Действительность сама кажется вымыслом, а иногда прямо-таки выглядит как чей-то бред. Это внушает некоторые подозрения касательно психического здоровья Творца, но не будем продолжать эту тему. В мире, сказал философ¹, всё есть, как есть, и всё происходит, как происходит. Однажды утром, точнее, в предутренний час, после плохо проведённой ночи, пожилой учитель поднялся раньше обычного; накануне мальчик, который ему прислуживал, отправился навестить родителей в Крыжополь; рабби умыл лицо и руки, напился чаю и надел (вопреки рассказу Переца) свою лучшую одежду. В чёрном сюртуке, в старомодном высоком воротничке и при галстукe, с бородой, из-под которой виднелась крахмальная манишка, с цепочкой от часов на животе, рабби Шмуэль, вдобавок нацепивший на свой мясистый нос пенсне, напоминал университетского профессора, адвоката или управляющего банком. Нечего и говорить о том, что ни на одном из этих поприщ он никогда не мог бы преуспеть. Было темно, перед домом ждал закрытый экипаж.

Если бы кучер был писателем, он мог бы расписать путешествие во всех подробностях, но при этом возник бы риск того, что именуется художественным переосмыслением. То есть нас опять угостили бы какой-нибудь небылицей. На самом деле всё было очень просто, всю ночь продолжался снегопад, рабби сошёл с крыльца, держа над собой огромный зонт, и лошадь потащила карету по главной улице местечка, увязая в снегу. В домах ещё не зажглись огни.

Ехали долго. Словно сам создатель медлил восстать от сна, смутно обозначился серо-белый, глухой зимний день. Остались позади хутора, поля, перелески, вынырнула из белёсой мглы и потянулась вдоль дороги высокая чугунная ограда, и, наконец, лошадь стала перед воротами. Навстречу по расчищенной и успевшей снова покрыться снегом аллее спешил привратник. Некогда поместье принадлежало польскому магнату, мрачный каменный герб над входом напоминал о далёких временах, о разорившемся владельце. Новые хозяева, неизвестно кто, сдавали замок кому-то. Гость расплатился с извозчиком и взошёл на ступени.

¹ Л. Витгенштейн.

Он стоял в гулком сумрачном зале, некто, чью наружность невозможно описать, приблизился, голос, звучащий, как эхо, спросил: он ли реб Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахиезер, прозванный Вторым Великим маггидом, господин благого Имени?

«Да, — сказал учитель, удручённый этой официальностью, — это я».

Ему указали на лифт, и реб Шмуэль прибыл на небо.

Но не выше. Небо представляло собой обширное помещение с потолочной росписью на астрономические темы. Из зала гость прошествовал в коридор, где отыскал нужную дверь. Требовалось изложить причину визита, предъявить повестку, что-нибудь такое. Но никакой письменной повестки рабби не получал. Его известили, вот и всё; он был приглашён, но в весьма абстрактной форме. Всё это он собирался объяснить секретарю, но не успел открыть рот, дверь из приёмной в кабинет открылась, вышло высокое лицо — выплыла дородная миловидная дама в бледно-лиловом шиньоне, с брильянтами в ушах, в элегантном сером платье с вышивкой на груди. Можно было сказать, что она прекрасно сохранилась для своих лет. Секретарь выскочил из-за стола, принял у гостя цилиндр, зонт и крылатку.

Рабби Шмуэль огляделся: великолепно обставленный покой. В те времена ещё не было кино — во всяком случае, изобретение братьев Люмьер не добралось до этих мест, — а то бы мы сказали, что обстановка была как в фильме «ретро»: высокие задёрнутые гардины на окнах, стильная мебель, библиотека, ковёр, камин. Тишина и уют. Несколько ламп, не слишком ярких, чтобы не подчёркивать возраст хозяйки, но света достаточно. Рабби Шмуэль сидел в кресле, дама поместилась напротив, красиво составив ноги в туфельках, расправила платье и сложила на лоне маленькие пухлые руки. На правом безымянном пальце обручальное кольцо, на левом перстень с головой Адама. Несколько времени молчали.

«Ну-с... — промолвила она. — Я вас слушаю».

Рабби растерялся: он думал, что ему будут задавать вопросы. Ожидалось, однако, что сперва должен высказаться посетитель, изложить свою просьбу или что там. В конце концов была же у него какая-то цель. Подать прошение, ходатайствовать за кого-нибудь.

Он не умел притворяться и сказал:

«Прошу простить меня, я всё забыл».

«Что вы забыли?»

«Я забыл, для чего я приехал».

«О! — сказала дама. — Какая разница? Я вам рада. Я рада, — понянула она, — что вы догадлись».

«Догадаться? о чём?»

«О том, что вас хотят видеть. Можете ли вы рассказать, как это произошло?»

«Но ведь вы сами знаете».

«Мне хотелось бы услышать из ваших уст».

«Как произошло... — пробормотал раби, снял пенсне и потер двумя пальцами спинку носа. — Я видел сон. Это был ангел. Он сказал: поднимайся, возница знает дорогу».

«Вы не удивились?»

Раби молча покачал головой. Дама милостиво кивала лиловым пиньоном.

Некоторко осмелев, раби Шмуэль заговорил:

«Но я предполагал... если позволите быть откровенным... Видите ли, мне придётся потом рассказать, где я был. А что я скажу? Собственно, этого не может быть...»

«Не может быть, чтобы он оказался женщиной?»

«Да. Извините».

«Вы не можете себе это представить?»

Раби пожал плечами.

Дама в сером помолчала.

«Это верно, — сказала она. — Он не может быть женщиной. Хотя бы потому, что нельзя не считаться с драматикой. Всякий раз, когда о нём заходит речь, в Писании уплотняется мужской род. Не говоря уже о христианстве. Им пришлось бы переделывать все иконы».

«Как же тогда...»

«Считайте, что я его замещаю».

«Взвешивая это возможно?»

«Странно, что вас это удивляет. Вы знаете Книги. Неужели вы забыли, что Моисей, когда подошёл поближе, узнатъ, отчего терновник горит и не сгорает, то закрыл лицо. Как по-вашему: почему он это сделал? От сильного жара?»

«Нет, конечно. Чтобы не видеть того, кто с ним говорил».

«Да, но почему? Почему он не решился взглянуть?»

«На этот счёт существуют разные мнения», — сказал раб Шмуэль».

«Мнения могут быть разные. Но факт состоит в том, что человек не может встретить его воочию. Иначе умрёшь. Волей-неволей приходится искать посредников».

Снова молчание; гость поглядывал на горящие поленья.

«Вы разочарованы?»

«Я? — сказал рабби, очнувшись. — Нет, нет... ни в коей мере».

Он насадил пенсне на свой могучий нос, постарался сидеть прямо.

Дама в сером промолвила:

«Я вижу, наш разговор как-то не клеится. Расскажите немного о себе».

«Что рассказывать... Вы, вероятно, и так всё знаете».

«Мне интересно услышать из ваших уст».

«Я живу в...» — он назвал свой городок.

«Постойте, я должна вспомнить, где это. В Польше?»

«Ближе. Недалеко отсюда. Раза два выезжал по делам в Винницу, а так всё время дома. Жена моя умерла. Детей нет. Я там что-то вроде местной знаменитости. Думают, что я Бог весть кто и всё знаю. Но на самом деле...»

«Утверждение, что мы знаем только то, что ничего не знаем, — заметила дама, — старая философская песня. Тем не менее, насколько мне известно, вы единственный человек после Израиля Бал Шема, кто владеет Именем».

«Так считается...»

«Почему вы ни разу не воспользовались вашим могуществом?»

«Почему я должен был им воспользоваться?»

Дама хлопнула в ладоши. Обе половинки дверей неслышно распахнулись, въехал столик, который толкал перед собой секретарь.

«Я предполагаю, — сказала хозяйка, — что вы проголодались. Дорога долгая...»

Реб Шмуэль пил чай, робко взял с блюда бутерброд. Дама продолжала:

«Мы затронули интересную тему. Прежде я как-то не задумывалась. В самом деле, если бы он был женщиной... если бы он мог быть женщиной. Может быть, мир был бы чуточку совершенней!»

«Но он и так совершенен», — сказал реб Шмуэль и стряхнул крошки с бороды.

«Вы в этом уверены?»

Уж не провоцировала ли она бедного цадика? Реб Шмуэль взглянул на даму в сером — она улыбалась.

«Нет, — вздохнув, сказал он, — не уверен».

«Вот видите. Теперь мы можем вернуться к моему вопросу. Почему вы не воспользовались вашей властью над Именем? Весь народ, можно сказать, смотрит на вас».

«Какой народ... захолустный городишко».

«Весь народ Израиля, — сказала дама строго, — ждёт, когда же, наконец, придёт Машиах. Когда, — она устремила взгляд в пространство, — зазвенят колокольчики его ослицы. И вот появился человек, которому свыше дано поторопить Мессию. Напомнить ему о том, что... Ускорить его приход. И что же? Этот человек колеблется, медлит, чего-то ждёт. Чего вы ждёте? Пока не наступит катастрофа, всеобщая гибель, конец света? В ваших силах, — она наклонилась к гостю, — заставить его явиться. Всё проблемы были бы решены».

«Я полагаю, что это компетенция Всевышнего».

«О, нет. Увы! Поверьте мне, уж я-то знаю. Совершенство мира вовсе не в том, что к нему якобы уже нечего добавить, а в том, что мироздание подобно безупречно работающему автомату. Однажды пущенный в ход, он функционирует сам собой. Начнёте копать, передёльвать, он остановится. Речь идёт не о ремонте! Речь идёт о спасении. Кушайте, прошу вас... берите с рыбой. Это свежая сёмга, ночью привезли... Что сделано, то сделано!»

И она развела руками.

«В таком случае, — возразил реб Шмуэль, — и Мессия не поможет».

«Его задача другая. Мир, конечно, от его пришествия не изменится. Каков он есть, таков он есть. Но люди станут чуточку счастливей. В мире будет спокойней».

«Я думаю... — проговорил реб Шмуэль, оглядывая себя, не осталось ли крошек на манишке. — Я думаю, что чаша страданий ещё не переполнилась. Там ещё есть место... Мессия явился бы преждевременно».

«Дождаться, когда она перельётся через край! Вы бесчеловечны».

«Я?» — сказал реб Шмуэль.

Она запнулась. Цадик поднял глаза, в которых была такая бездна горя, что хозяйка не нашлась что сказать. И разговор иссяк.

Что-то вывело даму в сером из задумчивости. Реб Шмуэль зашевелился в кресле.

«Как, вы собираетесь уже уходить? Подождите, ведь мы ещё не успели договориться о главном. (Рабби пожал плечами). Так, значит, вы уверены, что... э?...»

Реб Шмуэль ответил:

«Да. Он жесток — в этом проявляется его великое милосердие. Он несправедлив, но его несправедливость — на самом деле не что иное, как справедливость. Наказание, которое он творит, есть награда. И часть для него то же, что целое. Чаша бед ещё не полна...»

«Вы это и говорите своей общине?»

«Люди меня понимают. Они понимают, что евреи — не сами по себе, но часть целого. Даже если никто никогда не выезжал из местечка».

Серая дама прищурилась.

«Теперь я вижу, с кем я имею дело. Вы — жестокий старик. Вам-то что, вам терять нечего. А что делать детям, у которых жизнь впереди, детям с глазами, полными доверия? Что делать молодым людям, которые ждут поощрения, — а вы лишаете их всякой надежды. И, в конце концов, откуда вы знаете? Кто вам дал право? Вы что — пророк? Что вы знаете о будущем?»

«Ничего, — сказал цадик сокрушённо. — Но я знаю, кто он и каков он, там...»

«Пожалуйста, не тычьте пальцем в потолок. Небо — здесь!»

«Простите».

«Сколько вам осталось жить?»

«Откуда я знаю...»

«Зато я знаю».

«Сколько же?»

«Вот уж этого я вам не открою».

«Но я более или менее догадываюсь».

Дама лукаво взглянула на цадика и спросила:

«Как вам понравилось моё угощение?»

«Благодарю вас. Очень вкусно. Я в жизни не пробовал ни икры, ни сёмги».

«А чай?»

«И чай замечательный. Что это за сорт?»

«Ещё чашечку?»

«Спасибо, я сыт. Кроме того, у меня, извините... проблемы с мочевым пузырём».

«Вам надо, — дама понизила голос, — отлучиться ненадолго?»

«Да, если позволите», — пробормотал рабби.

Она дала знак вошедшему секретарю, и гость поплёлся следом за ним.

Когда рабби Шмуэль после довольно продолжительного отсутствия вернулся, по его лицу было видно, что настроение у него значительно улучшилось. Дама в сером встретила его благосклонной усмешкой.

«Мне кажется, мир для вас теперь уже не так безнадежен!»

Рабби кисло улыбнулся.

«Вы спросили у меня, какой это чай, — сказала она. — Я открою вам маленький секрет. Это не чай. Это напиток бессмертия».

«Напиток... чего?» — спросил реб Шмуэль.

«Бессмертия. Отныне вы будете жить вечно».

«Но я об этом не просил!» — вскричал рабби.

«Так он решил, — сказала дама, наклонив голову, и развела руками. — Собственно, для этого вас сюда и пригласили. Это большая награда, вы должны за неё смиренно благодарить. Разве люди не боятся смерти? Разве не мечтает каждый о том, чтобы её отсрочить?»

Гость молчал, очевидно, не находя слов.

«Таким образом, у вас будет возможность проверить, так сказать, ваш прогноз... Если я правильно поняла вашу мысль, этот народ ожидают в будущем новые... ну, скажем так: неприятности... Чаша, как вы удачно выразились, ещё не наполнилась до краёв. Машиах, как всегда, не торопится, и я, признаться, надеялась, что уговорю вас ускорить его прибытие... Минуточку, я ещё не договорила».

Реб Шмуэль нервничал, снял пенсне, снова насадил.

«Вы отказываетесь, ссылаясь на... ну, словом, считаете, что можно подождать. А так как часть есть то же, что целое, — опять-таки ваши слова, и я охотно ими воспользуюсь, — так как евреи репрезентируют, если можно так выразиться, человечество, то ваша тактика выжидания распространяется на весь человеческий род. Вы считаете, что время для Спасителя ещё не пришло. Пусть будет так!» — сказала дама в сером, наклонилась и хлопнула цадика по колену.

«Ой, вей!» — простонал рабби.

«Вам предоставлена возможность дожить до той поры, когда вам покажется, что дальше медлить нельзя. Итак, решение по-прежнему в ваших руках, почтеннейший! Но имейте в виду: если что-нибудь произойдёт...»

«Что? что произойдёт?» — спрашивал рабби.

«Если что-нибудь случится, виноваты будете вы. Нечего ссылаться на волю Всевышнего».

Рабби Шмуэль, схватившись руками за голову, закрыв глаза, раскачивался всем телом взад-вперёд.

Дама смотрела на него.

«Ну, ну, — проворковала она. — Успокойтесь. Я пошутила. Это обыкновенный чай».

Рабби поднял на неё заплаканные глаза.

«Правда?»

«Ну конечно. А теперь прошу меня извинить. Меня призывают некоторые светские обязанности. — Она щёлкнула пальцами, вошёл секретарь или кто он там был. — Карету пану Шмуэлю».

Реб Шмуэль, кланяясь, отступал к дверям и уже было повернулся к выходу, когда серая дама произнесла:

«Все эти эликсиры вечной жизни, яблоки молодости — сказка. Чудес на свете не бывает. Так что чай не повредит вам, не считая, может быть, лёгкого мочегонного действия... Но бессмертие вам так или иначе обеспечено. Нравится вам это или нет. Ничего не могу для вас сделать, дорогой мой. Так он постановил».

Выйдя наружу, реб Шмуэль заметил, что небо лишь слегка посветлело, как было, когда он приехал; он вынул часы — они показывали всё то же время, и рабби подумал, что ещё успеет вернуться до наступления дня. Между тем что-то готовилось. Вдоль аллеи сияли фонари, в окнах ярко освещенного двусветного зала двигались фигуры, снег перед замком был вытоптан, в пятнах конской мочи. Рядами стояли сани, брички, старинные колымаги. Это был день большого приёма.

Зычный голос крикнул:

«Карету пана Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахiezера, Второго Великого маггида и господина благого Имени, — к подъезду!»

АПОФЕОЗ

Орел-холзан стоял посреди площадки на мохнатых раскоряченных лапах, мигал ореховыми глазами и чувствовал, что у него нет сил начать новый день. Рассвет застал его в оцепенении. Покрытые изморосью, тускло блестели его клюв и желто-бурые когти. Он продрог. Виной всему был жалкий ужин, но ведь умел же он вовсе обходиться без пищи, иной раз даже помногу дней. На всякий случай он наметил жертву — носатого парня, хоронившегося между камней. Но мысль о завтраке вызвала у орла тошноту. Переминаясь на затекших ногах, он чувствовал ржавый хруст в суставах, и все вместе — печаль внутренностей, стон костей — наполнило его сердце тревогой. Ему было семьдесят лет: постыдный возраст.

Плоская голова холзана повисла между плечами, крюкатый нос уткнулся в грудь, он снова дремал, и на дне его потускневших глаз проплывали загадочные видения. То, сорвавшись с края площадки, он летел молча вниз головой, растопырив лапы, погружался в ледяной поток, и его тело, качаясь, несло между камнями. То карабкался наверх по уступам.

Носатый сосед все еще сидел за камнями и время от времени, расхрабрившись, выглядывал оттуда: он видел, что хозяин пошатывается во сне и не может очнуться. Понемногу светлело. Орлу снилась всякая чушь: блеск солнца, бычья черепа, громадные половые органы. Стараясь сохранить равновесие, он топтался на узловатых лапах с торчащим кверху длинным задним когтем. Этот лишний коготь, знак родовитости, в сущности только мешал ему. Утвердившись, он погрузился в собственные плечи, думая, что погружается в сон, но теперь он притворялся перед самим собой, что спит. Так не хотелось взваливать на себя вновь бремя сознания.

Холзан вознес голову. Соглядатай был тут, но заметно трусил. Орел был доволен; завтрак ждал его. А меж тем туман, как дым, все быстрее и быстрее поднимался с трех сторон из ущелья, вот-вот должно было показаться солнце. Волшебное, вечно-новое

зрелище. Он оторвал лапу от камня и шагнул вперед. К сожалению, начало было неудачным, старый орел поскользнулся и упал, царапнув когтями щебень. Досадно было, что паршивец видел его оплошность. Все же утренний моцион монарха был совершен и на этот раз; сделав десяток шагов, орел остановился передохнуть, голова его запрокинулась, горло задергалось, с языка сорвался надменный клекот.

В былые дни государственному глаголу орла внимало более достойное общество. Дурак, сидевший за камнями, ничего не понял. Орел с достоинством продолжал путь. Так, скользя и подпрыгивая, он обошел свое жилище; когда же, окончив прогулку, обнес взором ближнюю окрестность, то заметил второго ворона, как будто возникшего из преисподней вместе с туманом; этот второй тулился на самом краю площадки и, ощерив грязный клюв, молча и скучно смотрел на холзана.

В гневе орел цокнул лапой и изрыгнул хриплую брань. И напрасно, не стоило. «Успокойтесь, государь», — сказал он себе с насмешкой. Окрик не произвел впечатления на визитеров. Тот, который прибыл позже, даже не пошевелился, только мигнул усталыми глазками; другой, сидевший с ночи, обеспокоился было, подпрыгнул, развесив крылья, но тотчас сел, оказавшись еще ближе, и выпятил по обе стороны граненого носа круглые, как черничные ягоды, глаза.

Орел перестал обращать на них внимание и смотрел вдаль. Трудно было сказать, сколько прошло времени, но когда он очнулся, оказалось, что уже не двое сидят возле него. Вся гряда, окаймлявшая площадку, была обсижена вороньем, отовсюду смотрели на него носатые головы и поблескивали тускло-внимательные глаза. Понеслось трепыхание крыл, из ключев тумана, выставив наготове паучьи лапки, спускался, точно парашютист, еще один, плюхнулся и оказался впереди всех. Орел заклеил компанию презрительным взором герцогских глаз. Пришелец был мал ростом, тускл и черен, как вынутая из воды головня. Убедившись, что старик безопасен, он повел грязным носом, с деловитой ненавистью поглядывая на застылое нахохленное собрание. Орел усмехнулся недоброй усмешкой, затрещал крыльями, — наглец в ужасе отскочил, взлетел и вернулся, но место возле холзана было уже занято. Там сидел капитан, тот, кто караулил с ночи. Капитан выпятил грудь и, дрожа от страха и отваги, растворил перед орлом свой длинный клюв.

Орел поднял веки и увидел, что он окружен. Собрав силы, он подпрыгнул, ударил крыльями и полыхнул очами. Кое-кто попятился, две или три косматых юбки поднялись на воздух. Прочие остались на месте и не сводили лиловых глаз с холзана.

«Те-те-те. Мы что-то очень разволновались», — сказал себе орел. И это — конец?.. А он-то воображал, что умрет там, в синеве над снегами, где в последний раз пронесется его тень, похожая на крест. Все же сидеть так и ждать не годилось. Он подумал, как ему поступить, и придумал. Внезапно, вскинув крюкатый клюв, орел издал воинственный возглас. Как плащ, развернулись его боевые крылья. Орел ринулся вперед, и в одно мгновение жалкий вождь, колебавшийся перед ним на хилых ножках, был сметен. Стая с криком разлетелась в стороны.

На площадке не было ни души, орел шумно дышал и гневно и радостно оглядывал мир. Теперь подойти к краю — и вниз головой...

Ничего этого не было. Шайка, обсевшая скалу, молча смотрела, как он кланялся перед ними с помутившимся взглядом, и во рту у него дергался посеревший язык.

Все вопросительно повели носами в сторону капитана.

Капитан приосанился. Он ждал, что хозяин сам повалится с камня. Хозяин шатался, как будто его раскачивал ветер, но не падал. Сверхъестественным усилием холзан вернулся к действительности и вновь стоял прочно на своих тяжелых, приросших к камню лапах, над которыми низко нависали мохнатые штаны. Хозяин глядел на шайку из-под полуопущенных век. «Не в них дело, и не их вина», — думал он.

«Кхарр!» — выкрикнул кто-то в толпе. Эхо громыхнуло из ущелья. Орел нашел глазами тщедушного капитана. Капитан волновался. Все общество было охвачено беспокойством. Покашливали, подрагивали отвисшими хвостами, подмигивали фиолетовыми бусинами глаз. Поколебавшись, капитан подпрыгнул, — черные крылья его метнулись в воздухе, как старая юбка.

Орел вздрогнул от изумления: капитан сидел у него на голове. С трудом держась, судорожно взмахивая крыльями, капитан в страхе озирает с высоты свое войско. Он был похож на одержавшего верх любовника, который от долгих приготовлений лишился сил.

Орел чувствовал себя нехорошо; не хватало только упасть вместе с капитаном. Жалобные крики ворона болезненно отзывались в

его ушах. Он чувствовал, как капитаньи ноги разъезжаются на голове, рвут перья и ранят его. Мысленно он обругал капитана ублюдком и склонил голову, помогая ему удержаться.

«Бей же, ну! Бей», — думал орел. Жалкий любовник, капитан все еще устраивался и примерялся.

Наконец, капитан долбанул; удар был не особенно удачным, и орел устоял. Капитан же чуть не свалился. Зрители шмыгали носами, не спуская глаз с командира. Капитан помедлил и стукнул клювом еще раз. Орел стоял как вкопанный. Раздосадованный капитан крикнул дурным голосом и с высоты оглядел всех. Войско стояло навытяжку, вознеся носы, точно на карауле. Капитан махнул головой что было силы, но хозяин и на этот раз устоял.

Он стоял, сгорбленный, стараясь не уронить главнокомандующего, и ждал следующего удара. Удар раздался, на сей раз крепкий, старательно-точный, и пробил кость. Орел почувствовал, как потекло по голове, стало заливать глаза и восковицу и закапало с кончика клюва. Спустя миг страшный новый удар поразил его в средоточие жизни. Холзан погрузился в ночь. Ворон тряс над ним тряпичными крыльями, махал головой и деловито жрал мозг. Увидев эти теплые, розоватые, дымящиеся комочки, исчезающие в клюве у капитана, зрители не могли больше утерпеть, заорали вразброд, захлопали крыльями и, сорвавшись, бросились на повалившегося с камня, слепого и окровавленного орла. Над ним началась драка.

Лежа с продырявленным животом, орел слышал их крики как бы сквозь слой ваты. Он чувствовал, как его топчут их лапки. С хриплым матом, размахивая крыльями, точно грязными знаменами, вороны наскакивали друг на друга. Кто-то потащил кишки, и в несколько минут он лишился внутренностей. Между ногами трудилась целая толпа. Карлик-парашютист расклевал пах и, сопя, сожрал яички. Орел не мог двигаться и молча ждал, когда начнут выклевывать глаза. Там, внизу, от него уже ничего не осталось. Глаза были не нужны ему, да и ничего не было нужно, но он надеялся, что про них забудут. Ворон-капитан подскочил к нему, захватил глазное яблоко щипцами и вырвал глаз с обрывком нерва.

Орел лежал с пустыми глазницами, между которыми торчал загнутый, как коготь, клюв герцога с обрывками желтой восковицы, и, собственно говоря, его уже не существовало. В полузасохшей коричневой луже валялись орлиные перья и пух и лежали большие скрюченные лапы. Вокруг там и сям был набрызган вороний помет. Ме-

жду камнями расхаживали грязноносые черные птицы, громко переговаривались базарными голосами и чистили клювы. Брызнуло солнце. Хохлатый вождь взлетел на уступ, гнусаво выкрикнул команду, и вся стая поднялась в воздух.

«Ловко у них получилось, — размышлял орел. — Все съели. Что ж, к лучшему. Туда мне и дорога». Ветер понемногу сдувал с площадки остатки орлиного оперения. «Я больше не хочу жить, — сказал он, — не хотел и не хочу жить, и не хочу больше думать. Я не хочу быть. Насколько было бы справедливей сначала исчезнуть, а потом пусть жрут сколько влезет. А что теперь?.. *Я не хочу быть*». И он стал ждать, когда они слетятся снова, чтобы расклевать его мысль, как они расклевали его тело.

ВАЛЕРИЯ

Принимаясь за этот рассказ, я хочу сделать оговорку. Бывает, что автор самовольно распоряжается тем, кого он назначил рассказчиком, делает с ним всё что захочет. А бывает и так, что рассказ порабощает рассказчика, и не автор, а его вымышленный двойник дёргает за верёвочку. Был ли мною тот, о ком здесь идёт речь? Не знаю.

Я жил в общежитии строительного техникума. В те времена город был изуродован рвами и пустырями на месте кварталов, взорванных при отступлении. Почему-то, вместо того, чтобы застраивать пустоши, город расползлся вширь. Город уходил от самого себя. От трамвайного кольца полчаса надо было добираться по грязи до моего жилья. Общежитие, общага — это был некий символ моего беспочвенного существования. Так как народ поднимался довольно рано, то и я старался лечь пораньше. И вот однажды отворилась дверь, вошла девушка. Наше знакомство началось не с этого события (которое и событием-то не назовёшь), но лучше я начну с него.

Трое моих сожителей ещё сидели за столом. Я лежал в углу у окна. Сетка казённой койки продавилась, сквозь тощий матрас я чувствовал железные рёбра каркаса; я лежал в углублении, как в люльке, уткнувшись в подушку. Думаю, что мне следовало попросту притвориться спящим.

Она поздоровалась с сидящими (никто не ответил), подошла к койке и положила на тумбочку плоский свёрток тонкой розовой бумаги, перевязанный шёлковой ленточкой.

«Поздравляю», — промолвила она еле слышно. Мы молча глядели друг на друга, она почувствовала, что мне тягостно её присутствие. Всегда бывает неприятно, когда тебя застают в постели. Стук домино прекратился, ребята за столом поглядывали на нас. Тут только я вспомнил, что у меня сегодня день рождения.

Я был старше её — не знаю, насколько: на десять лет или больше; иногда мне казалось, что я путаю собственные годы. С облегче-

нием смотрел я, как за ней закрылась дверь. У меня была странная мания: я любил представлять себе, какой станет юная девушка через тридцать или сорок лет. Она (её звали Лера, выяснилось, что полное имя не Калерия — распространённое здесь имя, — а Валерия) сначала показалась мне (я совершенно не склонен к легучим романам) старше, чем была на самом деле, с её круглой белой шеей, развитой грудью и тяжеловатыми бёдрами, и вот теперь, провожая её взглядом, я не думал о том, что пухлые барышни обыкновенно превращаются в сухих, плоскогрудых, высосанных жизнью женщин неопределённого возраста, — была ли этому причиной жестокая жизнь или особого рода национальная наследственность? — но представлял себе, что через тридцать лет она будет тучной неповоротливой старухой в полуистлевших шлёпанцах, с ногами в узлах вен, отвисшими грудями и волосами цвета семечек, и ни разу в жизни не вспомнит, как она когда-то, кому-то подарила ко дню рождения модный галстук.

Себя самого я воображал — если доживу — в лохмотьях, с опухшей мордой, с недопитой бутылкой, лежащим на задворках пивного ларька.

Нечто основательное уже тогда было в её физическом облике, а следовательно, и в характере, ведь у женщин свойства души и тела гораздо больше согласуются между собой, чем у мужчин, больше приспособлены друг к другу, — не говоря уже о походке, которая представляет собой как бы зримую музыку души; я бы сказал, тело женщины — это и есть её душа. Дверь закрылась, и я, наконец, сел, спустив ноги. Я взглянул на её приношение, взглянул на игроков, один из них занёс костяшку, готовясь хлопнуть ею об стол. Им было не до меня, как, впрочем, и мне до них; я не участвовал в их развлечениях, мало кто со мной разговаривал, если не считать незначачих реплик. На столе уже появилась бутылка. Я распустил ленточку, развернул бумагу. Я никогда не носил галстуков. Моё имущество хранилось под кроватью, в предположении, что соседи (я чуть было не сказал: однокамерники) не станут воровать у своего подселенца; вытянув фибровый чемодан, я поспешно сунул туда эту вещь. Мне было стыдно. Подношение говорило о том, что дарительница не представляла себе, с кем она, собственно, имеет дело. Если же представляла, — разумеется, приблизительно, насколько ей это было доступно, — то была, очевидно, недовольна моим видом и социальным статусом, а это значило... — что, собственно, это должно было озна-

чать? Я понял, что вязну в ненужных домыслах, вместо того, чтобы повернуться к стене и мирно уснуть под грохот костяшек. Я не спрашивал себя, откуда у неё такие деньги, и старался избежать мысли о том, что она питает ко мне некоторую особую симпатию, — зачем мне эта симпатия? Зачем мне «всё это»? И я уже не понимал, что подразумевается под «всем этим»: наше ненужное знакомство, шествие вдвоём по тусклым опасным улицам, с какой-то неясной целью, невозможность что-нибудь объяснить. Немного погодя я проснулся. В комнате было темно.

Меня разбудили шорохи, вздохи, слабые вскрикивания, скрежет кроватей. Кто-то спросил: «Ну как там у вас?» Мужской голос ответил счастливым басом: «Ништяк!» Это было модное словечко. По ночам наша комната превращалась в общежитие любви. В сумраке на двух койках, у окна и у двери, ворочались и барахтались, и то же происходило на четвёртой кровати, которую я не видел; бывало и так, что белые привидения выпрыгивали из постелей и менялись местами. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь встал и включил свет, и я увидел бы этих девушек, тяжело дышащих, с расширенными зрачками, склонившихся над моим ложем, словно провинциальные богини. Утром, когда комната была уже пуста и скучный дождливый рассвет струился и шелестел за окном, я сидел на койке и смутно представлял себе эту ночь; смутно вспомнил я и приход Валерии, и свой вчерашний день рождения.

Кое-как проболтавшись до обеда, я отправился в столовую, которая была поприличней других. Вход на углу здания, одного из немногих, сохранившихся с довоенного времени, в центральной, лучшей части города; фасад обращён к набережной, другая сторона дома выходит в переулок. В эту столовую, посещаемую чистой публикой, доступ субъектам вроде меня был воспрещён, но ко мне привыкли. Я возился с одной безмужней бабёнкой, подавальщицей, как называли официанток, время от времени ночевал у неё; пообедав борщом и жареной картошкой с котлетами, наполовину состоявшими из хлеба, я поторопился уйти, она вызвалась меня проводить, мы вышли и остановились у железной ограды, за которой начинался крутой спуск к реке. Я любил эту спокойную свинцово-голубоватую гладь. Вдали, на другом берегу тянулись невысокие дома, торчала башенка деревянной виллы, где помещалась амбулатория Заречного района; правее, на мысе, позади которого угадывался узкий приток, виднелись стены и колокольня старинного монастыря, издали

это было очень красиво — к сожалению, только издали. Приглядевшись, можно было заметить неторопливое движение вод, река текла и не текла, и слегка колыхалась; так полная женщина на ходу едва заметно покачивает бёдрами.

Снова начал накрапывать дождь, вода была словно исколота иголками. Шагах в двадцати от нас стояла Лера в низко надвинутой вязаной шапочке, держа в обеих руках перед грудью ученический портфель, и тоже смотрела вдаль. Я криво усмехнулся. Официантка (с трудом вспоминаю её имя) спросила: это кто такая? «Да так, одна...» — «За молоденькими ухлёстываешь?» — «Да брось ты», — сказал я. Мне было не по себе. Не то чтобы я боялся обидеть Валерию; в конце концов, я ничем не был ей обязан, и откуда ей знать, какого рода отношения связывают меня с этой женщиной; точно так же не было у меня никаких обязательств перед официанткой. Всё же я испытывал неудобство от того, что Лера, явно поджидавшая меня, увидела нас обоих; настроение, внушённое созерцанием реки, было испорчено, я злобно покосился на Валерию. Без сомнения, она видела, как мы выходили из столовой, чего доброго, решила, что официантка подкармливает меня, — и была, надо признать, недалеко от истины. Несколько дней спустя она снова явилась в общагу. Внизу, при входе в коридор сидела сторожиха, в армяке, напяленном поверх пальто, и валенках, которые она не снимала даже теперь, когда снег уже сошёл. Я эту бабу побаивался, не исключаю, что ей было известно кое-что обо мне, ведь эти люди — узлы опутавшей всех, невидимой паутины; верная неписанному кодексу своей профессии, она подозревала всех, кто входил и выходил: мужчин в воровстве, девушек в распутстве; но Лера, в чём я убедился, умела быть вкрадчивой, смогла каким-то образом ублажить эту ведьму.

Явилась днём, когда никого не было; я валялся одетый на койке, никуда не хотелось идти, да и некуда было. «У нас вчера были гости», — проговорила она. Я спросил: «У кого это — у нас?» — не имея представления о том, есть ли у неё братья, сестры, кто её родители; меня это совершенно не интересовало. «У папы, с работы. Вот...» — сказала она, кладя на стол свёрток. Похоже было, что она решила сражаться тем же оружием, что и моя знакомая официантка. Посуды, разумеется, не было, да и к чему нам посуда. Лера исчезла за дверью. Явились тарелки, вилки, с кухни был принесён чайник. В свёртке оказались бутерброды и сладкий пирог. Она не забыла и салфетку. Расстелила её передо мной на столе. Я молча

пил чай, жевал бутерброды; она сидела напротив, ни к чему не приоткнувшись, и смотрела в окно, с отрешённым, чужим и холодным лицом. Уходя, она сказала: «У нас в школе будет вечер».

Что ж, расскажу и о нём: это был очень странный вечер. Я опоздал, пришёл разодетый в пух и прах, в одной из двух своих парадных рубашек и одолженном пиджаке, — конечно, без галстука, в котором чувствовал бы себя совершенным идиотом; не говоря уже о том, что мне не хотелось дать повод Валерии подумать, будто я хочу понравиться ей в подаренном ею галстуке; замечательный предмет был навсегда погребён в чемодане. Но и без галстука, войдя в физкультурный зал, я почувствовал, что мне здесь не место. Гремела музыка из огромного, как ларь, усилителя. Девочки разного возраста, среди которых были хорошенькие, крутились, качались или выделяли разные нелепые движения; большинство в гимназической форме, с кружевными воротничками вокруг шеи и в белых накрахмаленных передниках с крылышками на плечах, что делало их похожими на горничных. Нужно было обладать весьма причудливой фантазией, чтобы вновь учредить этот антикварный наряд; говорят, гимназическая форма была введена, чтобы возродить «традиции», — какие, к черту, традиции? Платья, однако, были довольно короткие, барышни демонстрировали физическую зрелость, и вообще всё выглядело как гибрид дореволюционного благонравия с тем, что они считали современностью: с ужимками и причёсками, голыми ногами и попытками узаконить макияж; а перед тем, как войти в зал, поднимаясь по лестнице, я вспугнул кучку девиц с папиросами; в мгновение ока курево было спрятано за спиной, должно быть, они приняли меня за постороннего учителя.

Кавалеров было меньше; как водится, сверстники были мельче и неказистее девушек; я заметил двух-трёх молодых офицеров, отворачиваясь скрипевших сапогами. Мне пришлось посторониться, чтобы не мешать входящим и выходящим, шум стоял невероятный; я отошёл в сторонку и, конечно, увидел Леру танцующей с одним из этих вояк. Я почувствовал удовлетворение, смешанное с брезгливостью, дескать, неужели не могла выбрать кого-нибудь получше, — разумеется, я не имел в виду себя. Я ненавижу всё военное, ненавижу погоны, фуражки, сапоги и эту манеру расхаживать, сунув руку в карман расширяющих зад разлтых штанов, — более уродливую одежду трудно себе представить. Впрочем, выбор, как я уже сказал, был невелик. Но я ощутил и укол самолюбия, видя, как она с само-

забвенным видом крутится в объятьях этого хлыща, не удостоив меня даже мимолётным взглядом. Она притворилась, что не видит меня. Я сказал себе, что я вырос из всех этих игр, решил постоять минут пять и отвалить. С какой-то новой волной горечи и радости я почувствовал, как я далёк — за тысячу вёрст — от всей этой жизни, словно человек-невидимка Уэллса или заезжий иностранец.

Правильно было сказано, что самая лучшая повесть — та, в которой ничего не происходит; то же самое можно, я думаю, отнести к нам, к нашему времяпровождению и моему рассказу. В чужом пиджаке я чувствовал себя отвратно. Всё же я медлил, скосив глаза, наблюдал исподлобья за Лерой, пользуясь тем, что она не смотрит в мою сторону. Волосы были завиты, на мой непросвещённый взгляд, неудачно, не было никакой косметики, что показалось мне отнюдь не признаком скромности, а скорее ханжеством, я представил себе мещанскую среду, где она выросла; на ней было невиданное, видимо, новое голубое платье, цвет, который, по-моему, ей вовсе не шёл; шёлковый подол порхал вокруг её полных ног, и я снова подумал, в кого она превратится в старости.

Должен сознаться: меня так и подмывало подойти, не обращая внимания на офицера, взять её за локоть и отвести в сторону, и сказать: прекрасно, моя милая, продолжай веселиться; я этому рад, так как, сама понимаешь, между нами нет ничего общего, не знаю только, зачем ты меня сюда позвала. Постояв ещё немного, — танец вот-вот должен был закончиться, — я ушёл.

Скажут: ревность. Ха-ха. Согласен, ревность может быть изнанкой любви — если только представить себе изнанку без лицевой стороны. Так что могу лишь пожать плечами. Не ревность, а досада. Досада от непонятливости, что я не вписываюсь в эту жизнь, куда она хочет меня затащить; пожалуй, вовсе не принадлежу «жизни»: бывают, знаете ли, такие ожившие мертвецы. Эта мысль внушала мне даже какую-то сладость. Танцуйка для пубертирующих подростков, барышень и провинциальных сердцеедов, моё сомнительное проживание в общаге (директор Дома учителя, где я сперва ночевал, посоветился прогнать меня и договорился, добрая душа, с начальством строительного техникума «на ограниченный срок»; к счастью, меня пока что никто не тревожил), да и весь город... Что общего было у меня со всем этим? Я был ничьим, и ничто не было моим. У меня не было родни и не было родины, что бы ни подразумевалось под этим словом. Единственное, что

мне здесь нравилось, была река. Широкая и спокойная, то серая и отливавшая оловом, то голубая и серебряная, и всегда одна и та же, река, пережившая войны и смуты. Река — несмотря ни на что. Как тысячу лет назад, когда из чащи лесов на неё впервые воззрились горящие, как у зверя, глаза охотника, она простёрлась к далёкому горизонту, и не сразу можно было решить, движется ли она или только колышет свои воды.

Я стоял перед железной оградой, день был пасмурный; не оборачиваясь, не отрывая глаз от воды, я с трудом удерживался, чтобы не сказать: ну что ты ходишь за мной! Ты ведь даже не знаешь, кто я такой. Совестно было её обидеть; сама поймёт; походит и перестанет. «Ты пропал», — сказала Лера. Сперва я не понял, то есть понял её слова так, как их следовало, в сущности, понимать; но она имела в виду мой уход, прошла целая неделя, я почти уже забыл о том вечере.

«Тебе было скучно».

Чтобы сказать что-нибудь, я спросил, почему она не в школе. Она обрадовалась, что я проявляю интерес к её жизни, весело ответила, что учительница больна, их отпустили с последнего урока. На этом мой интерес иссяк. Мы постояли ещё немного над рекой, поблескивающей, как графит, под туманным небом. Кстати: она, верно, думала, что я учусь в техникуме, значит, и у меня сегодня нет занятий. Как всегда, вход в общежитие преграждал стол постовой сторожихи. Я почувствовал спиной её злобный взгляд, мы прошествовали по коридору и поднялись по лестнице. В комнате на столе лежал учебник, забытый кем-то из студентов, я сел за стол, Лера осталась в нерешительности. Я раскрыл книжку. В комнате не было стульев. Валерия сидела на табуретке.

Она наклоняется к портфелю у её ног и достаёт что-то. Я сижу, уткнувшись в книжку. Опять она что-то принесла, я вижу, скосив глаза, что это нечто роскошное, вероятно, очень дорогое; её нет в комнате, пальто брошено на мою койку; несколько минут спустя робко скрипит дверь, она входит, на ней коричневое школьное платье. Она поставила на стол стаканы. Помедлив, она приближается и молча обнимает меня сзади; я чувствую её тёплую грудь. Я не люблю шумных, суетливых, болтливых женщин. Лера была тиха, степенна, неразговорчива; не будучи хорошенькой, она не была лишена девической прелести, по-видимому, очень недолговечной; чего в ней совершенно не было, так это огонька, изюминки.

Я знал, что её подмывает спросить меня кое о чём. Всё-таки несомненным достоинством этой девушки было то, что она ни о чём меня не расспрашивала. Вероятно, чувствовала, что допрос окончательно отдалит меня от неё. Я был для неё загадкой. Таинственность окружала меня тёмным ореолом. Однажды, думал я, она переломит себя, преодолеет застенчивость. И так же, как сейчас она набралась отваги и обняла меня, так она решится спросить. Я сказал себе, что это будет концом нашего знакомства. На столе не было скатерти, висела лампочка без абажура, с двух сторон от двери встроенные шкафы, железные койки — что ещё может быть в мужской комнате? Она обняла меня, опустила голову на мою; её волосы, упав со лба, щекотали мне уши, лицо, я ощущал спиной прикосновение её тела, упругую мягкость груди, стянутых лифчиком; знает ли она, что я это чувствую, или поглощена собственными чувствами и ощущениями? — думал я. Не может быть, чтобы не сознавала, женщины думают всем телом. Но ведь она только готовилась стать женщиной.

Я пошевелился, и она отстранилась. «Я уже завтракал», — сказал я, видя, что она достаёт из портфеля пакет. Оказывается, — вот смех, — сегодня день рождения у неё. «Но у меня нет подарка», — сказал я. По-видимому, подарком был я сам. Еда на картонных тарелочках была расставлена на столе, на принесённой ею скатерке. Мир может перевернуться вверх ногами, но на столе должна быть свежевыглаженная скатерть; мы церемонно чокнулись. Хоть я и ссылся на завтрак, я был голоден. Она подливала мне. Усмехнувшись, я спросил: «Ты что, хочешь меня напоить?» Она никогда в жизни не пила коньяк. Налила себе сладкую газированную воду из другой бутылки. «Попробуй хотя бы». Она помотала головой. Она любит сладкое. «Потолстеешь», — сказал я. Она уныло взглянула на меня: она и без того считала себя слишком толстой. Язык у меня развязался, мы поговорили о достоинствах и недостатках разных напитков. Лера покосилась на пустые койки моих сожителей, я объяснил: «Они в техникуме». — «Ты ведь тоже в техникуме? — сказала она задумчиво. — А если кто-нибудь придёт?» Я хотел возразить, ну и что, сидим, выпиваем; встал и запер дверь на ключ. Это её испугало, она спросила: зачем?

И действительно, приблизились шаги, кто-то дергал дверную ручку. «Не надо...» — пробормотала Валерия, тем временем шаги удалились, белый день стоял в окне, белели подушки на застланных

койках. «Пожалуйста... не надо». Я не был пьян, напротив, коньяк обострил все мои чувства, обострил зрение, я смотрел на круглые, молочные груди моей гостьи, её платье повзрослевшего подростка было раскрыто, словно раздвинутый занавес, и лифчик упал на живот, это сделала не она, это я сделал и, медленно, наклонившись, стал целовать сперва одну грудь, потом другую. Она пролепетала: «Может, пойдём погуляем?» Мы вышли, оставив на столе следы нашего пира, низкое солнце выбралось из облаков, долгий путь пешком от окраины. И снова широкая спокойная река, залитая оранжевым огнём, налево старинный стрельчатый мост, справа на мысе у впадения притока весь в тёплом сиянии обломок монастыря; и на минуту мне показалось, что жизнь не так уж плоха, во всяком случае всегда есть запасный выход, путь к отступлению, мне представилось, что я стою на мосту и оттуда смотрю на дальний монастырь. Жду, когда солнце исчезнет за мысом, померкнут серебряные небеса, когда не станет вокруг пешеходов, когда вообще никого не будет, перелезу через барьер, и — головой вниз.

Вопрос: оттого ли я такой, что у меня такое прошлое, — или прошлое моё оказалось таким из-за того, что сам я таков? Мы выбираем свою жизнь, даже если нам кажется, что кто-то решает за нас.

Я снова почувствовал тонкий холодок любознательности, веющий от Леры, видимо, она считала, что сцена в комнате общежития даёт ей право заглянуть, наконец, за ширму, которую я воздвиг между нами. «Я всё хочу спросить...» — проговорила она.

Я молчал, глядел на воду. Она пробормотала: «Ты ничего мне не рассказываешь...» Я молчал, как будто был сделан из окаменелой глины. Даже если бы захотелось что-нибудь возразить, отделаться шуткой, я был бы не в состоянии это сделать.

«Я хотела тебя пригласить в гости, папа спросит — а кто он такой?»

Я, наконец, разомкнул уста.

«Да никто, — сказал я с досадой, — чего там рассказывать...»

Она уже не могла совладать со своим бабьим любопытством, ей не терпелось узнать, где проходит трещина моей жизни, хотя едва ли ей могло придти в голову употребить такое выражение. Она готова была услышать что угодно, хотя всё ещё подозревала у меня романтическое прошлое, но представить себе, что сама субстанция жизни может растрескаться, она не могла. В конце концов, как все женщины, она верила, что всякую прореху можно заштопать.

Могут спросить: почему я упорствовал? Боялся (вот уж поистине смешное предположение) отпугнуть, потерять Валерию? Но ведь я уже сказал, убедил себя, что эта девушка мне не нужна. Или то была просто привычка, раз навсегда усвоенное правило — держать язык за зубами? Открыться значит подставить себя; чем меньше мы рассказываем о себе, тем лучше. «Ну, хорошо...» — вздохнув, сказал я и обвёл глазами небеса, воды. Лера приготовилась слушать, показала на скамейку: может быть, сядем?

Минуты две погода она спросила: что же я молчу?

«Я тоже хочу тебя спросить... — пробормотал я. Мы по-прежнему стояли, смотрели на далёкую белую руину и мыс. — Как называется вон та речка?»

«Вот так здорово, живёшь здесь и не знаешь, как называется».

«Это левый приток или правый?»

Она молчала, поджав губы.

«Я думаю, левый, — сказал я. — Ты, наверно, думаешь, что я студент техникума, да?»

«Да».

Я усмехнулся. «Какой там студент. Живу... пока можно».

«Вот видишь, а я даже не знала».

«Теперь будешь знать».

«Но всё-таки...»

Я перебил её:

«Слушай, Валя. Как-то нет настроения. В другой раз». И, как назло, как будто она нагадала, вечером в общежитие нагрянули гости.

Ребята стучали в домино. На столе водка. Я сидел на своей койке и тупо смотрел на вошедших. Думаю, что не один я могу узнать милицейскую фуражку за сто вёрст. Как волк чует запах собак, так я могу почуять запах мильтонов, когда их даже ещё и не видно. И обойти их.

«Э, э, куда торопишься», — сказал комендант.

Я снова опустился на койку. Игроки не успели убрать бутылку.

«Так, — сказал милиционер, подходя к столу. — Выпиваем».

«Товарищ старший сержант, ей-Богу, первый раз...»

«А вот у нас есть сведения, что не только распиваете спиртные напитки, но и приглашаете к себе кой-кого...»

«Кого же это приглашаем, товарищ старший...»

«А вот есть сведения. Притончик устроили».

«Девушка знакомая зайдёт, чего ж тут такого...»

«А вот и организатор», — кивнув на меня, сказал комендант.

«Значит, того... Приводит девочек, надо полагать, не бесплатно...»

«Надо полагать», — сказал комендант.

«Так, будем разбираться. Попрошу ваши документы».

Студенты вытащили паспорта. Делать было нечего, я вынул и показал свой. Этого делать не следовало. Милиционер ловко выхватил паспорт из моих рук.

«Для начала протокольник... А вас, — это ко мне, — попрошу завтра в отделение... к девяти часам...»

Наслаждение властью всегда равно самому себе; топчут ли тебя сапоги диктатора или мусора-сержанта, их могущество одинаково. Вожделение власти нацелено на всех, подобно плотскому вожделению, не отличающему кинокрасотку от уличной лярвы. Скрыться некуда, и сопротивляться невозможно, как невозможно остановить на всём ходу пульмановский вагон, — пока он не столкнётся с другим вагоном. Меня осенила гениальная идея. Я решил предпринять контрнаступление. Так сказать, бегство вперёд. Одолжил пиджак, надел парадную рубашку и нацепил «гаврилу». Авось подаренный Лерой галстук принесёт счастье. Шутка сказать — самому сунуться в эту контору. Нечего и говорить о том, что дело могло кончиться нокаутом прежде, чем меня согласятся выслушать. Одним словом, ни в какое отделение милиции я не пошёл, а отправился в змеюшник. Девять часов утра, я стою перед подъездом импозантнейшего здания в городе.

Снова фуражка с синим околышем, контрольный пост в вестибюле. Я должен предъявить повестку. У меня не было повестки. Документы. Под документами всегда подразумевается паспорт. Снова изучается мой паспорт, злосчастный документ, в котором есть незаметная коварная пометка. Если бы я стал невидимым, о, если бы я стал невидимым. Я бы тотчас вышвырнул эту книжицу в реку, я бы её порвал в мелкие клочья и спустил в сортир. Мне предложено пройти. Само собой, не в рабочий кабинет или где они там сидят. Комнатушка здесь же, на первом этаже, с зарешечённым окном, облупленный стол и два стула. Я сижу, время идёт. Наконец, приоткрылась вторая дверь, цоканье сапог с подковками. Плоское, очень русское, веснучатое, открытое и непроницаемое лицо, глаза цвета мыла, капитанские погоны. Я вскочил, как автомат, руки по швам.

Он не стал садиться, заглянул мельком в паспорт, задавал вопросы, ответы известны заранее. Когда освободился? Статья? Так точно, пробормотал я.

Теперь я думал только о том, как бы отсюда выбраться. Ошеломляющая мысль: ведь они могли забыть обо мне. А я взял да и сам явился. Надо же — сам явился. За жопу его!

Так точно: я изменник. Изменил родине, и никакие отговорки не помогут — пусть и спирт кончился, и боеприпасы кончились, и отовсюду наседают автоматчики, и связь со штабом полка прервана, пускай про нас забыли, пускай бросили нас на произвол судьбы. Стоять — и ни шагу назад. Лейтенант сидит на снегу, без фуражки, сапоги в разные стороны, снег под ним в красных пятнах, надорванным голосом сипит: бросай оружие, ребята. Был ли шанс избежать плена? Может, какой-то шанс и был. Вместо этого все, один за другим, подняли руки. Немец-офицер подошёл к лейтенанту и в упор застрелил его.

Я стою и смотрю на человека с глазами как мыло, а он смотрит на меня. И мне хочется сказать: какая, на х..., родина, нет у нас никакой родины. Родина — это начальство. Вот эти самые суки, которые сидят в тех самых кабинетах.

Я смотрю на него. Война кончилась. Американцы свезли всех в лагерь — где-то там на юге, город Кемптен. В бывшее училище... Женщины-остовки, некоторые с детьми, прибалты — латыши и литовцы, ещё разная сволочь, а больше всего военнопленных из разных лагерей. Лето, жара даже ночью не спадает, все лежат вповалку, в зале, в коридорах, снаружи во дворе. Утром подъём — накормили завтраком, потом митинг на площади, подъезжает джип, вылезает майор в пилотке как кораблик, в курточке табачного цвета, тут же и комендант лагеря, и с ними наш русский, полковник с тремя звёздами на погонах. Приказ американского командования (переводчик переводит): все, кто проживал в Союзе после 1920 года, подлежат передаче союзникам. То есть нашим. Толпа заволновалась, полковник поднял руку и стал зачитывать указ Верховного совета. Пункт седьмой, наизусть его помню. Я запомнил всё, вот в чём горе.

Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей... которые в период Великой Отечественной войны сдались в плен врагу, если они испутили вину... явились с повинной...

Юмористы: какая, на х..., повинная?

Поручить Совету министров принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам...

Что тут началось... Крики, обмороки, плач женщин. Назавтра спохватились, многих нет: ушли куда глаза глядят, в горы, в лес. Начали составлять списки. Возвращаться? Многие так и решили. Я сам вначале обрадовался. Так хотелось снова увидеть Москву... После обеда стали вызывать по списку в комендатуру, проверка документов: родина ждёт вас, сволочи! Почти ни у кого документов нет. Ползут слухи, что нас там считают изменниками: почему сдались, а не погибли в бою? Смотрю, майор вытащил фотоаппарат, все стали оборачиваться. С заднего двора выступила процессия — дети, подростки, худые, оборванные, с плакатами, кто-то им написал по-английски: «Просим американской защиты против отправки насильно в СССР». Наутро оказалось, что лагерь окружён: американские танкетки с пулемётами.

Капитан похлопал моим паспортом по ладони, вернул мне. Работаете? — спросил он. Я сказал: пока ещё нет. Что, не берут? Я снова пожал плечами. Не мог же я ответить, что никуда не совался — дал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, то уж ни одна сволочь больше не заставит меня работать.

«Так, — сказал капитан и взглянул на часы. — Так в чём дело-то?»

Я сказал: меня обвиняют в том, что я организовал притон.

«Где же это? Хе-хе».

Хотят выгнать из общежития. К ребятам приходят подружки. Причём тут я?

История развеселила капитана. Небось у тебя, — подмигнул, — тоже есть какая-нибудь?.. Выпусти его, сказал он постовому.

О-о, с каким облегчением я покинул этот дом. Я знал, что им льстит, когда к ним обращаются за помощью. Я перешёл через мост, — вблизи он не казался таким красивым, сбоку по деревянному трапу плетутся прохожие, мимо гремит трамвай, — пересёк площадь Свободы, где о бывших развалинах можно было догадаться по остаткам фундаментов, заросших бурьяном, и очутился в лабиринте полудеревенских улиц Заречья с канавами, деревянными мостками, заборами, голубыми лужами после дождей, только что распустившейся юной зеленью. Не скажу, чтобы меня слишком радовала перспектива этого посещения; но я дал слово придти.

Едва я взялся за калитку, как раздался лай, лохматый чёрный пёс выскочил из-за угла деревянного одноэтажного дома. Я стоял на крыльце, Лера просияла, увидев на мне галстук, очень идёт, сказала она. Она тоже приоделась. В доме было опрятно, пахло едой и торжественностью. В большой комнате, не городской и не деревенской, стол был покрыт белоснежной скатертью, блестели фужеры, сверкал графинчик с лимонной водкой, стояло блюдо с винегретом, блюдо с нарезанной колбасой, хлеб горкой, на тарелках лежали красиво свёрнутые крахмальные салфетки. Вошёл отец.

Сразу было видно (и слышно), что он ступает на протезе. Он был ниже меня ростом, опирался на палку, в пиджаке с привинченным орденом Отечественной войны и рубашке, застёгнутой на все пуговицы; слава Богу, без галстука. Жилистая шея, скуластое лицо, прямые неседующие волосы, как бывает иногда в сёлах у немолодых мужиков. Совершенно непохож на дочь. Мы топтались друг против друга; в дверях — Валерия в кухонном переднике поверх нарядного платья, что-то жарилось на кухне; ясное дело — всё это было не чем иным, как смотринами жениха.

«Н-да! — сказал веско отец Леры. — Ну-с. Чем богаты, тем и рады».

Мне указали место за торцом стола, очевидно, почётное. Он уселся напротив. Лера исчезла на кухне.

«Дочь! — сказал отец, оглядывая стол. — Ты бы села».

Мне пододвинули закуску; хозяин разливал жёлтую водку по фужерам. «Тебе?» — спросил он Леру, занеся графинчик. Она пролепетала: «Я лучше наливку. Только немного».

«Ну-с, будем».

Я сказал: «За ваше здоровье».

Полагалось выпить до дна.

В этот день, по причинам, о которых нет смысла напоминать, я вовсе не завтракал. И тотчас почувствовал, как напиток ударил мне в голову. Слегка, разумеется.

«Так, э... давно... — проговорил отец, стараясь не говорить ни ты, ни вы, — у нас в городе?»

Мы старательно ловили вилками снедь на тарелках, он говорил, что город строится, станет ещё краше, чем до войны, один только вагоностроительный завод построил целый новый район.

«Ну, там, кинотеатр, я уж не говорю. Трамвайную линию проложили, вот, например, ваше общежитие...»

Значит, он знал, что я обитаю в общежитии. Снова передо мной воздвигся полный фужер, Лера вставала и возвращалась, я понимал, что и для неё это был некий экзамен. Я чувствовал себя словно во вражеском стане, надо было держаться во что бы то ни стало.

«Валя, вон, ничего не рассказывает, хотел спросить: вы на кого учитесь?.. — Он перебил себя. — Слушай, — сказал он, рубанув рукой. — Чего там... Ты ведь тоже фронтовик. Давай на ты!»

Мы чокнулись, пожалуй, с излишним усердием.

«Ты где воевал-то? Небось уже в конце войны призвали?»

«В сорок четвёртом».

«Сколько ж тебе было? Совсем, наверно, был мальчишкой. Да... — он вздохнул и покачал головой. — До детей дело дошло, вот как дело-то было. А когда демобилизовался? Ну давай ещё по одной. За победу».

«Я был в плену», — сказал я.

После некоторых неприятных происшествий, в итоге разных соображений, где что надо писать, а главное, не впасть в противоречие с анкетами, которые уже приходилось заполнять, я подправил свою биографию, подтянул даты и заштопал пробелы, как штопают дырявые носки. Работать я не собирался, но на всякий случай имел наготове вполне приличную анкету, ничем не примечательную, рассчитанную на то, чтобы по ней, не задерживаясь, пробежали глазами. При более пристальном чтении, разумеется, следы ремонта были заметны. Так или иначе, мне ничего не стоило бы в застольной беседе с отцом Леры обойти некоторые скользкие пункты. Но в tomto всё и дело: мы сочиняем нашу жизнь — а жизнь сочиняет нас. Злой бес овладел мною. Слово было произнесено, и воцарилось молчание. Лера переводила испуганные глаза с гостя на хозяина. Мне показалось, — я мог, конечно, и ошибаться, — что её напугало не столько моё сообщение, сколько изменившееся выражение на лице у отца. Старый солдат отложил вилку, умолк и, наконец, произнёс:

«Та-ак».

Конечно, он знал о том, чем была война на самом деле, о чём не говорилось в речах и не писали в газетах, — ещё бы ему не знать. И в то же время не знал, знать не хотел, не хотел слышать. Одно было ясно. Поглядывая из-под серых нависших бровей (я уже сказал, что у него совсем не было седины, поседели только брови), он знал, что перед ним сидит враг. Что же (пауза), и в заключении побывал?

Я ответил: «Так точно».

«Когда? Ты извини, что я спрашиваю».

«Когда освободился из немецкого лагеря».

«Из одного в другой, что ль?»

«Не сразу. Сначала в проверочный, а потом...»

«Сколько ж тебе дали?»

«Как всем».

Я уже понимал, какая картина выстроилась в его мозгу. Как теперь мы сидим друг против друга по обе стороны стола, так лежали мы, ощерясь, держа оружие наготове, в окопах по обе стороны фронта. Он втянул воздух в ноздри, шумно выдохнул, спросил:

«Небось во власовской армии воевал?»

Что я мог ответить... Я понимал, что вместо меня в его доме, за его столом сидит и пьёт водку некий персонаж, с которым всё ясно. О чём говорить, что ему объяснять, — да, может, и к Власову пошёл бы, чем подышать в лагере. Да вот так получилось, не взяли. Я покопился на Леру, её глаза как будто просили: только, ради Бога, не уходи.

«А? Чего молчишь?»

«Тогда бы меня здесь не было», — сказал я.

«Угу, — кивнул отец Леры, окинул меня взглядом, словно только что увидел, посмотрел на скатерть. — Дело, конечно, прошлое...» — проговорил он.

Лера пролепетала, глядя на меня:

«Ты кушай, кушай. Будет ещё горячее», — добавила она.

«Дело прошлое, я, конечно, тебе не судья. Только, знаешь... Даром ведь не сажают!»

Подумав, он продолжал:

«Ну, в начале войны ещё туда-сюда. Паника была... Но ведь ты-то. В сорок четвёртом году мы уже всю наступали».

Я и на это не мог ничего возразить. К чему? Делать мне здесь было нечего, посижу немного для вежливости и пойду, и пусть они тут доедают своё горячее.

Но я чувствовал, было в этом и кое-что кроме патриотизма (назовём его так). Кроме непререкаемой аксиомы, что сдача в плен есть преступление, — они всегда употребляли это слово: «сдача», — а не то, что попал в плен и ничего не подделаешь. Нет, они всем сумели вдолбить, что всякий, кто сдался немцам, изменник. Но мне-то было всё равно, я обсуждать эту тему не собираюсь. Просто я хочу сказать,

что здесь было и другое. Было то, что вот, дескать, жили хорошо и спокойно, пока в этот дом с чистыми половиками, с цветами на подоконниках, портретом покойной жены (на неё-то как раз Лера была удивительно похожа) не вторгся чужой и незваный, и кто его знает, что за тип.

И ещё меня осенило... как это я сразу не понял? В прищуренном взгляде старика мелькнуло злорадство. Да, он был доволен, был счастлив! Ну что ж, коли так — я сейчас встану, выйду из-за стола и скажу ему на прощанье. Старый хрен, причём тут все эти дела, виноват, не виноват, почему оказался у немцев, даром не сажают, — причём тут всё это? Да ты просто ревнуешь! И теперь рад-радешенек, вот, дескать, кого привела! Успокойся, дубина: не нужна мне твоя дочь, и все вы мне не нужны. Весь ваш засратый город... Оставайтесь тут... Так и скажу.

Меня охватила такая злоба, что я засмеялся. Он поднял брови. Мы сидели и молчали.

«Ну что ж, — проговорил отец. — Ладно! — Он шлёпнул ладонью по скатерти. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай, что ли...»

Он снова налил себе и мне. Мы выпили. Оба, отец и дочь, стояли на крыльце. Пёс вертелся у ног. Я махнул им рукой.

Был уже май месяц, деревья распустились, над рекой, над старым монастырём, над всем дальним Заречьем стояла бездонная синева, и птичий гомон заглушал звуки города и голоса людей. Вдруг наступило буйное зелёное лето. Я едва узнал город. Река осталась та же, театр, дом на углу набережной, где была столовая, и даже памятник Ленину стояли на своих местах, в бывшем Доме офицеров разместился банк, всё остальное изменилось. В центре появились новые улицы, повсюду висели рекламные щиты, не осталось больше пустырей, не было оврагов. Я отправился в общежитие, трамвайная линия протянулась далеко на окраину, теперь всё вокруг было застроено. Общежитие затерялось среди однообразных блочных домов, и там висела другая вывеска. Вернувшись в гостиницу, спросил телефонную книгу. Я приехал в город без всякой надобности.

В книге не было такой фамилии, должно быть, Валерия вышла замуж. И вообще неизвестно было, живёт ли она по-прежнему в городе. Двинулся в Заречье, там тоже кое-что изменилось, но сравнительно мало; по крайней мере, улица сохранила прежнее название. Номер дома я не помнил, брёл вдоль заборов и штaketников, оставливал случайных людей.

Я взялся за щеколду, приоткрыл калитку. Предчувствие было так отчётливо, что я остановился и почти что услышал лай лохматого пса, бегущего мне навстречу. Я стоял на крыльце, напрягая слух: в доме ни звука. Похоже, что звонок не работал. Дверь была заперта. Всё же я мог ошибиться — с этой мыслью я вышел на соседнюю параллельную улицу. Мне повезло: я наткнулся на вывеску клуба ветеранов. Отец Леры давно умер.

«А дочь?» Старичок с планкой орденов на пиджаке, заведующий или кто он там был, пожал плечами.

Я хотел ей объяснить, что меня выгнали из общежития за то, что я будто бы устроил в нашей комнате притон разврата, но скорее всего это был повод, чтобы, наконец, меня выселить; что я искал защиты в известном учреждении, но ничего не помогло. Из окна моего номера я мог любоваться рекой, прежде я не видел её с высоты; я находился на десятом этаже, на той самой площади за мостом, которая в моё время ещё хранила следы войны. И теперь, глядя на противоположный берег, набережную, где я любил стоять когда-то, где мы оба стояли, я догадывался, что новый облик города был обманчив, по-настоящему ничего не изменилось, как не изменился, несмотря на перемену всех моих обстоятельств, я сам. И, как в те былые, небывалые времена, вид спокойных, неподвижно-текучих вод примирял меня с жизнью.

Я жил в своей фантазии: в городе, которого нет, с девушкой, которая никогда не существовала.

ГИББОНЫ И ОБЛАКА

Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.

Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолебенением присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слышали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-зедангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он рассказывает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задребезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара к каком-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёдочка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, — с огромной сковородой, на которой журчала глазуня с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный атташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроем и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и — уфф! — плюхнулся на диван.

Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге — возможно, это был рог единорога — раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая проговорил эксатташе. — «Успеется; работа не волк». — «А ты, — сказал атташе, —

когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. — «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» — «Зачем им догадываться?» — возразил хозяин.

Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов в массивных переплётках грозили обрушиться вместе с полкой. На почерневшем от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был ниц, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошёл», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.

Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлинному. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании *несуществующих подлинников*.

Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих

географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевюса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.

Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменистой тропе.

ДОРОГА

Я писал Историю железных дорог.
Чехов

1. Интродукция

Среди ночи, в кромешной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось спрыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, — мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу, так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевернутыми тачками.

Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжело дышал и вращал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кричать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как

лошадь не может свернуть с дороги, так мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деваться, парализовало меня.

Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом пронсящих вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС спустит зверя, проводник служебно-разыскной собаки. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, брезгливо подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, и я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса. Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светодорог.

2. Путевые картины

Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, весенние разливы, на бабу-стрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей клочковатой, тряской, гремячей жизни, — с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно несло на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней — это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемычками провода рисовались на серебраном небе.

В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных — с названиями далеких станций, желтых — с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробойной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собирание билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление — от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена; четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расплывающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.

Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были маловероятными, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.

Дорога перемалывает часы в километры, сутки — в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял — спинным мозгом, который не ошибается, — что за мной следят.

Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу, слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всесоюзный розыск, — остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне была лагерная одежда, можно было не сомневаться — на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто ссадили меня, на станции ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать: я в уборную, сейчас вернусь, что-нибудь в этом роде; на мое счастье, в вагон набился народ, протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.

Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее груди, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены, и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая крутобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой де-

вухой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут застукать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и глазком, что придавало ей сходство с тюремной камерой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; вместе мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна — съездившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.

3. Попутчики

Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.

Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускал меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, острожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.

“Не знаете ли вы...” — просипел я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. “Не скажете ли вы, — повторил я, прочистив горло, — где мы едем?” Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем знакомым; вероятно, и он скорей догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, очевидно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услыхав наш разговор, повернула ко мне личико, напомнившее мне кого-то.

Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: “Вы, наверное, из Прибалтики?”

Он покачал головой. “Вы иностранец, — сказал я с восхищением, — из какой же вы страны?” Он пожал плечами. “Америка? Англия?” “Тепло”, — промолвил он с хитрым видом. “Голландия?” — “Еще теплей”. “Германия! — воскликнул я. — Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято”. Я говорил и не мог остановиться.

“Да еще вдобавок, если он в таком виде”, — добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.

Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.

Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.

Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.

Он поднял брови.

“Забыл язык!” — сказал я сокрушенно.

“О, нет, вы прекрасно говорите”, — возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.

Старик сказал:

“Конечно, язык очень быстро забывается; я знаю это по себе. К тому же вам мешает мое произношение. Сами немцы, знаете ли, не всегда понимают друг друга. Ведь у нас что ни область, то новый диалект”.

“Но вы же...” — проговорил я, глядя на бархатную лиловую шапочку на его лысой голове в венце желто-серых кудрей.

“Что я?.. Ах вот оно что! Видите ли, — он усмехнулся, — все немецкие евреи считают себя немцами — или по крайней мере считали. Немецкие евреи — большие патриоты. Или были ими... Несмотря на то, что они евреи. То есть именно потому, что они евреи, они были такими патриотами. Also? (Так что же?)»

“Я спросил, где мы едем, потому что это должен быть поезд дальнего следования, — сказал я, старательно подбирая слова. — Поезд, который пересекает несколько областей. А у нас области очень большие, каждая величиной с целую Германию”.

“О, да”. — Он улыбался, кивал с сочувствующим видом.

“Так вот, я хочу сказать, этот поезд выглядит как пригородный. Нет ни полка, ни купе. Странно, не правда ли?”

“Но в Европе все поезда такого типа”.

“Это в Европе. А мы должны ехать в поезде дальнего следования. Поэтому я и спросил”.

“В дороге, — сказал пассажир, — бывают всякие неожиданности”.

“Верно, замечательно верная и важная мысль. Понимаете, жизнь так сложилась, что у меня было мало практики. Общение с иностранцами у нас не поощряется. Да и вообще столько времени утекло, знаете ли... Но вы мне сразу понравились. Внушили доверие. У нас ведь, знаете, как: если к тебе хорошо относятся, значит, жди подвоха. Или к тебе подлизываются, думают, что ты начальство, или хотят облапошить тебя, пользуясь тем, что ты растаял. А чтобы просто так к тебе хорошо относились, — сказал я, качая головой, — нет, так не бывает”.

“Вы слишком строго судите”.

“Я?” — И я усмехнулся.

Мне хотелось говорить, я не мог остановиться.

Я чувствовал, что выражаюсь бессвязно и нарушаю не только правила грамматики, но и приличия, необходимые в разговоре между незнакомыми людьми. Не умея найти нужный тон, я должен был показаться моему собеседнику тем, кем я, в сущности, и был: полунинтеллигентом, полубосяком. Уютный вагон, спасение от преследователей, чудесным образом исчезнувших, — сейчас я уже не мог отличить реальность от наваждения — развязали мне язык, и при этом я испытывал восхитительную беззаботность, как бывает, когда приходится изъясняться на иностранном языке. Это может показаться странным, но чужой язык обрекает вас на косноязычие и

в то же время расковывает. Чувствуешь себя в самом деле свободнее, исчезает страх, падают запреты. Стыдные слова, запрещенные слова, опасные слова — все, что так боязно произнести на своем родном языке, словно наткнуться на колючую проволоку под током или наступить на мину, — теряют свою взрывную силу; на чужом наречии легче объясниться в любви и ничего не стоит произнести вслух самую страшную крамолу.

“Вы, наверное, не знаете, — сказал я, смеясь, как говорят со смехом о собственной смертельной болезни, — вы даже не знаете, что у нас бывает за связь с иностранцем”.

Он спросил: “Что вы подразумеваете под связью?”

“Разговор. Вот как мы сейчас с вами разговариваем”.

Да еще, хотел я добавить, когда турист заводит знакомство с такими, как я. С несуществующими людьми.

“Я вообще удивляюсь. Вы так свободно разъезжаете, и никто за вами не следит?”

“Кто знает, может быть, и следят”.

“А все-таки мне ужасно приятно, что мы едем вместе”.

“Мне тоже. Впрочем, это не должно вызывать удивления”, — заметил он.

“И куда же вы едете?”

“Гм, куда я еду? Как вам сказать, по правде говоря, я сам еще точно не знаю. Еще не решил!” — сказал пожилой пассажир и развел руками. Поезд шел, не сбавляя скорости.

4. Воспоминания

Тут, наверное, надо было спросить: как это вы не знаете, ведь билет-то у вас до определенного места? С другой стороны, я не имел представления о порядке передвижения иностранных граждан по нашей стране.

“Это ваша внучка?”

Пассажир усмехнулся, снял панамку с ребенка и слегка взъерошил его золотистые волосы. Малыш потянулся к его бархатной шапочке, старик наклонил голову, малыш схватил шапочку и надел ее на себя. Старик напялил панаму. Эта игра продолжалась некоторое время.

“Слышал, что сказал дядя? — спросил пассажир, насаживая шапочку на свои седины. — Он сказал, что ты моя внучка. Хочешь быть девочкой?”

Малыш насупился и энергично помотал головой.

“Вот он, наверное, мог бы поговорить с вами по-русски, если бы не дичился. А? Скажи что-нибудь”.

От тепла и ритмичного покачивания меня начало морить. Долгий разговор утомил меня, я уже не понимал, с какой стати я вдруг так разболтался. Голова моя стала толчками опускаться на грудь, и уже почти сквозь сон я услышал голос попутчика:

“Позвольте...”

Не позволю, подумал я. Дайте поспать, я целые сутки не смыкал глаз.

“...задать вам один вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь...”

“Нет, не приходилось, — сказал я поспешно. — Послушайте: мы так долго едем... Сколько сейчас времени?”

“Бойтесь проехать вашу станцию?” — насмешливо спросил он.

“Мне пора выходить”.

“Сидите, до станции еще далеко. Also! (Ну так вот.) Вам приходилось когда-нибудь видеть свои детские снимки?”

“Что?” — спросил я.

“Фотографии вашего детства”.

“Знаете что, — сказал я ему. — Очень вас прошу. Не задавайте мне никаких вопросов”.

“Но вы даже не знаете, почему я спросил”.

“Все равно; ни о чем меня не допрашивайте”.

“Помилуйте, какой же это допрос! Так... все-таки?”

“Не помню”.

“А вы вспомните”.

“В ящике письменного стола, — сказал я, — лежала большая фотография, где я на руках у моей матери. Мне, наверное, было меньше года”.

Пассажир сказал:

“Она и сейчас там лежит”.

“То есть где это там?”

“Там, где вы сказали. В письменном столе”.

“О чем вы? — вскричал я. — Никакого письменного стола давным-давно не существует”.

“Верно, — сказал он мягко, — но в каком-то смысле все-таки существует. Так же на фотографиях человек продолжает жить, хотя, может быть, его давно уже нет... А более поздние?”

Я ответил, что была еще карточка, на которой я был снят во весь рост, в бархатном костюмчике и с бантом на шее. “Знаете, — и я рассмеялся неожиданно для себя самого, — бант — это была просто мука. Меня тоже в детстве принимали за девочку. Худшего оскорбления нельзя было придумать”.

“Вот видите, надо было и мне повязать ему бант. Сходство было бы еще заметней. — Он помолчал. — Ты все еще не узнаешь себя?”

Разговор в самом деле затянулся, а я так и не решил, что делать, сойти на ближайшей станции или ехать дальше; я устал говорить на чужом языке и уже не был уверен, что правильно понимаю моего собеседника. А между тем было ясно, что мы только подбираемся к главному, и остановиться было невозможно, как невозможно было затормозить движение поезда.

5. Туннель

Пассажир вытянул за цепочку из кармашка брюк серебряные часы, отколупнул крышку.

“Вы хотите сказать...” — пробормотал я.

“Надо будет свериться на ближайшей остановке, похоже, что мои часы отстали. Вероятно, мы в другом часовом поясе... Впрочем, какая разница. М-да. Вот именно, — сказал он, щелкнул крышкой и спрятал часы. — Именно это я и хочу сказать. Вас это удивляет, но, в сущности говоря, как бы вам объяснить.

В дороге все бывает. Мне кажется, вы того же мнения”.

Я не знал, что сказать, чем ему возразить, и моя физиономия, как можно предположить, приняла глупое выражение. Он продолжал:

“Дорога — это великая вещь. Можно встретить кого угодно. Можно разговаривать с человеком, которого вы не удостоили бы в обычной жизни и двумя словами. Можно встретиться с теми, кого вы не только никогда больше не увидите, но и не могли бы увидеть в обычной жизни”.

“Что значит — в обычной жизни? Знаете ли вы, кто я?”

“Ungefähr. (Приблизительно.) Сиди спокойно, — сказал он мальчику. —

Хочешь ко мне на коленки? Или к дяде. Не бойся, ведь это ты сам”.

Вспыхнули лампы, поезд вошел в туннель. Сквозь тьму мы мчались под грохот и визг колес, и рядом с нами в черно-туманном стекле пошатывался ярко освещенный вагон, и за окном мы трое, я и напротив меня старик в антикварном одеянии, с ребенком на коленях. Старик что-то говорил. Мальчик уставился на свое отражение. Впереди забрезжил утренний свет, померкло электричество, вагон вылетел на волю. В наступившей блаженной тишине вновь послышалось ровное, мерное постукивание. За окном тянулись пустые ровные поля, и казалось, что поезд еле движется. Изредка мелькали безлюдные полустанки. Леса отступили к горизонту. Покойно качались в углах вагона безмолвные дремлющие пассажиры.

“Мы прекрасно помним себя детьми, это остается на всю жизнь. Вот и вы, например, сразу вспомнили, как вы негодовали, когда мама повязывала вам на шею бант... Мы способны возвращаться в детство, в сущности говоря, это и есть наша единственная родина, наш дом... И когда мы входим туда, все стоит на своих местах, вещи, игрушки. И фотография лежит в письменном столе... Только взрослых больше нет. Я вам скажу так, — сказал он доверительно, тоном, который в самом деле поразительно напоминал интонации родственников в моем детстве, — я вам скажу так... Математическое время Ньютона, те-те-те, все это мы прекрасно знаем. Но, дружок мой, это ведь не более чем абстракция... Мы не живем в одном определенном времени, не плывем пассивно в его потоке, как лодочник по течению реки. Мы существуем, если вдуматься, и в настоящем, и в прошлом, и, может быть, даже в будущем. Нынешняя жизнь, вот это путешествие... и наша встреча... — это будущее, не правда ли, если смотреть на него оттуда? Я вам не наскучил своими рассуждениями?”

“О, нет”.

“Но... вы поняли, что я хочу сказать?”

“Стараюсь, — сказал я. — Мне кажется, многое зависит от языка. Немецкий язык выражает все эти вещи как-то убедительней. Однако из этого не следует, что они существуют на самом деле”.

“На самом деле... Бог ты мой, кто знает, что это такое — на самом деле! Что значит существовать? Может быть, мы все существуем в каком-то условном смысле, в чем-то великом уме, о котором нам ничего не дано знать. Впрочем, не решаюсь с вами спорить, тем более что... — Он развел руками. — Для дискуссии, сами понимаете, у нас не так много времени. Должны же мы наконец куда-то приехать!”

“Послушайте, — сказал я в сильном беспокойстве, — я не очень-то разбираюсь во всех этих вещах. Но это не важно. Мы не должны расставаться. Раз уж так получилось... Разумеется, у меня тысяча вопросов, но, может быть, позже! Знаете что? Я сойду вместе с вами. Мы пересядем в другой поезд. Вам надо ехать назад”.

И я с вами, хотел я сказать. Это была внезапная ошеломительная идея. Какая разница, что он там нес! Для меня это был неожиданный выход.

“В крайнем случае объясните контролеру, что вы не смогли купить билет, не знаете русского языка, вам поверят. Покажете паспорт... Ведь у вас есть паспорт?”

“Конечно”.

“Иностранный, да? Иностранный паспорт! Этого достаточно. Уверяю вас. А если кто-нибудь начнет придираться, скажите, что вы хотите связаться с посольством. Главное, уезжайте. Уезжайте поскорее и увезите его отсюда”.

И меня. А как же моя телогрейка, весь мой вид? Наголо остриженная голова? А, подумал я, терять все равно нечего.

“Пожалуйста, — сказал старый пассажир, — успокойтесь. Видите ли, в чем дело... Я, конечно, всего лишь гость и, может быть, долго не задержусь. Все мы гости в этом мире... в конце концов я приехал из-за него, приехал, чтобы повидать вас... или тебя, я все-таки твой дед, зачем нам это “вы”?..”

“Уезжай”, — прошептал я.

6. Другая жизнь

Старик усмехнулся. “В Германию я, конечно, не вернусь, мне там делать нечего. Я человек старого поколения, я никогда им не прощу того, что было...”

“Здесь не лучше!”

“Ты не даешь мне договорить. Поверь, получить визу было не просто. Так что до некоторой степени я знаком со здешними порядками. Впрочем, ты прав, виза — это для меня нечто вроде охранной грамоты. В крайнем случае вышлют, вот и все. Но что касается мальчика...”

“Как? — сказал я. Простая мысль пришла мне в голову. — Ты говоришь, дед. Но у меня не было никакого деда. К тому времени, когда я родился, мои дедушки, оба, уже умерли”.

“Что значит — умерли? Для кого умерли, а для кого нет”.

“Но я говорю, что я никакого дедушку-немца не помню”.

“Конечно. И не можешь помнить, потому что никто тебе обо мне не рассказывал. Иметь родственников за границей не полагалось. Твой отец был болен...”

“Это я знаю”.

“Твой отец был моложе твоей матери. И он был болен. Удалось добиться, чтобы он приехал ко мне. Его привезли уже совсем плохим, и он скончался в клинике, между прочим, очень хорошей клинике. Твоя матушка приехала с тобой — тебе было меньше, чем сейчас ему, — на похороны. Вот и все. Конечно, если бы ты остался, все было бы по-другому. Но она хотела вернуться, и я ее понимаю...”

Подумав, я спросил:

“Сколько же вам лет?”

“Тебе, — поправил он. — Это интересный вопрос. Сейчас я кое-что покажу. — Он снял бархатную шапочку. — Ты знаешь, что это такое?”

“Знаю”.

“А вот это, — он вывернул ее наизнанку, — видал?”

“Ты каббалист!” — вскричал я.

“Поэтому, — сказал он наставительно, разгладил шапочку, сдул с нее какие-то пылинки и насадил обеими руками на лысину, — нет никакого смысла спрашивать, сколько мне лет”.

“Смотри, смотри!” — закричал мальчик.

Что-то со свистом пролетело за вагонным окном. Дедушка вздохнул и погладил внука по голове:

“Ты говоришь: сядем в другой поезд. Очевидно, ты думаешь, что, если я его увезу с собой назад за границу, от этого что-нибудь изменится. Ты думаешь, если он уедет, его жизнь потечет по-другому и он вырастет другим человеком, свободным или уж не знаю каким. Милый мой, это невозможно”.

“Почему?”

“Потому что невозможно. Потому что не существует никаких черновиков: то, что написано, написано раз и навсегда. И никакая магия тут не поможет. Твоя жизнь уже состоялась. Пойми простую вещь. Жить два раза никому еще не удавалось. И то, что было, того уж не изменишь!”

“А как же вот он?”

“Он — это ты. Пойми это, Файбусович! Совершенно так же, как нельзя выбрать себе другое имя, так нельзя выбрать себе другую

жизнь. У него только одна жизнь — твоя. У него нет выбора. Он обречен. Как поезд идет по рельсам и не может свернуть в сторону, так и он ничего не сможет изменить. Просто он об этом еще не знает”.

“Смотри!” — сказал ребенок, и мы оба взглянули в окно.

Я почувствовал, что время уходит, а мы ни о чем так и не договорились, и он сойдет на ближайшей станции — наденет свою шляпу, похожую на гриб, свою крылатку и выйдет, держа за руку внука, и больше я его не увижу. Он сказал, что мы живем в детстве, будучи взрослыми, или что детство навещает нас — что-то в этом роде, — но я не мог представить себе, что был когда-то этим мальчуганом, подобно тому как мальчик не подозревал о том, что он станет таким, как я. Они сойдут, и мне останется только гадать, что это было: сон, наваждение или правда.

Но разве все-таки невозможно, хотел я сказать, ведь мы все вместе, мы встретились, вот что главное, — разве невозможно вместе и уехать, бежать отсюда, раз уж случилось такое чудо? Какая мне разница, думал я, в каком времени мы живем, ньютоновском или не ньютоновском, я не философ и не в состоянии разобраться в этих хитросплетениях, я знаю только, что я в неволе и до самой смерти останусь в неволе, что за мной гонятся, так вот, нельзя ли?.. Кроме того, я думал — мысли, как трассирующие пули, неслись в голове, — я подумал, что если этот малыш в самом деле я, то почему же он обречен прожить мою жизнь, почему не наоборот, почему я не могу зажить другой жизнью? Я глядел на моего попугайчика в безумной надежде, губы мои шевелились, я что-то бормотал, о, конечно, он не имел ни малейшего представления о том, что со мной будет, если я останусь. И в этот момент в наш вагон с двух сторон вошли контролеры.

7. Финал. Чудесное пробуждение

Вошли и стали проверять билеты. А у меня нет билета.

“Знаете, — сказал я, озираясь, — вы меня извините, мне придется рвать когти...”

“Когти — что это значит?”

“Мне надо исчезнуть... Вы тут посидите, я сейчас...”

Быстро выйти из вагона, на ходу придумать объяснение, если окликнут; прикинуться глухонемым, слабоумным или что у тебя колки; быстро, не мешкая — по железному трапу в другой вагон, оттуда в следующий, запереться в сортире, на худой конец выбраться

наружу, на ступеньки, скорчиться, чтобы не увидели из окна вагонной двери, прыгнуть! Скатиться с насыпи, замереть, пока не просвистит мимо и не исчезнет вдали поезд.

Поздно. Он приближается с щипчиками.

“Ага, — говорит старый пассажир, — судя по всему, это контролер, порядок есть порядок. Где наши Fahrkarten?”

Поздно!

Он ищет в кармашке жилета, во внутреннем кармане куртки: где же они, Бог ты мой, куда я их засунул? Человек в железнодорожной форме и фуражке величественно ждет, пассажир протягивает билеты, свой и детский. Щелчок компостера. Два щелчка. Человек шествует дальше.

“Слушайте, — говорю я вполголоса на языке, который никто, кроме нас, не поймет, теперь уже совершенно уверенный, что вижу какой-то несообразный сон. — Почему же он не спросил билет у меня?”

“Какой билет?”

“Мой”.

“Но я же предъявил твой билет”.

“У меня нет билета, — сказал я. — У меня ничего нет. Ни билета, ни паспорта”.

“Не пори чепухи, вот твой билет”.

“Это не мой. Это его... Я с вашим внуком не имею ничего общего. Я... Я беглый. Я вне закона. Вот они сейчас спохватятся и вернутся”.

Он улыбнулся. “Зачем им возвращаться? Проверили, все в порядке. Я же сказал, вот твоя карта, можешь убедиться...”

“Чья, чья карта?”

Старый каббалист покачал головой.

“Милый мой. Жить два раза невозможно. Одно из двух. Он для тебя уже не существует, а ты еще не существуешь для него. Он едет с билетом. А ты...” — И он пожал плечами.

И я понял (с великим облегчением), что меня нет.

ЛИГУРИЯ

Так получилось, что мне пришлось совершить эту поездку в самое жаркое время года; запомнилось сизое и сверкающее, как сталь, море, белая от зноя дорога, белая пыль, покрывшая сиденье автомобиля, меня и моего спутника. Тот, кому знакомо лигурийское побережье, знает, что можно ехать часами вдоль каменных стен, за которыми прячутся виллы, мимо отвесных скал и пологих склонов, поросших зеленовато-серым кустарником, мимо террас с виноградниками, и никого не встретить. Шофёр нетвёрдо знал дорогу, мы достигли местности, называемой Cinque Terre (что, по-видимому, следует переводить «пять селений»), время от времени тормозили в каком-нибудь объётом летаргическим сном городке. Нигде не удавалось толком узнать, далеко ли осталось ехать. Я знал, что дорожные указатели могут увести в другую сторону, но и указателей не было. Стало ясно, что мы пронесли мимо цели. Пришлось возвращаться, наконец, показалась бухта. Подъехали к плотам. «Здесь?» — спросил шофёр, развернулся и укатил в клубах пыли.

Несколько лодок и моторный баркас с мачтой для паруса и флагом на корме, скрипя бортами, покачивались на воде. Поодаль в море кто-то в лодке удил рыбу. Мальчик подплыл и, видимо, с трудом мог понять мой ужасный итальянский язык. Я дал ему что-то, он подтянул штаны и поплёлся в деревню. Сидя в тени под навесом, я дремал, передо мной проплывали оранжевые круги, искры моря, белая от зноя дорога. Автомобиль остановился над обрывом, внизу брызги и пена прилива, водитель повернул ко мне лицо, искажённое ужасом. Водитель тряс меня за плечо с беззвучным криком. Лодочник, смуглый парень в плоской соломенной шляпе с лентой, держал ладонь у меня на плече. Я поднялся.

Где-то далеко за горизонтом лежал корсиканский берег, островок должен был находиться на середине пути. Под убаюкивающее постукиванье мотора, бесшумно рассекая изумрудную гладь, мы шли вперёд, в сверкающую даль моря, я поднял голову, провожатый

величественно сидел на корме, прочь от нас уходил серебряный пенистый след, впереди — бесконечная тускло-блестящая пустыня. Я вопросительно взглянул на кормчего, хвостики ленты порхали на его шляпе, мне показалось, что он пожал плечами. Мои часы остановились. Мой итальянский подвёл меня, матрос решил, что я еду на Корсику. Я стал мысленно перебирать всех, кто снабдил меня сведениями об островке, и вспомнил, что никто не показал мне его на карте, — означало ли это, что острова не существовало? Что же ты раньше мне не сказал, пробормотал я по-русски. В ответ рулевой медленно, важно кивнул, не меняя курса. Сонливость снова одолела меня. Разлепив веки, я увидел, что горизонт прояснился: это была полоска земли.

Обнесённый стеной, остров медленно поворачивался, пока не показались ворота, сваи причала, мотор был выключен, судёнышко развернулось и мягко стукнулось о мостки. Солнце палило с небес; не видно было никого кругом. Матрос протянул мне руку, я спрыгнул с кормы на пристань. Я рылся в портмоне. Он возразил, помогая себе знаками, что завтра вернётся за мной, тогда и расплатимся. Стук мотора затих вдали. Я подошёл к воротам. Наверху красовалось латинское изречение, и два ангела, знавшие лучшие времена, держали крест. Сбоку от входа висела мраморная табличка.

Стоя перед воротами, я разглядывал вывеску у ворот, выбрал самое длинное слово и составил из его букв десять коротких слов. По-прежнему никого не было. В отчаянии я озирался, наконец, вдалеке показались двое, человек и собака. Огромный чёрный пёс едва удостоил меня взглядом, моргая, сел на задние лапы и устался на море. Мужик в войлочной шляпе, в рубище, с вытекшим глазом, похожий на пастуха или нищего, спросил, есть ли у меня permesso. Последовал разговор (подкрепляемый жестами) на смеси итальянского с вульгарной латынью, — вероятно, так говорили в этих местах тысячу лет назад.

«Какое разрешение?»

«Обыкновенное»

«Нет, конечно», — сказал я.

«А ты кто такой будешь?»

Я попытался объяснить.

«Закрыто», — сказал одноглазый.

«Как это, закрыто?»

«А вот так. Никого не пускаем».

Возможно, подразумевался весь остров, а не только то, что находилось за воротами.

«Ну, хорошо, — сказал я и вытащил кошелёк, — надеюсь, мы сговоримся...»

«Чего ты мне суёшь».

Фраза на диалекте, которая за этим последовала, скорее всего означала: вали откуда прибыл.

Некоторое время мы стояли друг против друга, признаюсь, у меня было сильное желание съездить ему по небритой физиономии. Он оглядел меня своим единственным оком и произнёс:

«Сиятельство отдыхает».

По-видимому, всё ещё продолжалась съезда; день казался бесконечным.

Зверь нехотя поднялся и побрёл по каменистой тропе, мы следом. Обогнули стену, там оказался дом, каменный, по виду очень старый; низкая дверь без крыльца, тёмные оконца под буро-рыжей черепичной крышей и солнечными часами. Провожатый исчез. В прохладном сумраке я сидел за огромным дубовым столом, из-под которого выглядывала желтоглазая морда. Прошло сколько-то времени, наверху заскрипела дверь. Её сиятельство, осанистая, полнотелая старуха в чёрном шёлковом одеянии до лодыжек, в крошечных домашних туфлях, держась за перила, другой рукой придерживая платье, сошла по лестнице. Я встал.

Я представлял себе её иначе. Я вообще не имел представления, кого я здесь встречу. Встречу ли кого-нибудь? Круглое моложавое лицо, какое бывает у очень старых и дородных женщин. Прямые белые волосы, усики над углами рта, двойной подбородок. Никаких украшений, кроме цепочки с медальоном на груди.

Пёс выбрался из-под стола, лизнул руку старой даме.

«Вот что значит хорошее воспитание. — Должно быть, мне следовало поцеловать ей руку. — Он старше меня, — добавила она. — Если не ошибаюсь, ему за восемьдесят. Не правда ли, Чёрберо?..»

Хозяйка хлопнула в ладоши. Появился субъект в войлочной шляпе, мой знакомец.

«Я предполагаю, что наш гость проголодался», — сказала хозяйка по-французски.

Она коротко, вполголоса отдавала приказания одноглазому.

«Вы должны извинить его, за столько лет я так и не смогла научить его быть вежливым...»

«Мне говорили, что пропуск не нужен».

«Пропуск?»

Я объяснил, что от меня потребовали предъявить пропуск.

«Ах, эти формальности... Ничего не нужно. Вам, во всяком случае».

Должен ли я что-то уплатить, спросил я.

«Ах, оставьте. Я рада вашему прибытию».

Разве она меня знает?

Она развела руками: «Кто же вас не знает».

Я понял, что мне не следовало приезжать. Из вежливости я поинтересовался, часто ли... э?..

«Часто ли приезжают к нам? Да, туристы иногда; всё-таки есть на что поглядеть... Что касается посетителей вроде вас, то, как вам сказать. Могло быть и больше».

Она уставилась на меня, у неё были мертвенно-чёрные глаза без зрачков.

Мне стало как-то не по себе, я возразил:

«Прошу прощения, *princesse*¹, я тоже в некотором роде турист».

Владелица острова подняла брови.

«В самом деле? Мне кажется, вы ошибаетесь. Что же вас привело сюда?»

«Вы только что сами сказали. Поглядеть».

«Так, так. Поглядеть, — сказала она, кивая. — Между прочим, здесь много ваших коллег. Я хочу сказать — которым, как и вам, только здесь и место...»

В эту минуту из коридора выступило шествие.

Впереди шагал циклоп-мажордом, теперь он был в белом, в белых перчатках, на голове накрахмаленный колпак, из чего следовало, что он исполнял одновременно обязанности шеф-повара. Сразу же скажу, что он исполнял их отменно. На вытянутых руках шеф нёс на подносе овальное блюдо под серебряной крышкой. Следом за ним шёл худенький, бледный, очень красивый мальчик в опрятном чёрном костюмчике, в коротких штанишках и чёрных чулках, нёс второй поднос. За мальчиком двигался некто высокого роста, тощий, без всякого выражения на лице; я говорю, на лице, но у него и лица не было: так, что-то неясное. Этот персонаж катил перед собой столик-тележку.

¹ княгиня (фр.).

Компания расставляла бокалы, тарелки с вензелками, соусники, раскладывала приборы и салфетки, в центре был водружён огромный, как баобаб, канделябр. С некоторым ошеломлением взирал я на пиршественный стол; хозяйка гостеприимно обвела трапезу пухлой рукой в кольцах.

«Надеюсь, вы отдадите должное... Наша кухня унаследовала секреты этрусков».

Спрашивается, какая может быть особенная кухня на островке величиной с воробьиный нос. И причём тут этруски? Я поблагодарил, для начала выпили по рюмке чего-то зелёного и жгучего. Была предложена лёгкая закуска: пикантный пирог, омлет с трюфелями и торт из овощей. После чего домоправитель разлил по бокалам вино цвета грозового заката. Поднял серебряную крышку.

«*Coniglio arrasto alla ligure!*» Это был жареный кролик полигурийски. Мы подняли бокалы.

«Поздравляю с прибытием».

В своём углу доберман по имени Черберо, которому повязали вокруг шеи белый фартук, с увлечением хлебал что-то из глиняной миски.

«Ну как?» — несколько свысока осведомилась хозяйка.

Я объявил, что давно уже не ел такого вкусного *coniglio* полигурийски.

«А вы уверены, что вам вообще когда-нибудь приходилось пробовать это блюдо?»

Мальчик бегал вокруг стола, убирал тарелки, ставил чистые. Явилось вино цвета северного сияния.

«Вы, конечно, думали, что никто здесь не интересуется литературой. С одной стороны, вы правы...»

«*Abbachio alla romana!*» (Римский молочный барашек под соусом).

Человек с лицом без лица, занявший пост перед аркой, зычным голосом объявлял перемены, обращаясь скорее к кому-то в коридоре, чем к сидящим за столом.

«Сильвио, не так громко... — попросила госпожа. — Да, вы правы. Для быдла, которое именует себя цивилизованным обществом, больше не существует ни Вергилия, ни Данте, ни Шекспира. Для него и вы не существуете... Ничего не поделаешь. Нужно выбирать: или демократия — или культура».

«*Cima alla genovese!*» (Фаршированный ягнёнок по-генуэзски).

Вспомнилось, что я с утра ничего не ел. Утро казалось очень далёким. Проглотив первый кусок, я счёл уместным заявить, что давно не отвеживал такого чудного молочного барашка и такого восхитительного фаршированного ягнёнка.

Старуха вытерла увядший рот салфеткой.

«Не могу утверждать, что чтение ваших произведений доставило мне безусловное удовольствие. Но, — она подняла палец, — возбудило интерес. А это уже кое-что значит, не так ли? Давайте поговорим о вас».

«Обо мне?»

«Боже мой, о ком же ещё. Мне известна ваша биография... в общих чертах».

«*Saltimbocca alla romana!*» — вскричал сухопарый герольд. (Рулёт по-римски с ветчиной и шалфеем).

«О! — сказал я. — Обожаю рулёт».

«Подытожим в двух словах... Мне известно, что вам не было пятнадцати лет, когда вы сбежали от домашних. Вас нашли в южном городе, в гавани, где вы пытались уговорить какого-то капитана дальнего плавания помочь вам бежать за границу. Он оказался порядочным человеком... Верно?»

С полным ртом я кивнул, не имея возможности что-либо сказать.

«Через год вы снова ушли от родителей. На этот раз окончательно... Путешествовали с геолого-разведочными партиями — род легального бродяжничества в вашей стране. Далее, я достаточно осведомлена о вашей неопишуемой сексуальной жизни. За то, что вы были неразборчивы, вам, простите за откровенность, приходилось расплачиваться, и не раз. Сколько у вас было женщин?»

«Я не считал».

«Напрасно. Ваш соотечественник Пушкин составил свой донжуанский список. Там были знатные дамы и крестьянские девушки».

Я пробормотал:

«Друзья! не всё ль одно и то же: забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой?»

«Что это?»

«Пушкин».

«И о чём же он говорит?»

«Он говорит, что когда дело доходит до дела, все женщины одинаковы».

«Ваш великий поэт — циник. A votre santé...»¹

«*Arrosto di vitello al latte!*» (Обжаренная телятина в молоке).

Внесли нечто источавшее упоительный аромат. Разлили коралловое вино. В своём углу Черберо аппетитно хрустел чем-то твёрдым.

«Так как вы писали стихи, не будучи официальным поэтом, следовательно, не имея соответствующего разрешения, вас сослали, может быть, вы напомните мне — куда. Полагаю, что Вам следовало бы поклониться тирану в ножки, ведь благодаря ему вы сделали знаменитостью... Кончилось тем, что вас заставили покинуть родину. Вы были счастливы. Вы были безутешны. Вы давали интервью направо и налево. Помнится, на вопрос, что такое отечество, вы ответили: место, где вы не будете похоронены. Надо признать — как в воду глядели... А когда кто-то пожелал узнать, как вы чувствуете себя за границей, вы сказали: чужбина не стала родиной, зато родина стала чужбиной. Позвольте вас спросить: где вы вычитали это изречение?»

С орудиями еды в обеих руках, я оглядывал стол, словно боец, отыскивая достойного противника.

«Оно принадлежит одному немцу-изгнаннику. Кто-то перевёл вам эти слова, вы ведь не знаете немецкого языка. Вы не знаете толком ни одного языка. Неудивительно: вы, милейший, никогда ничему не учились. Вы полагаете, что говорите со мной по-французски, но я единственный человек, который способен вынести ваше ужасное произношение... Само собой, вы не в состоянии были прочесть и эту латынь. Ту самую, над воротами... *Ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestitiva morte.* Знаете ли вы, что она означает? Из всех благ, какими природа одарила человека, нет лучшего, чем своевременная кончина».

«Вот как? А я думал...»

«Плиний Старший, — сказала она. — Древние были не глупее нас. Не имеет значения, что вы думали».

Я крикнул от удовольствия, телятина была роскошной — перезрелая дева, наконец-то дождавшаяся брачной ночи.

¹ ваше здоровье (фр.).

«Спросите себя: кто вы такой? У вас не только нет родины, в сущности, у вас не было и родителей. Вы облысели, ваше лицо приобрело пергаментную гладкость, подозреваю, что и с вашей легендарной мужской мощью давно уже не всё в порядке... Жизнь-то прожита, — чего ждать? Скажу больше: жизнь изжита. Лучшее из написанного вами позади. Вы перешли на прозу — по общему мнению, она не выдерживает сравнения с вашей поэзией. Вы презираете критиков — теперь они отвечают вам тем же. Бульварная пресса уже не интересуется вашими похождениями, вас перестали осаждают корреспонденты. Вы и сами не перечитываете свои сочинения, потому что боитесь собственного суда. Этот суд беспощаден. Встаёт вопрос о долговечности ваших писаний. Спросите самого себя — разве всего этого недостаточно?»

Выслушав эту галиматью, я расхохотался.

«Недостаточно для чего? Для того, чтобы приехать к тебе в гости?»

Она не обратила внимания на моё «ты».

«Для того, чтобы просить у меня убежища», — сказала она строго.

«У меня впечатление...»

«Сначала проглотите еду».

«У меня впечатление, что ты меня ждала».

«Pourquoi pas?¹ Что ещё остаётся делать человеку в вашем положении?»

«Много ты понимаешь, — пробормотал я, — тебе сто лет...»

«Вы забыли, что разговариваете с дамой».

«Ну, пусть девяносто... Что мне ещё остаётся, ха-ха. Это у тебя ничего не осталось! Это ты забыла, — сказал я, потрясая вилкой, — да, забыла, что такое жизнь. Сидишь здесь со своим кобелём... Жизнь — это нечто необъятное, невероятное, неопишемое. Моя жизнь!»

Даже удивительно: с чего я так разошёлся?

«*Crostini di cavolo nero! Sauté di vongole!*» (Поджаренные хлебцы. Печёные венерины ракушки под лимонным соусом).

«О да. Ещё бы. Известность, слава. Кажется, вы даже отхватили — простите за вульгарное выражение и простите мою забывчивость: как называется ваша премия? Впрочем, где она. Вы всё раздали жадным друзьям и случайным собутыльникам».

¹ возможно (фр.).

«*Tortelli di patate!*»

«Пельмени с картошкой!» — вскричал я. И вновь почувствовал зверский аппетит.

«Но, Боже мой, разве так уж трудно понять, какова цена всему этому...»

«*Cinghiale in salmi!*» (Рагу из дикого кабанчика).

«Нет, это просто удивительно. Я как будто вас уговариваю. А между тем мы не дошли ещё до самого главного...»

«Должен сказать, что я давно уже...»

«Не пробовали такого рагу из кабанчика?» — съязвила она.

«Вот именно, *ma princesse*».

«Можете звать меня: *ma chère*».

«Вот именно, дорогая!»

Шеф, с которого ручьями лился пот, сорвал с головы колпак, утирал лицо и затылок. Мальчик стоял, тяжело дыша от беготни. Человек без лица покачивался, как под ветром, хрипло возглашал названия яств. Тьма упала, как это бывает на юге, внезапно. На столе пылал канделябр. Внесли фазана. Внесли утку под пеласгийским соусом и фаршированные сардины из Сицилии. Подъехали на тележке пироги, торты и кексы. Огни свечей двоились. Полное лицо хозяйки всходило и растекалось, как опара, — несомненное следствие съеденного и выпитого мною. Нашему вниманию было предложено вино цвета вечернего моря. Это о ней, сказала старая синьора, о морской глади, залитой заходящим солнцем, как скатерть вином, говорит Гомер: *οἶνον*, винноликая.

Пёс в замаранном нагруднике, протянув лапы, густо храпел на полу возле кастрюли с недоеденным супом из бычьих яиц и хвостов.

Моя хлебосольная хозяйка деликатно осведомилась, не испытываю ли я потребности освободить желудок. Знаем, как же, проворчал я. Метод, к которому прибегали римляне. Пощекотать пёрышком нёбо, и поехало. А после продолжать пир. Но жалко, чёрт возьми.

Она оставила бокал. Я почувствовал на себе её непроницаемо-чёрный, кофейный, я бы сказал, взгляд.

«Знаю, — сказала она, — о чём ты думаешь. (Наконец, и она перешла на ты). Ты думаешь: будь она на шестьдесят лет моложе, уж я бы её не пропустил... У тебя грязное воображение. Признайся, я тебе нравлюсь!»

Я идиотски ослабился.

«Что же ты медлишь?»

Я сделал вид, что хочу подняться, это в самом деле было не просто.

«Сиди... — она презрительно махнула рукой. — Не о том речь».

Явились сыры, фрукты и кувшины с мальвазией.

«Ты сказала, мы не дошли до главного... Что же главное?»

«Главное... Главное — вопрос о смысле. Высший смысл — это бессмыслица. Высший ответ... Ты разглагольствовал о том, что пожертвовал родиной ради литературы... Тебе не приходила в голову простая мысль, для чего ты пишешь? Для кого... Посмотри вокруг».

Я обернулся. Под сводами было темно.

«Цивилизация переродилась. Плебс объелся хлебом и зрелищами. Литература ему не нужна».

Свечи уменьшились на две трети, воск капал на скатерть. Мы лениво лакомились миндальным тортом, фрустингольским пирогом с финиками, миланской шарлоткой, занялись засахаренными потрохами сабинского единорога и запивали их граппой, бенедиктином и густым смолистым вином цвета звёздной ночи.

«Есть много всяких теорий, и медицинских, и каких угодно. Всё это не основание. Всё это только повод. Поводы всегда найдутся. Причина, подлинная, глубокая причина, всегда одна. Открытие, которое делают рано или поздно, которое, без сомнения, сделал и ты,ardon: вы... Даже если вы не отдавали себе в этом отчёта... Ну, ну, не делайте вид, будто вы не понимаете, о чём речь».

«Какое же открытие?» — спросил я, осушил бокал и, пожалуй, чересчур твёрдо поставил его на стол. Из мрака выскочил мальчик и вновь наполнил чашу.

«Будто вы не знаете».

Я пожал плечами.

«Будто вы не догадываетесь. Великое чувство пустоты. Вот что это такое».

И, отколупнув крышечку медальона, она показала мне. Я взглянул — там что-то лежало. Там ничего не было.

«И вот...» — продолжала хозяйка, устремив, словно в трансе, чёрно-слепой взор поверх стола, поверх безбрежной жизни, гнусной действительности.

«И вот человек начинает вести себя по-особому. Чувствовать себя по-особому. Всё, что он видит вокруг, становится знаком и при-

глашением. Он часами стоит на Бруклинском мосту. Взбирается на смотровую площадку Эйфелевой башни, чтобы, склонившись над барьером, вперяться в пропасть, на дне которой бродят крошечные люди и стоят игрушечные автомобили... Он коллекционирует снотворные таблетки. Садится в машину и несётся к месту, где достаточно слегка повернуть руль, и врежешься в скалу. Пробует прочность верёвки, привязав её к крюку, на котором висит люстра, в номере деревенской гостиницы, и редактирует текст, который должен остаться на столе. Он необыкновенно спокоен, как никогда не был спокоен и умиротворён в своей безалаберной жизни. Ибо он знает: его ждёт освобождение...»

У меня не было ни малейшей охоты поддерживать эту тему. Время было позднее; слуги деликатно удалились; на всякий случай я осведомился о ночлеге.

«Разумеется, что за вопрос. Чувствуйте себя как дома. В сущности, у вас нет никакого дома, ведь правда?»

«Завтра за мной приедут».

«Если приедут».

Я пропустил эти слова мимо ушей.

Наступило молчание. Старая дама вздохнула, хлопнула в ладоши. Одноглазый домоправитель предстал, явившись ниоткуда.

Она показала глазами в угол, слуга растолкал пса. Чёрберо поднялся, шатаясь, приковылял к хозяйке.

«Ключ», — сказала она кратко.

Зверь зацокал когтями по каменному полу и скрылся под тёмной аркой коридора. Немного погодя он показался наверху, в нерешительности стоял на площадке.

«Ничего, ничего, — проговорила она. — Coraggio...¹ тебе полезно».

Чёрберо сполз кое-как с лестницы и остановился передо мной, держа в зубах длинный заржавленный ключ.

Княгиня сказала:

«Вы, кажется, хотели, э... осмотреть... Я встаю поздно. Выберите время сами».

Ключ хлябал в замочной скважине. Со скрежетом разошлись створы ворот. Я вступил на заповедную территорию, мучительно зевая от недосыпа. Голова трещала, у меня было странное чувство, что

¹ смелее (ит.).

я — не совсем я, и даже вовсе не я, но кто-то меня изображающий, — очевидное следствие перепоя. Было бы недурно опохмелиться, да уж где там — я рассчитывал быстро покончить с осмотром и отвалить, не прощаясь. Налево от входа стояло приземистое каменное строение без окон, снаружи к стене прислонены мётлы, лопаты, перевернутая тачка, тут же было устроено что-то вроде очага из обгорелых кирпичей с остатками мусора.

Было раннее утро. Лохматый огненный шар сверкал между кипарисами. Слышался неумолчный плеск моря. Со вздохом моё изображение двинулось по аллее, более или менее расчищенной, усыпанной толчёным кирпичом. Видно было, однако, что место мало посещается; серые плоские камни потерялись в густой, жёсткой и высохшей от зноя траве, кое-где торчали убогие памятники, дорожки к ним заросли. Старая карга назвала меня неучем. Но кое-что — кое-кого — я всё-таки знаю. Тот, кто отважился ступить в гущу чертополоха, прорваться сквозь заросли остролиста и растения, похожего на крапиву, мог обнаружить немало знаменитостей.

Например, посчастливилось сразу же натолкнуться на поэтессу, которую я больше чту, чем люблю: я говорю о несчастной, удавившейся Марине. *Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз...* Паломник выбрался, весь облепленный колючками; аллея, сужаясь и постепенно теряя цивилизованный вид, упёрлась в стену, одетую диким плющом. Мне захотелось узнать, что там снаружи, я подтащил то, что подвернулось под руку, вскарабкался и увидел зелёную морскую тину у самого подножья стены. Остров был в самом деле крохотный, бесполезно искать на карте. Когда-нибудь море поглотит его.

Я пробирался вдоль стены, сперва попадались одни женщины. Наткнулся на полустёртый профиль, это была Вирджиния Вульф. Говорят, она набила карманы пальто камнями перед тем, как броситься в поток.

Со смутным, хаотическим чувством, словно меня коснулся разор её души, я уставился на причудливый, похожий на окаменелый гриб памятник Ингеборг Бахман. Человек, с которым она провела последние годы, знаменитый швейцарец, довольно противный тип, — я сидел с ним рядом на каком-то банкете, — уверял меня, что это был несчастный случай, она заснула с сигаретой и сгорела во сне. Но теперь-то я знал... Джек Лондон будто бы отравился полусырым мясом. Хемингуэй чистил охотничье ружьё... Все оказались здесь.

Азарт, похожий на азарт кладоискателя. Томительное любопытство... Отыскался замшелый валун с именем Сергея Есенина. Найти другого соотечественника, того, кто оставил на столе стихи о любовной лодке, мне не удалось. Между тем солнце поднялось уже довольно высоко; по привычке я взглянул на часы. Они стояли.

Клейст был виден издалека. Он был офицером и стрелял без промаха. Я предполагал, что найду рядом ту, которую он избавил от жизни, прежде чем прицелиться в собственное сердце, её не оказалось. Я постоял возле Пауля Целана, выловленного из Сены. Стела уже покосилась. Пора было отправляться в путь; мне казалось, я слышу стук приближающегося баркаса. Я был без сил и снова видел перед собой белую дорогу, сверкающую гладь Генуэзского залива, снова высаживаюсь на острове самоубийц. Шатаясь, путешественник приблизился к выходу, но, не дойдя до ворот, опустился на траву перед нагретым, грубо стёсаным камнем и прочёл на нём своё имя.

НОКТЮРН

...о чём я уже рассказывал. Нет, это не отчёт о том, что «произошло», ничего необычного не происходило и не предвиделось. Завидую тем, кому неведома музыка бдения, нескончаемый шелест дождя в мозгу. В молодости (я страдаю бессонницей много лет) я вставал посреди ночи, брал в руки книгу и утром ничего не помнил из прочитанного. Теперь мне мешает читать беспокойство. Моё окно выходит в глубокий, как пропасть, двор, сюда не заглядывают ни луна, ни солнце. Больше не было сил оставаться наедине с собой, я вышел; никакого намерения странствовать по дорогам и дебрям этого мира у меня не было, разве что прогуляться по ближним улицам. Было (я точно помню) без пяти минут двенадцать.

Накануне мне стукнуло... но лучше не говорить о том, сколько мне лет. Нынешний год должен стать, по моим вычислениям, последним годом моей жизни. Как всякий, кто владеет точным знанием, я суеверен. Как все суеверные люди, я позитивист. Приметы суть не что иное, как симптомы ещё не распознанного недуга. Предчувствия обоснованы, как боли в суставах перед дождём. Встречи не более случайны, чем движение трамвая, который выбился из расписания. Кстати, маршрут мне известен. Я проехал три остановки и сошёл перед поворотом на площадь, где стоит памятник. Да, тот самый. По крайней мере, здесь, на Левом берегу, я могу сказать о каждом перекрёстке, каждом кафе: то самое.

Вечер был мягкий, обволакивающий, это предвещало непогоду. Я не мог разглядеть стрелки на ярко освещённом диске позади монумента, но не всё ли равно? Могло пройти, пока я клевал носом, несколько минут, могло пролететь полчаса. Вдруг оказалось, что кто-то сидит на соседней скамейке. Она решила, что я ищу повода заговорить с ней, и пересела поближе. Стоят, сказала она, и так как я не понимал, пояснила: часы стоят. Ну и что, спросил я. Тут я заметил, что она немолода, серые пряди выбились из-под платка, никогда не видел, чтобы у цыганок были седые волосы. Мы коллеги, ска-

зал я (или подумал), ты ведь тоже, наверное, предсказываешь будущее. Недурно было бы обменяться опытом. Читать-то ты хоть умеешь? Она встала, поправляя платок. Дай-ка мне твою руку, сказала она, открою тебе твою судьбу. Я спросил: что такое судьба? Она повторила: дай руку. Судьба — это то, что тебе на роду написано. Хочешь, прочту твои мысли.

Мои мысли, хм. Мои мысли остались в комнате! Я обманул их, выскочил и захлопнул дверь. Представляешь, продолжал я, можно лежать час, и два, и три, так что в конце концов уже не просто думаешь о чём-то, а следишь за своими мыслями, видишь, как они разрастаются и вянут, целое поле полужасохших мыслей!

«Красиво умеешь говорить, — возразила она, — да ведь мы люди простые, тонкостей ваших не понимаем. Только вот скажу тебе, никуда ты от своей кручины не денешься, хоть беги на край света, дай-ка взгляну одним глазком. Тебе нужна женщина». Зачем, спросил я. Она развела руками. Зачем нужна человеку женщина? Значит, ты считаешь, сказал я, отнимая руку, что это и есть решение всех вопросов. Сводня, подумал я. Она усмехнулась: «А ведь я знаю, о чём ты подумал; хочешь, скажу?»

«Шла бы ты, тётка, своей дорогой, не нужна ты мне, и никто мне не нужен», — сказал я (или хотел сказать), заложил ногу за ногу, сдвинул шляпу на нос и расселся поудобнее на скамье. Немного погодя я спросил, который час. Она всё ещё была здесь. «Говорю тебе, остановились. В такое время все часы стоят. Подари денежку». Я дал ей что-то.

Мы прошли два квартала и слышали скрежет аккордеона. Человек стоял в глубине двора, склонив голову на плечо, механическими движениями раздвигал половинки своего инструмента. Музыкант исполнял чардаш Витторио Монти, все аккордеонисты на всех задворках мира исполняют чардаш Монти. Я приблизился, сунул ему монету и сказал: только больше не играй. Месяе не любит музыки, сказал он. Старуха потащила меня к низкому входу, я сошёл следом за ней по ступенькам, это был полуподвал, раскалённая неоновая вывеска в конце коридора освещала путь.

В тесном фойе (мы вошли через задний вход) сидела кассирша. Это ещё кто, спросила она, все билеты проданы. Я повернулся, чтобы выйти. Attendez donc, куда же вы, сказала кассирша. Я возразил, что мне надо возвращаться, и с отвращением представил себе мою полутёмную комнату, остатки ужина на столе, книги, грифельную

доску — чертёж планет и силовых линий. Я зарабатываю на жизнь и выплаты моей бывшей жене преподаванием в школе для умственно отсталых подростков, всё остальное время веду войну с самим собой. Кроме того, занимаюсь разысканиями в области разработанной мною науки, о чём я уже рассказывал. Я пересёк двор, накрапывал дождь, аккордеонист исчез. Старуха, догнав, схватила меня за руку, и мы снова спустились в подвал. Кассиршу сменил некто в дымчатых очках, в костюме в полоску и криво повязанном галстуке. Он стал шарить руками по столику, нащупал тарелку с мелочью. Что-то в нём показалось мне подозрительным. Ну-каними очки, сказал я. Он не пошевелился, я повторил свой приказ. Человек пожал плечами, нехотя снял очки, он не был слепцом, просто я увидел вместо глаз у него чёрные провалы. Я положил сколько-то на тарелку, билета мне не дали, мы вошли в зал с низким потолком, было накурено; стоя в проходе у стены, я искал глазами свободное местечко. Старуха пререкалась с кем-то в первом ряду, поманила меня, больше я её не видел.

Я сидел перед сценой. Лампы вдоль стен померкли, раздались хлопки, вышел господин в облезлом фраке и цилиндре и сказал то, что положено говорить. Зазвучала музыка в местечковом стиле. Занавес раздвинулся. Это была история невинной Сусанны. За длинным столом сидели старцы. Горели два семисвечника, актёры были в бородах, подвешенных на верёвочках, в балахонах и ермолках. Посредине на стуле с высокой спинкой восседал главный за толстой книгой, подняв палец, потом всё поехало вбок, качаясь, выдвинулись справа и слева кулисы с кустами, пальмами и бассейном. Я хотел встать, но чья-то крепкая рука сзади удержала меня. С двух сторон, крадучись, вышли два старца, один из них тот, который сидел перед книгой, видимо, он не решался с ней расстаться и держал её под мышкой. У другого на груди висел бинокль. Увидев друг друга, они сделали вид, что забрели сюда случайно, но поняли, что замышляют одно и то же, подмигивали друг другу, прищёлкивали языками, рисовали руками в воздухе женские округлости и целовали кончики пальцев. Продолжая показывать друг другу воображаемые бёдра и груди, они удалились. Музыка заиграла «Сказки Венского леса». Вышла, приплясывая, Сусанна. Вопреки ожиданиям, она была совсем юной. Видимо, начинающая.

Она должна была испугаться, приподняла край платья и попробовала пальчиком ноги нарисованную воду. В кустах блеснули

стёкла бинокля. Старики высунули бороды и облизывались, глядя на её голую ногу. Публика застыла в ожидании, Сусанна не решалась раздеться. Приближался гвоздь спектакля. Наконец, она зашла за фанерный куст и что-то там делала. Оттуда полетело её платье. Старцы воспользовались передышкой, выбежали на авансцену и, сцепившись руками, высоко подбрасывая тощие ноги, под общий смех отчебучили одесский танец «семь-сорок». При этом они так увлеклись, что не заметили, что Сусанна, вытянув шею, сама подглядывает за ними из-за куста.

Это разочаровало зрителей, было ясно, что она не выйдет из-за кулис, пока проклятые старцы топчутся на просцениуме

Смех в зале умолк, танцоры убрались прочь под жидкие хлопки, — вокруг меня передние ряды зрителей вытягивали шеи, встали, сзади на них зашикали, затем встал второй ряд и третий, все старались заглянуть за кулисы, откуда голая рука Сусанны помахивала крошечным детским лифчиком. Зрители плюхнулись на сиденья, она вышла и стала посреди сцены. Сверху на неё падал луч софита. Сцена погрузилась в сумрак. Сусанна была в рубашке. Она испуганно глядела на публику. Наступила мёртвая тишина, затем, как в цирке, затрещала барабанная дробь. Сусанна, скрестив руки, взялась за края рубашки. Несколько зрителей, не выдержав, вскочили с мест и подбежали к краю сцены, капельдинеры пытались оттащить их. Сусанна подняла рубашку, но там оказалась ещё какая-то одежда. Тяжкий вздох пробежал по залу. Снова задребезжал барабан, Сусанна начала медленно стягивать с себя то, что на ней оставалось, показались трусики, и вдруг что-то треснуло, погасло, в полутьме из лопнувшего софита на Сусанну посыпались искры и стёкла. Старцы выбежали из-за кулис, на ходу срывая бороды, зрители повскакали с мест, началась паника.

Я топтался во дворе, опять слышались звуки аккордеона, музыкант укрылся под навесом, и на минуту мне показалось, что старуха права, вся загадка и весь смысл этой ночи состояли в том, чтобы пройти по клавишам женского тела. Возвращаться домой не было ни малейшей охоты. Несколько времени спустя я вошёл в помещение театра, всё было тихо, коридор пуст, публика покинула зал через главный вход. Поднявшись на сцену (осколки стекла захрустели под подошвами), я прошёл за кулисы, постучался в фанерную дверь, за гримировальным столиком перед большим круглым зеркалом сидела Сусанна в рубашке, с наклейкой на лбу и

смотрела на меня из зеркала. Вот, сказал я, нашёл за кулисами, и, приблизившись, протянул ей лифчик. Она улыбнулась, сбросила с плеч рубашку, быстро и ловко, тонкими пальчиками застегнула крючки между лопатками. Мы вышли в пустынный переулок, впереди виднелись огни бульвара, я спросил, не взять ли такси. Зачем, сказала она, я живу тут рядом.

Мы брели мимо ярко освещённых витрин, словно мимо нарядного океанского теплохода, плескалась вода, позади нас, как погасший маяк, темнела древняя башня, я же говорил, что каждый угол мне здесь знаком: это был прославленный перекрёсток, некогда воспетый маленькой певичкой в чёрном свитере, бледной, как лилия, с огромными чёрными глазами. Знаменитое кафе выглядело покинутым, запоздалая компания пристроилась у окна, два раскрашенных китайца в длинных одеяниях обозревали пустой зал, мы уселись за столик в углу. Больно? — спросил я. Она дёрнула плечиком и, глядя мне в глаза, вернее, сквозь меня, как она смотрела в театре сквозь публику, медленно отклеила марлю, — удивительным образом на лбу ничего не оказалось, не было даже ссадины. Вот видишь, сказал я, весь фокус в том, чтобы одетой выглядеть как раздетая. А раздеваясь, не раздеться до конца. Она возразила: но разве нагая женщина не красива? Может быть, сказал я, но тайна исчезает. Значит, ты считаешь... — начала она, в эту минуту принесли кофе и рюмки с коньяком. Она сказала, провожая глазами официанта: я тебя видела, ты сидел впереди. Тебе тоже захотелось поглазеть на меня? Я хотел сказать, что случайно оказался в театре, но не жалею об этом; она не слушала. Она мечтала стать настоящей актрисой. «Как ты думаешь, вышла бы из меня актриса?» Я пожал плечами, тогда она спросила: «Ну, и как я тебе показалась?»

Я опять ограничился неопределённым жестом, Сусанна поднесла рюмку ко рту, мне оставалось последовать её примеру. Спасибо за то, что ты говоришь мне правду, сказала она, эта ведьма хочет меня прогнать. Прогнать, спросил я, за что? За то, что я слишком худая. Старцы, возразил я смеясь, были другого мнения. Какие старцы? А, сказала она, да они и не актёры вовсе; так, подрабатывают где придётся.

Она сказала:

«Зрителям подавай, чтобы и тут было, и тут, — она показывала на себя, — а у меня? Где я это всё возьму?»

«Это, наверное, оттого, — заметил я, — что ты плохо питаешься, но ведь, как тебе сказать, маленькие груди, узкие бёдра, вообще хабитус подростка. Это тоже ценится. Это даже модно».

«Ты, я вижу, знаешь толк в этих делах!»

«Твоя хозяйка живёт устарелыми представлениями. Это правда, что она цыганка?»

«Откуда я знаю. — Она горько кивала головой. — Такая уж я родилась. От своей судьбы не уйдёшь, вот что я тебе скажу».

«Ты так думаешь?»

«А чего тут думать?»

«Это интересно». Я оживился, проблема предопределения интересовала меня, так сказать, ex officio, я приблизил к Сусанне своё лицо.

«Великий Кардано вычислил день своей смерти, — прошептал я. — Когда этот день наступил, он почувствовал, что не умрёт, и принял яд, чтобы не посрамить науку».

«Кто это такой?»

«Великий математик. Он изобрёл карданный вал».

«А что это такое?»

«Он жил четыреста лет назад».

«А, — сказала она. — Ну и что?»

«Как что? Разве ты не понимаешь? Решение принять яд и было его судьбой. Случайностей не существует».

Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Помолчав, она спросила:

«У тебя есть жена?»

Я помотал головой.

«Друзья?»

«Из тех, кого я знал, одни умерли, другие — ещё хуже».

«Вот как!»

«Это не мои слова. Это сказал Чоран».

«А кто это?»

«Был такой, — сказал я. — Кстати, известно ли тебе, что хозяйка вашего театра...»

«Да какая она хозяйка».

«Кто же она?»

Ответа я не получил и осторожно спросил: известно ли ей, что на самом деле старухи давно нет в живых? По моим предположениям, добавил я.

Я думал, она удивится, спросит, откуда я это взял. Она проговорила:

«Все они такие. Вместо того, чтобы лежать в гробу, людям кровь портят...»

«Не огорчайся. Ты ещё молодая, у тебя всё впереди».

Я заказал ещё по бокалу коньяка. В кафе, кроме нас, не осталось ни одного посетителя, и за окнами не видно было прохожих. На стенах погасли светильники, здесь сэкономили электричество, только на нашем столике горела свеча.

«Она затащила меня в ваш театр, я остался... а знаешь, почему?»

Я оглянулся, боясь, что гарсон меня услышит, но никого вокруг не было.

«Я боюсь, — зашептал я. — Боюсь возвращаться к себе... Вот сижу рядом с тобой и думаю: не может же эта ночь продолжаться бесконечно. Когда-нибудь придётся идти домой... Я тоже занимаюсь вычислениями, — сказал я, — и достаточно сложными, только, в отличие от Кардано, вообще в отличие от астрологических предсказаний, всей этой псевдонаучной чепухи, мои прогнозы надёжны. Короче говоря... — я колебался, сказать или нет, — я умру в этом году».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. На то я и специалист».

«Это она тебе нагадала?»

«Причём тут она. И вообще я гаданиям не верю».

«А я верю».

«Я человек науки. Наука — враг суеверий. Я сделал важное открытие. Мои результаты будут опубликованы после моей смерти. Это может произойти каждый день. Поэтому я и.. Слушай, — я вдруг спохватился, — ведь ты, наверное, не ужинала!»

Я вскочил и отправился на кухню — авось у них что-нибудь осталось.

«Понятно, почему ты такая тощая», — сказал я, глядя, как она уплетает еду. Оказалось, что она и не обедала. Кроме того, ей нечем платить за квартиру, и она тоже боится идти домой. За сегодняшний вечер ей ничего не заплатят.

«Но ты же не виновата, что случилось короткое замыкание!»

«Публика потребует вернуть деньги за билеты».

Я хотел возразить, что зрители всё-таки просмотрели большую часть спектакля о невинной Сусанне. Да, но самого главного они не видели, сказала она.

Делать было нечего, я расплатился, и мы побрели вдоль бульвара, свернули к Одеону, и дальше, сквозь лабиринт мёртвых улочек, мимо слепых окон и погасших витрин. Она слегка опьянела от выпитого и съеденного, я держал её под руку. Несколько времени спустя, — сколько, сказать невозможно, — мы ехали в лифте, вышли и поднялись по узкой изогнутой лестнице на последний этаж, я впереди, она за мной. Ну вот, сказал я, мы и дома. Неубранная постель, книги и бумаги, грифельная доска с чертежом, — вещи терпеливо дожидались меня. Она запротестовала, видя, что я собираюсь стелить себе на полу. «Лучше я лягу на пол». Вот уж нет, сказал я. Она вышла из туалетной комнатки. О чём спор, сказала она заплетающимся языком, тут хватит места для обоих, и показала на кровать. Сейчас ты узнаешь... Что узнаю, спросил я. Узнаешь самое главное, сказала она. Когда я вернулся в комнату, она спала. Никто не докажет мне, что мир сна менее реален, чем то, что мы называем действительностью; если мы видим сны о жизни, то сон в свою очередь видит нас. Сон созерцал нас обоих. Я услышал обрывки музыки, «ля» первой скрипки и разноголосицу инструментов, затихающий шелест публики. В смокинге, белоснежной манишке и что там ещё полагается в таких случаях — бабочка на шее, в петлице розетка, — я укрылся в театральной ложе и смотрел в бинокль на ярко освещённый просцениум, где только что появилась Сусанна и подставила себя взглядам восхищённой толпы.

НОЧЬ ЕГИПТА

Ausa et jacentem visere regiam
Vultu sereno, fortis et asperas
Tractare serpentas, ut atrum
Corpore combiberet venenum...¹

Hor. Carm. I, 37

Покорно прошу особу,
избравшую эту тему,
пояснить мне свою мысль:
о каких любовниках здесь идёт речь,
perché la grande regina n'aveva molto...

Пушкин

Здесь приводятся новые сведения о Клеопатре VII или VIII (будем придерживаться второй, уточнённой нумерации). Вновь обнаруженные источники, прежде всего Эсуанский кодекс — демотический папирус, ныне хранящийся в Нью-Хейвене (США), поставив ряд новых вопросов, позволяют прояснить некоторые обстоятельства жизни и смерти последней царицы Египта. В частности, подлежит пересмотру полуапокрифическое известие о любовниках Клеопатры, согласившихся принять смерть в обмен на её благосклонность.

Рассказ, будивший воображение поэтов, сбрасывает, если можно так выразиться, литературную листву — остаётся подобие облетевшего дерева: то, что когда-то цвело и благоухало подлинной жизнью, что было действительностью.

Встаёт вопрос, что же всё-таки ближе к утраченной действительности: имитации поэтов и беллетристов или реконструированные наукой элементы биографии? Вспомним, что греческое слово в

¹ Взглянув бестрепетно на опустевший дворец, смело прижав к себе змей, чтобы впитать телом чёрный яд, решившись погибнуть... *Гораций, Оды, кн. I, 37.*

буквальном переводе означает жизнеописание. Нужно отдать себе отчёт в том, что факты как таковые, теплота реальной жизни — нам недоступны; приходится довольствоваться пересказом написанного, сравнением, сопоставлением, анализом переданного с чьих-то слов, запечатлённого в более или менее стилизованных изображениях.

Сообщение о любовниках царицы, как известно, содержится в книге «О знаменитых мужах Города Рима», которую приписывают Сексту Аврелию Виктору, префекту Паннонии и второразрядному историографу эпохи императора Юлиана Отступника. Вот этот рассказ (*De vir. illustr. Urbis Romae*, LXXXVI, 1–3).

«Клеопатра, дочь фараона Птолемея, изгнанная своим братом и супругом, которого тоже звали Птолемей, за то, что она замыслила обманом отнять у него царскую власть, воспользовавшись гражданской войной, прибыла к Цезарю в Александрию; под покровительством Цезаря, благодаря привлекательной внешности и тому, что она была любовницей Цезаря, она полновластно правила птолемеевым царством. Она отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти. Впоследствии, потерпев поражение от Антония, вступила с ним в связь, притворилась, будто собирается устроить по нему поминальную тризну, и погибла в его Мавзолее от укусов ядовитых змей, прижав их к телу».

Мы не знаем, к каким источникам восходит это известие. Возможно, историк имел доступ к архивным материалам, компрометирующим царицу. Как бы то ни было, вновь полученные данные заставляют критически отнестись к версии Аврелия, который жил на четыре столетия позже Клеопатры. Отметим, что красавицей она не была. На монетах, которые чеканились в годы её совместного правления с младшим братом и формальным супругом Птолемеем XII, изображена мужеподобная особа с длинным крючковатым носом, — как бы в насмешку над фразой Паскаля о том, что история Рима сложилась бы иначе, будь нос Клеопатры на полдюйма длиннее. Зато она отличалась умом и образованностью, владела многими языками, между прочим, безукоризненно говорила по-египетски, чего нельзя сказать о других представителях македонской династии Лагидов.

Для начала подытожим известные факты. Василисса Клеопатра Теа Филопатор, что означает: Богиня, любящая Отца, вступила на трон в 51 году до Р.Х., в это время ей было восемнадцать лет. Её бра-

ту и супругу Птолемею было десять. Её правление было омрачено недородами в годы 47, 41 и 40. Фараон Птолемей XI Новый Дионис, её отец, знаменитый своим распутством, оставил государству долги; феноменальное расточительство царицы, пиры и увеселения, щедрые субсидии жрецам и храмам, содержание бюрократии, армии и флота, двора и многоголовой челяди должны были окончательно разорить казну.

Этого, однако, не произошло. Богатство не убывало до самой смерти базилиды и окончательного присоединения Верхнего и Нижнего царства к Риму. Государственные кассы пополнялись за счет налогов и податей. Двести восемнадцать различных налогов платили египтяне откупщикам, тут был налог на пользование земель и оросительными каналами, за семена, скот и инвентарь, на содержание флота и Фаросского маяка, полиции, врачей, бань, храмовые сборы и пожертвования, сбор на золотую корону при восшествии фараона на престол и Бог знает ещё на что. Всё вместе давало в среднем 15 тысяч талантов в год. Без зазрения совести, по указанию царицы, чиновники конфисковали состояния впавших в немилость магнатов. Наконец, немалый доход приносили земельные владения и торговые операции, в которых участвовало правительство. Несмотря на общий упадок хозяйства, держава Птолемеев всё ещё производила огромное количество зерна, излишки вывозились в другие страны. Из финикийских портов шли по караванным дорогам далеко в глубь Азии египетские ткани, женские украшения, ценные породы камня, стекло и папирус. По каналу из Нила в Красное море, обогнув Аравию, корабли плыли в Индию, и у входа в Александрийскую гавань, где теснились торговые суда со всего Средиземноморья, стоял негаснущий стодвадцатиметровый маяк.

Ни одного бунта не известно за 20 лет правления Клеопатры, трёхмиллионный народ Египта терпел всё. В голодные годы происходила раздача хлеба и риса — недавно завезённого злака. Блеск и непостижимое очарование богини-базилиды поддерживали внутреннее спокойствие. Пожалуй, и страх перед римским гарнизоном.

Вскоре после воцарения Клеопатры старший сын Помпея высадился в Александрийском порту и объявил мальчика-фараона единственным повелителем Египта. Аврелий Виктор говорит, что Клеопатра была изгнана. Это верно: низложенная царица бежала на Ближний Восток, чтобы там набрать войско и вернуть себе трон. При Фарсале, 7 июня 48 года, Юлий Цезарь победил Помпея. Не-

сколько времени спустя римская флотилия из тридцати пяти кораблей, с двумя легионами и конницей прибыла в Александрию. Клеопатра тайно вернулась в столицу, ночью, под покрывалом, пробралась во дворец. Когда Цезарь, призвав к себе Птолемея, предложил помириться с сестрой, юный фараон с криком «Измена!» выбежал на площадь, на глазах у сбежавшихся горожан сорвал с головы диадему и швырнул её оземь. Цезарь утихомирил толпу, солдаты увели Птолемея. С небольшими силами Цезарю пришлось начать военные действия против взбунтовавшихся александрийских жителей и частей египетской армии. Мальчик в золотом панцире погиб в мутных водах Нила, исход краткосрочной войны эллинистической державы против римской сверхдержавы был решён. Клеопатра вновь объявила себя царицей. Её титул был изменён, она стала называться Младшей Богиней, любящей Отца и любящей Отечество. Новым супругом и соправителем стал второй, самый младший брат Птолемей XIII Отцелюбивый. Два года спустя он был убит.

Цезарь отбыл в Рим, Клеопатра родила сына, которого нашли похожим на римского властителя. Жрецы установили, что сам Ра, приняв облик Цезаря, зачал младенца. Народ дал ему прозвище *Καίσαριον*, то есть Цезарёнок; будущий фараон был наречён Кайсаром (то есть Цезарем), любящим Отца, любящим Мать, но сам римлянин не пожелал признать его своим сыном. В отношениях с египетской царицей сухой и властный Цезарь был политиком; экспансивный Марк Антоний, о котором речь ниже, — любовником.

В 44 году царица вместе с братом и трехлетним мальчиком пожаловала в Рим, официально — с целью заключить военный союз с Римской республикой. Гостей препроводили на виллу Цезаря в садах за Тибром. Цицерон явился на поклон к ненавистной египтянке, прославленный тенор Гермоген пел для высоких гостей.

Цезарь воевал в Африке и в Испании. Вскоре после возвращения, утром 15 марта, перед заседанием в сенате некто Артемидор преградил дорогу правителю, вручив ему донесение о заговоре. Цезарю некогда было читать, со свитком в руке он вошел в сенат и не успел сесть в кресло, как был окружен республиканцами. Каска первым нанес удар, но неудачно, Цезарь схватил его за руку. Сенаторы, оцепенев от страха, не поднялись со своих мест. Заговорщики с мечами набросились на Цезаря, Брут ударил его в пах. Тело диктатора лежало у подножья статуи Помпея, убийцы добивали полумертвого, и многие в суматохе ранили друг друга.

Египтянке пришлось срочно отбыть во-свояси. Цицерон, которому тоже оставалось жить меньше года, злорадно писал другу: «Бегство царицы меня не слишком огорчает» (*reginae fuga mihi non molesta est*). Все же было бы преувеличением сказать, что Клеопатра вернулась, выражаясь современным языком, не солоно хлебавши.

По прибытии был отдан приказ умертвить брата-супруга; новым соправителем объявлен мальчик Птолемей XIV Кайсар, Бог, любящий Отца, любящий Мать, — живое напоминание о Цезаре. В Филиппах Марк Антоний разбил республиканскую армию Брута. Без колебаний было решено поставить карту на победителя; испросив совета у богов, Клеопатра во главе своего флота поплыла навстречу Антонию. Буря у берегов Ливии едва не погубила всю армаду. Под покровительством высших сил, потеряв большую часть кораблей, базилисса повернула обратно, шли наугад, пока не мигнул в тумане кроваво-красный глаз маяка на Фаросе. Клеопатра недолго оставалась в Египте. Деллий, доверенное лицо триумвира, склонил царицу отправиться на свидание с Антонием в Киликию. Затем ещё одна встреча, в Антиохии, и, наконец, Антоний, невзирая на то, что жена ждёт его в Риме, сочетался браком с базилиссой.

В Городе скрипят зубами. Марк Антоний — самый могущественный человек на римском Востоке. Летом или осенью 36 г. у великой царицы родился ребёнок (из всех детей Клеопатры царицу пережила лишь дочь Клеопатра IX Луна, которую выдали замуж за мавретанского царька). Кое-как закончив затяжную войну с Парфянским царством, Антоний празднует сомнительную победу, но не в Риме, а в гимнасиуме Александрии. Грандиозное шоу, смесь Запада с Востоком. Перед зрителями, на серебряном помосте — фараон Клеопатра в образе богини Исиды и римлянин в одеянии Осириса, на тронах пониже — их дети. Речь Антония, не слишком искусного оратора, представляла собой род правительственного заявления: Клеопатра, в качестве «царицы царей», владеет обоими царствами Египта и коронными провинциями Птолемеев Кипром и Киринеей; сын базилиссы Птолемей Кайсар, «царь царей», — её соправитель, муж и наследник; младенец Птолемей Филадельф, сын Клеопатры и Антония, — повелитель Финикии, Сирии и Киликии; Антоний — патрон Египта и тоже в некотором роде супруг.

Медовый месяц в Александрии. В стране голод, во дворце пиры за пирами. К этому времени можно приурочить основанные на дворцовых слухах, глухие упоминания современников об экспери-

ментах с ядами. Напомним, что эпоха последних Птолемеев — время расцвета медицины. Правило, сформулированное шестнадцать веков спустя Парацельсом, о том, что всякий яд есть лекарство и всякое лекарство — яд, было хорошо известно древним.

Клеопатре за тридцать; халдеи предсказывают ей трижды продолжительное правление против времени, которое она уже провела на троне. Она все еще неотразима. Краткое описание её туалета заняло бы несколько страниц. Омовения, притирания, ароматные ванны, омолаживающие снадобья, массаж груди и сосков, массаж живота и паха, нередко завершаемый тем, что царица призывала к себе красивого отрока-раба из мужского гарема.

Μεγάλη τύχη της ανίκητου νεωτέρας! Велик удел Непобедимой Младшей!

Второй триумвират оказался ещё недолговечней, чем первый. «Сенат и римский народ поручают Октавиану, ради блага республики, освободить мир от присутствия Марка Антония». Такова была формула постановления, развязавшего руки приемному сыну покойного Цезаря и будущему принцепсу. Сражение при Актионе у берегов Эпира решило судьбу Антония и царицы.

По-видимому, Клеопатре принадлежала мысль разбить Октавиана на море, а не на суше. Антоний стянул значительные силы — около пятисот военных кораблей. У входа в пролив стоял наготове египетский флот. Кроме того, под началом Антония находились стотысячная сухопутная армия, кавалерия — 12 тысяч всадников — и отряды союзных царьков. У Октавиана было 200 кораблей, 80 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы.

Несколько суток подряд штормовой ветер с Адриатического моря не давал приступить к делу. Перед рассветом 2 сентября 31 г. буря утихла, началась посадка легионов Октавиана на галеры. Обитые бронзой тяжелые греческие корабли Антония представляли собой серьезную угрозу для легких римских судов, у которых было преимущество маневренности. С башни флагманского корабля Марк Антоний выкрикивал приказы гребцам и солдатам у катапульт, рассчитывая вытеснить римлян из пролива. После чего предполагалось перенести дальнейшие действия на сушу. Но искусный флотоводец Агриппа сумел отрезать эскадру Антония от наземных войск. Клеопатра скомандовала распустить паруса; корабль фараона повернул в открытое море. Видя, что египетский флот уходит, Антоний на пятивёсельном судне догнал египтянку, предоставив богам заботу о своей армии.

Потрясение от разгрома было так велико, что супруги три дня не выходили друг к другу. Союзники и сателлиты оставили Клеопатру, фактически она владеет только Египтом, куда не сегодня — завтра высадится рать Октавиана. Флотилия приблизилась к берегам Африки. При подходе к Паратениону Антоний и Клеопатра расстались.

Царица продолжала путь к Нильской дельте. Антоний повернул на Запад. Его гонцы в пути, он ждёт вестей с театра военных действий, где давно уже нет никаких действий: командиры рассудили, что война потеряла смысл после бегства главнокомандующего. Армия капитулировала в итоге переговоров с офицерами Октавиана, который обещал солдатам Антония взять их к себе на службу.

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.

План дворца фараонов на мысе у входа в Большой порт реконструирован довольно подробно (от самого дворца ничего не осталось). Не совсем ясно, где находился тайный, возможно, подземный коридор, по которому ускользнула богиня базилисса, в разгар ночного празднества по случаю возвращения в столицу, покинув чертог, душный от смрада масляных светильников, от человеческих испарений и аромата цветов.

Несколько времени спустя Клеопатра вышла на галерею. Над Александрийской косою сверкали, как ртуть, созвездия; сверкают и сегодня. Царица семенит по галерее, её фигура, закутанная в белое, мелькает между колоннами, мелко постукивают в полутьме её сандали. Впереди вышагивает вожатый с факелом. Две рабыни встречаются перед входом в уединённый покой. Мы находимся (как можно понять из одного места в упомянутом Эсуанском кодексе) в западном крыле огромного дворца.

Короткий отдых, мелкие поправки туалета — так женщина наших дней, услышав звонок гостя, бросает мимолётный взгляд в зеркало. Царицу оглядел, причмокивая и кивая, коротконогий толстяк, придворный модельер и законодатель вкуса. Служанки помогли расположиться на ложе, придали складкам полупрозрачного одеяния живописный и в меру соблазнительный вид. Теперь она словно позирует какому-нибудь мастеру итальянского Кватроченто. Некто с поклонами, опустив глаза, внёс плоды и напитки. Царица хлопнула в ладоши. Друзья, Критон и Шимон, входят.

О, эта ошеломлённость мужчин, восторг ценителей красоты — подлинный или притворный? Где кончается ритуальное поклонение и вступает в права неподдельное чувство? Царица Клеопатра слегка запрокинула птичью голову в парике, опустив наклеенные ресницы, рассмеялась клокочущим горловым смехом. Но на шее видны тонкие морщинки. Подогретое вино разлито по кубкам. Хозяйка и гости полулежат с трёх сторон низкого стола.

Здесь следует оговориться. Источники упоминают о регулярных встречах, не сообщая о том, что обсуждалось в философском кружке царицы. Недостаток сведений вынуждает нас прибегнуть к не вполне легитимному с научной точки зрения методу экстраполяции. Можно говорить о большей или меньшей степени соответствия.

Об участниках диатрибы известно следующее (см. *Personalia Aegyptiaca*, vol. XII, pp. 131 — 132 и 174). Еврей Шимон бен Йохан, магнат, контролирующий торговлю рабами на рынках Кипра и Малой Азии, владелец верфей в Финикии, ювелирных мастерских на Босфоре, фешенебельных лупанаров в городах Италии, не однажды выручал базилиску в трудных обстоятельствах, финансировал строительные проекты, выполнял некоторые деликатные поручения правительства, о которых глухо упоминают хронисты. Не кто иной, как реб Шимон, предложил диойкету, то есть верховному казначею, изменить порядок коммерческих сделок: отныне заморским купцам вменялось в обязанность, прежде чем закупать товары в Египте, обменивать в банках свои деньги на птолемеевские серебряные тетрадрахмы, золотые октодрахмы и трихрисоны. Приумноженная валюта потекла в царскую казну; обогатился и Шимон.

Хотя будущее, по уверению астрологов, у каждого человека может быть только одно, предсказания различны от года к году; в 30 году до нашей эры Шимону бен Йохан предстояло дожить если не до возраста своих пращуров, то по крайней мере до первых лет правления императора Тиберия. (Как мы знаем, прогноз не оправдался). Реб Шимон вошёл, постукивая посохом из палисандра. Это был грузный благообразный старик пятидесяти лет, смуглый, как все уроженцы Верхнего Египта, всегда в белом, в высокой шапке, прикрывавшей лысую голову, в длинной седеющей бороде, чрезвычайно учёный, многоопытный, никому не доверявший, коварный, великодушный, фантастически скупой и до смешного щедрый. Словом, личность почти легендарная.

Грек Критон, сын Аполлония, второй собеседник царицы, был родственником знаменитого гистриона и комедиографа Артемизия (и его любовником) и представлял из себя 26-летнего напомаженного красавчика в обрамлении тёмных кудрей и подстриженной, торчащей вперёд бороды, которую он завивал и красил хной. Такая борода должна была производить неотразимое впечатление. Критон мог влюбить в себя любую светскую львицу, не взирая на искаленную, сухую с детства ногу. Сегодня нашли бы в нем сходство с Тулуз-Лотреком, однако он не обладал его гением. Критон никогда ничего не делал и был вечно чем-то занят, ничего не дочитывал до конца и обо всём имел представление, усердно проедал отцовское состояние, был завсегдатаем александрийского клуба «неподражаемо живущих», но также членом секты целомудренных, где практиковались манипуляции, символизирующие оскотление, вместе с Артемизием, несмотря на хромоту, выступал на сцене. Что ещё можно сказать? Половина известий о нём неотличима от сплетен.

Клеопатра подносит к губам вино, начинает разговор глубоким переливчатым голосом, тщательно соблюдая эллинские музыкальные ударения, которые уже в эту эпоху понемногу стали забываться. Ей хотелось бы, говорит она, обсудить вопрос: доказуемо ли бессмертие?

«Странно слышать это из уст великой базилисы. Для неё, по крайней мере, такого вопроса не существует».

Темно-каштановые кудри Критона повернулись к еврею, тот поглаживал длинную бороду, посапывал волосатыми ноздрями.

«Думаю, будет лучше, если мы рассмотрим вопрос в общей форме, не касаясь присутствующих», — заметила борода.

«Что касается меня, то я не посягаю на нашу религию. Убеждён, что бессмертие существует», — сказали кудри.

«Твоё мнение, реб Шимон?» — спросила царица по-еврейски.

Иудей ответил по-гречески:

«Если о нас будут помнить через две тысячи лет, разве это не бессмертие?»

«Через две тысячи лет? Откуда тебе это известно?»

«Мне ничего не известно, Но я полагаю это весьма возможным».

«Мы говорим о реальном бессмертии!» — заметил Критон.

«Существуют разные воззрения на этот счёт. Те, кто высказывался на эту тему, в равной степени правы и неправы».

«Значит, истина остаётся недоказуемой?»

«Если исходить из того, что бессмертие существует, задача сводится к поиску доказательств. Но доказательства, в сущности, не нужны, так как решение предопределено посылкой».

«Ты не ответил», — сказала Клеопатра.

«Мне не хочется ссылаться на наши книги, где, впрочем, о личном бессмертии ничего не сказано, — я нахожу это благоразумным, — но позволю себе заметить, что новая секта, о которой мы слышим в последнее время, вновь возвестила устами своих учителей о телесной, а не символической, реальности потустороннего мира. Не имела ли в виду великая царица это лжеучение?»

«Отнюдь нет. Впрочем, для нас в Египте это не новость».

«Конечно. Но учителя этой секты толкуют не о переселении в иной мир. Они не отрицают смерти, но говорят о воскресении, которое якобы ждёт всех. Каждого человека, говорят они, будь он царь или смерд, ожидает воскресение из мёртвых и Страшный суд».

«Суд, за что?» — спросил Критон, подняв брови.

«За содеянное. Всех людей они делят на два разряда. Тот, кто причинял другим зло, будет наказан, и наоборот, для тех, кто творил добро, приготовлено блаженство. Они считают, что хотя высшие силы всё знают о будущем, человек свободен в своем нравственном выборе, поступает как ему заблагорассудится и, значит, должен ответить за всё».

«Довольно парадоксальная идея, — заметила царица. — Но это любопытно. Расскажи о них подробнее, Шимон».

«К сожалению, я не слишком об этом осведомлён и к тому же нечасто бываю в Палестине. Знаю только, что они скрываются, живут в пещерах. Они презирают земные блага, наслаждаться едой, питьём, соитием с женщиной, по их мнению, грех...»

«Что такое грех?» — спросил Критон, подняв брови.

Шимон бен Йохаи величественно втянул воздух в широкие волосатые ноздри. Взглянул на грека, не удостоил ответом.

«Благосостояние, по их мнению, зло, — продолжал он, — поэтому сильные мира сего заплатятся за своё богатство, а нищие восторжествуют. Кто был ничем, тот станет всем. Так они представляют себе бессмертие».

«Другими словами, хотят навязать богам свои представления о том, что хорошо, что плохо? — сказала Клеопатра. — Но я не понимаю, что тут нового. О том, что сердце умершего будет взвешено на весах истины, нам было известно с незапамятных времён»

«Какая тоска! — воскликнул Критон и отхлебнул из бокала. — Я лично представляю себе вечную жизнь иначе».

«Как?»

«Я считаю, что смерти не существует, но даже если бы смерть существовала, она не имела бы к нам никакого отношения».

«В твоём рассуждении есть логическая ошибка: смерть не может существовать, так как она представляет собой несуществование».

«Но в таком случае она не может и что-либо собой представлять!»

Еврей сказал:

«Не надо спорить о словах. Ты хочешь сказать, что отрицать бессмертие значило бы признать реальность смерти, хотя на самом деле смерть есть мнимость. Пока мы здесь, её нет, а когда она наступила, нас больше нет. Мы это уже слышали. Фраза Эпикура — ты ведь о нём думаешь — опять-таки не больше чем остроумная игра слов».

«Ответь мне, мудрый Шимон, — промолвила Клеопатра. — Ответь мне... — Она задумалась. — Если человека в самом деле ожидает бессмертие, если оно, так сказать, навязано нам, значит, напрасны попытки распорядиться собственной жизнью по своему усмотрению? Но не является ли единственным преимуществом человека перед богами то, что он может выбрать добровольную смерть, боги же совершить это не в состоянии?»

«Наш закон рассматривает самоубийство как тяжкое преступление».

«Вот как», — сказала она рассеянно, легко вздохнула, мельком оглядела себя. Следом за ней и мужчины скользнули глазами по её телу. Клеопатра негромко ударила в ладоши. Молча дала знак вошедшему.

Все трое наблюдали, как слуга, возвратившись с сосудами, разливал по кубкам новое вино, прибывшее из-за трёх морей.

Египтянка первая подняла свою чашу.

Грек Критон поднёс напиток к ноздрям, пригубил, чмокнул губами, возвел глаза к потолку.

Еврей, для которого ничего нового на свете не существовало, отведал вино, одобрительно наклонил голову.

Клеопатра сказала:

«Не странно ли, что, говоря о бессмертии, мы размышляем о смерти. И не потому ли, что одно отрицает другое, а вместе с тем невысказано без другого. Только покончив с жизнью, можно познать бессмертие. Так день нуждается в ночи, чтобы наутро начаться снова. Отсюда следует, что получить доказательство бессмертия можно только если умрёшь!»

Шимон бен Йохан поднял густые брови, промолчал.

«Увы, — промолвила царица, — мы, кажется, снова оказались в ловушке слов».

«Есть вещи, которые стоят по ту сторону слов, — заметил Шимон. — Постигнуть их можно только внутренним созерцанием».

«Воля ваша, — смеясь, сказал Критон, — но поверить в смерть я никак не могу. Разве только признав, что смерть и бессмертие — это одно и то же. Но ведь есть способ прикоснуться к вечности при жизни».

«Какой же?»

«О, это... Это все знают».

«Но всё-таки?»

«Любовь. Соединение двух тел».

«Не будет ли правильной сказать, что сперва соединяются души, а затем тела?»

«Допускаю. А может, наоборот. Однако, — сказал Критон, — мы, кажется, отклонились от темы...»

«Напротив. Ведь сказал же Платон, что Эрос по природе своей философ и, как все философы, блуждает между мудростью и незнанием».

«Я думаю, он противоречит себе. Если не ошибаюсь, он говорит, что боги не занимаются поиском мудрости, ибо сами достаточно умудрены», — сказал Шимон.

«Но Эрос — не бог, а полубог, и я думаю, что в этом всё дело, — возразила царица. — Продолжай, Критон, мне интересны твои аргументы».

Красавец грек потупился.

«Аргументы? К чему они... К чему вообще все эти слова? — Он устремил влажный взгляд на египтянку. — Клянусь, — проговорил он, — я никогда ещё не испытывал действие вина, подобное тому, какое чувствую сейчас».

Царица отослала раба-нубийца. Сама подлила мужчинам.

Критон пробормотал:

«Мне кажется, я грежу... Я не в силах рассуждать».

«Пожалуй, ты прав, — заметил Шимон бен Йохаи, сурово взглянув на грека, — я эти вина знаю. Они усыпляют ум и возбуждают похоть. Ты грезишь о ней, вечно недоступной...»

«Разве это запрещено?» — спросил Критон и отхлебнул из стакана.

«Отнюдь. Но, кажется, был уговор не касаться присутствующих, — сказала Клеопатра. — Или я неверно истолковала твой намёк, Критон? Отчего ты умолк?»

«Мне надо собраться с мыслями. Что такое вечность... Мне кажется, я приблизился к ней... и вот-вот переступлю порог».

«Приблизился? К чему ты приблизился, Критон?»

«Позволь, царица, — промолвил грек, — поднять этот кубок за то, чтобы мы и впредь наслаждались твоей беседой, и... и за то, чтобы вечно, вечно, вечно мы могли созерцать твою дивную красоту!»

Она ждала продолжения. Оратор смутился.

«Вино разожгло твою кровь. Лучше бы ты помолчал», — сказал иудей.

«Я понимаю, — пробормотал Критон, — этот пафос может показаться смешным...»

«Нет, отчего же», — возразила хозяйка. Она подняла насурмлённые брови, медленно обратила к нему глаза, искусственно удлинённые до висков. Ощущала ли она сама действие снадобья?

«Да, я утверждаю, — продолжал Критон, потирая лоб, — что человеку дано приблизиться к бессмертию в момент, когда он как бы восходит по лестнице, которая ведёт вниз. Когда, почти умирая, он скользит, и отступает, и снова скользит, и спускается по ступеням, и, содрогаясь, достигает последних глубин наслаждения, и взлетает до самой высокой вершины экстаза...»

«Ты красноречив... Итак, ты считаешь, что тело женщины — это ворота смерти?»

«Это врата бессмертия», — прошептал Критон.

«Твои доводы нужно признать убедительными, — усмехнулась Клеопатра, — я нахожу, что таким образом нам удалось внести в предмет некоторую ясность... Но я должна прервать нашу беседу. Время на исходе».

В подтверждение этих слов издали донёсся удар молотом о медную доску. Стража меняла посты.

«Я хочу сообщить вам кое-что. Но прежде допейте...»

Собеседники молча смотрели на базилису. Она сказала: «Море спокойно. К полудню Римлянин будет здесь».

Реконструкция эпилога этой последней встречи представляет значительные трудности. Откапывание фактов из-под толщи всего, что насыпали и нагромодили века, напоминает поиски уцелевших в развалинах после землетрясения. Стихи Горация слишком благозвучны, чтобы можно было считать их историческим документом. Однако поэт был современником Клеопатры. Что касается предполагаемого автора хроники «О знаменитых мужах...», то, как уже сказано, он писал её спустя четыреста лет. *Naec tantae libidinis fuit* (приведём ещё раз его слова), *ut saepe prostiterit, tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint*. «Она отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти». Едва ли у египетской царицы могла возникнуть необходимость продаваться — разве только предлагать себя любовникам в обмен на их жизнь. По разным причинам рассказ Аврелия Виктора не заслуживает доверия, и всё же не стоит пренебрегать этим замечанием. Возлюбленными царицы были властители тогдашнего мира; она в известной мере их погубила; в облике Клеопатры сквозят черты вампира.

Что нам известно об Аврелии? Он родился в римской провинции Африка около 320 г. нашей эры. Вопреки незнатному происхождению, сумел выдвинуться. Трактат *De Caesaribus*, единственный из помеченных его именем четырёх исторических трудов, о котором наверняка можно сказать, что он принадлежит Аврелию Виктору, обратил на себя внимание Юлиана, автор был представлен кесарю и получил должность префекта провинции Паннония с консульскими полномочиями. Ему было тогда примерно 40 лет — по римским понятиям, предел юности. До 388 года об Аврелии Викторе нет никаких известий; в этом году он стал очень важной персоной — префектом города Рима. Мы не знаем, когда он умер.

Имел ли в виду историк главную и, может быть, уникальную черту последней египетской богини-базилисы, поставившей политику на службу своей необузданной чувственности, а чувственность — на службу политике? Волею обстоятельств, благодаря обширным владениям, морскому владычеству, древнему непоколебимому престижу, наконец, самодержавной воле Клеопатры VIII, Египет, рядом с которым Греция была подростком, Рим — младенцем, — на закате своей трёхтысячелетней истории всё ещё оставался

мировой державой. Но теперь Древний Восток должен был склониться перед античным Западом. Оружием царицы была её чувственность. Мы можем сказать (не боясь вызвать улыбку), что легендарное сластолюбие, широко раскинутые женские ноги сделали эмблемой правления Клеопатры. Это было трагическое, величественное, но и не лишённое комизма самодержавие. Словно фантастический моллюск, царица обхватила щупальцами Цезаря, а следом за ним Антония, стремясь всосать в себя властителя и его государство. Исход этого объятия известен.

Но уже началось увядание. Чувственность не утасла, о нет. Стало меркнуть телесное обаяние.

Когда базилисса известила друзей, что она покидает столицу в скором времени, точнее, в ближайшие часы, ещё точнее — до рассвета, эта новость была, по крайней мере для Шимона бен Йохаи, не совсем неожиданной: Экспедиционный корпус Октавиана должен был вот-вот высадиться в Александрии. О чём друзья и собеседники царицы, по-видимому, ещё не успели услышать, так это о синоде «умирающих вместе», который основали Антоний и Клеопатра, и самоубийстве Марка Антония.

«У меня нет ни малейшего желания, — сказала она, — трястись в тележке по грязным улицам Рима, под улюлюканье солдатни, когда Октавиан будет справлять триумф. Я уйду в изгнание. Думаю, что мы не увидимся в ближайшее время. Быть может, мы не увидимся никогда. Нет, нет, — поспешила она добавить, — не возражайте. Я уезжаю... Не спрашивайте, куда. Может быть, в Индию, по пути, который проложил мой великий предок. В сказочную Индию...»

И умолкла, глядя в пустоту. Встрепенулась.

«Однако я не могу с вами проститься, не одарив вас напоследок. Итак, какой же подарок вы хотели бы получить от меня?»

Гости молчали, ошеломлённые внезапным поворотом беседы, и она продолжала:

«Наш друг Критон, надо признать, прекрасный собою, только что недвусмысленно выразил чувства, которые он питает к своей повелительнице... И меня лишь удивляет, как это до сих пор я не нашла случая ответить его желаниям. Что ж! Я готова возместить упущенное. Я согласна — разумеется, лишь на краткое время любви — стать его рабыней. Но ещё меньше мне хотелось бы обделить тебя, Шимон бен Йохаи. Я обязана тебе многим и хочу воздать тебе должное не как монархиня, но как женщина. Бросьте жребий — кто будет первым, кто будет вторым».

«Я жду», — повторила она, протянула руку, — кто-то из двух предложил ей помощь, — медленно поднялась и удалилась в соседний покой, о котором достаточно будет сказать, что потолком для него служило большое серебряное зеркало, которое удваивало огни светильников, широкое ложе и то, что происходило на ложе.

Грек подбросил кверху кубики из слоновой кости. Оба выпали одной и той же стороной. Он подбросил еще раз. Иудей склонил голову, выражая покорность богу, который правит богами, — Стучаю. Тотчас до них донёсся слабый перебор египетской арфы. Критон засмеялся, волоча ногу, вышел. Он не возвращался. Снова послышалась арфа. Не спеша, постукивая посохом, Шимон прошествовал вслед за Критоном.

Немного времени спустя она показалась снова, неся в своём лоне неравноценное семя любовников, — вернулась с намерением допить вино и сойти к подземному Нилу, поплыть в ладье усопших по чёрным водам, навстречу ночному солнцу. Но отставила питьё.

«Они уснули?» — спросила Клеопатра.

Раб, вошедший следом, ответил:

«Навсегда».

Он поставил у её ног плетёнку с травой, поднёс к губам флейту.

У египетской кобры Араз, чьё изображение и сегодня можно видеть на стенах храмов, короткие зубы, нанести колющий молниеносный удар она не может; Клеопатра, держа в ладонях, как плоды, свои тяжёлые груди, слегка раздвинула их, чтобы освободить место для укуса, и почувствовала, как челюсти змеи несколько раз сжались, сисясь как можно глубже вонзить зубы; смеясь, царица упала на ложе, и несколько мгновений ожидания, когда подействует яд, показались ей вечностью.

РУСАЛКА

Это было в те времена, когда я ещё не оставил свою профессию в угоду сомнительному ремеслу сочинителя и мог бы рассказать эту историю без художественных красот, проще и ближе к действительности. Но с годами наши представления о действительности меняются, и, может быть, следует согласиться с Прустом, что наша жизнь остаётся малопонятной до тех пор, пока её не осветлит литература.

Будем всё же держаться фактов и для начала уточним географию. В двухстах шестидесяти километрах от Москвы, в бывшей Калининской, а ныне снова Тверской области находился старинный город Торжок; я говорю: находился, хотя, разумеется, он существует по сей день. Город Торжок был резиденцией моего начальства. Отсюда на запад, по Кувшиновскому тракту надо проехать километров тридцать, свернуть влево на просёлок, и часа через полтора вы доберётесь до села с красивым названием Спаское-Девичье. Легенда о том, что однажды здесь, под вековым дубом, объявилась икона Нерукотворного Спаса, прочно забыта. От монастыря ничего не осталось,

Во времена эпидемий сельские больницы строились в стороне от населённых пунктов. Моя участковая лечебница была основана местной земской управой в чеховские времена и находилась в полутора километрах от села.

Русский человек, как известно, не щадит родную природу, и всё же многовековые усилия истребить леса и обезобразить ландшафты не смогли уничтожить красоту наших мест: это был тихий, лесной, ягодный и грибной край, где водились кабаны и лоси, где на повороте узкой дороги, мощёной булыжником, поздними вечерами, когда я возвращался из города, меня встречала, замороженная светом фар, лиса. Меньше чем в получасе езды от больницы расположено безымянное озеро, глубокое, чистое до прозрачности; несколько ручьёв питают его. В хорошую погоду я приезжал сюда ловить раков. В этот раз, однако, пришлось ехать по другому поводу.

Дни мои проходили довольно однообразно. До обеда я был занят в отделениях — общем, родильном и в так называемом заразном бараке, который чаще служил приютом для бездомных слабоумных старух; в послеобеденные часы принимал больных в амбулатории, вечером читал, слушал радио или сидел над листом бумаги — первые симптомы литературной болезни уже тогда давали о себе знать; впрочем, ничего серьёзного.

Иногда меня поднимали ночью; я вставал, стараясь не разбудить мою подругу, шёл осматривать больного, привезённого издалека, потом возвращался и спал до утра. Приходилось мне ездить и по деревням. Помню, однажды я вёз к себе в больницу четырёхлетнего мальчика, больного астмой, и застрял в снегу, прошло несколько часов, покауда не добрался к нам тягач с машино-тракторной станции, и всё это время малыш проспал у меня на коленях. Но мы отвлеклись.

Итак, часа в три пополудни мне позвонили по телефону. Я находился в амбулатории. Несколько неотложных случаев поручил старшей сестре, остальным было сказано, что на сегодня приём окончен. Старый военный фургон с красными крестами на стёклах выехал на опушку леса, я подбежал со своим чемоданчиком к берегу, где стояла кучка деревенских жителей. Утопленница лежала на траве у самой воды.

На вид ей было лет семнадцать. Платье облепило её тело. Люди смотрели на меня в ожидании чуда. Стоя на коленях, я делал то, что полагается, ввёл сердечные препараты, разрезал платье, сжимал толчками грудную клетку, дышал из рта в рот, сводил и разводил бессильные руки. Было ясно, что время для оживления упущено. Пульса не было, губы посинели, она была бледна и холодна. Я велел отнести труп в машину.

На другой день приехал из Торжка милицейский «газик». Я уже знал, что случилось: довольно обычная история. Самоубийца была дочерью учительницы. Парень из той же деревни, жених, вернулся из армии, пьянствовал, пробыл недолго и уехал, не взяв её с собой.

Морг стоял на задворках больницы — домик-избушка на курьих ножках, с железной печкой, с окном, смотревшим в лес. Здесь я производил патологоанатомические вскрытия. Но случай подлежал экспертизе в центральной районной больнице. Я отомкнул висячий замок, мы вошли внутрь. Я откинул простыню. Девушка лежала на каменном столе с выражением спокойного довольства на лице. На

этом следователь посчитал свою задачу выполненной; мы направились в мой кабинет, обычно пустующий, к нам присоединился сержант милиции; выпили, закусили на помин души. После чего сержант сел за руль, машина выпустила клуб газа и заколыхалась, увозя самоубийцу и следователя в город. А ночью полил дождь.

И назавтра весь день шёл дождь, и всю ночь журчало и шелестело за окнами. Под вечер выглянуло из-под туч жёлтое слепящее солнце. Дорога раскисла, я был вынужден отложить ещё на один день поездку в деревню, где проживала молодая женщина с запущенным раком яичника; я посещал её раз в неделю, чтобы выпустить жидкость из живота. Каждый раз, встречая меня, она говорила, что ей стало лучше. Больную усадили на стул и подставили таз. Закончив процедуру, я побыл с ней ещё немного, поговорил с матерью. Мне хотелось, пользуясь случаем, повидать учительницу средней школы. Её дом находился в этой же деревне, школа — в Спасском.

Молча, в чёрном платке, как у монахини, отведя взгляд, хозяйка впустила меня в дом. В чистой горнице за столом сидел осанистый мужчина лет пятидесяти, полный, лысоватый, в пиджаке и галстуке, — школьный завуч по имени Андрей Макарович. Узнав о том, что я врач, он отвернулся и стал смотреть в окно. Меня знала вся округа. Он сделал вид, что мы незнакомы.

Было воскресенье. Похороны назначены на вторник. За телом нужно ехать в город; я предложил мою машину. Учительница кивнула, наступило молчание. Очевидно, мой визит был понят как желание загладить свою вину. Я не сумел спасти девочку. Они понимали, что ничего сделать было невозможно, но кто-то должен был отвечать, им хотелось взвалить вину на врача. Но и меня не вполне понятным образом тревожила совесть.

Я почувствовал себя нежеланным гостем, кое-как выразил моё соболезнование и хотел уйти, учительница остановила меня. Из вежливости что-то пробормотал и её гость. Явилось утешение. За столом обменивались вялыми репликами, мужчины выпили по стопке, хозяйка примостилась сбоку, не притрагиваясь к еде. Завуч тяжело поднялся. Проводив его, она вернулась и села на его место.

Мы задумались, а может быть, прислушивались. Мне показалось, что кто-то взошёл на крыльцо, вытирает ноги в сенях. К вам идут, сказал я. Хозяйка не откликнулась. И тут в комнату вошла дочь и присела на место, где прежде сидела мать.

Мы притворились, что ничего не заметили.

Надо было что-нибудь сказать, нарушить молчание, и я заговорил, довольно бестактно, — опять же это могло быть истолковано как попытка оправдаться, — о том, что нужно было сразу, не дожидаясь врача, приступить к искусственному дыханию. Учительница молчала. Слишком поздно, сказал я. Она вяло возразила: кое-что пытались сделать, пока кто-то бегал звонить в больницу.

Я не стал спрашивать, как узнали о том, что девочка бросилась в озеро, кто её вытащил. Меня интересовало, кто такой этот парень.

«Мой ученик. Года на два старше Людмилы. Она ждала его».

Поколебавшись, я спросил: известны ли ей результаты вскрытия?

«Какие могут быть результаты». Она пожала плечами.

«Марья Фёдоровна, — сказал я, — простите, что я вам досаждаю... Вы можете быть уверены, что этот разговор останется между нами».

Она слегка повела бровью. Дочь не сводила с неё глаз.

«Солдатам, — продолжал я, — разрешают приезжать домой на побывку».

«Разрешают, ну и что».

«А то, что... видите ли. Ваша дочь была беременна».

«Вот как», — промолвила она спокойно и провела пальцем по краю стола, где всё ещё стояли тарелки и рюмки.

«На четырнадцатой-пятнадцатой неделе. Вы об этом знали?»

Учительница подтянула концы чёрного платка, поджав губы, выжидательно — что я ещё скажу? — поглядывала на меня.

«Я хотел спросить. Он к вам приезжал? Я имею в виду — до истечения срока службы».

«Год назад приезжал, а так только письма друг другу писали».

«Выходит, у неё был другой?»

Марья Фёдоровна усмехнулась.

«Вы, доктор, я вижу, очень догадливы».

«И вам известно, кто был этот другой?»

«Мне? Ещё как известно».

Я ждал продолжения, она поднялась, чтобы убрать посуду, подошла к стенным часам-ходикам и подтянула гирьку.

«Вас, наверное, ждут в больнице», — сказала она.

Рядом с часами висел отрывной календарь, висела фотография.

«Это мой муж. А ей здесь годик. Он нас бросил».

Дочь сидела между нами, мы оба чувствовали её присутствие.

Стол освободился, учительница села, спустила платок на плечи, встряхнула короткими волосами, взглянула на меня — спокойно и ясно.

«Так вы, стало быть, хотите узнать, кто это был? Андрей Макарыч, вот кто».

Я поднял брови.

«Вам небось уже успели доложить, что у нас с Андрей Макарычем... ну, что я с ним живу. (Я помотал головой). Ну, не доложили, так доложат. А вот о том, что было между ними, думаю, никто не знает, вы первый».

И она покосилась на гостью, — неподвижный взгляд дочери блестел, как рыба чешуя, — и стало ясно, что всё, что тут говорится, говорится не для меня. Не со мной она разговаривала, а с той, которую привезут завтра.

«Я Андрея Макарыча не виню. Он меня любит. Но ведь, знаете, не в обиду вам будь сказано, мужчина остаётся мужчиной. Мне сорок пять. Она молодая. Она мне сама рассказала. Не постыдилась. За спиной у матери. Что он будто бы ей признался, и что жить без неё не может, и всё такое. А я вам скажу, как на духу: это она сама! Она его завлекла! Мужика смазать, вы меня извините, проще простого, да ещё когда ты молоденькая да смазливая. А потом ещё стала выхваляться передо мной, да, выхваляться, гордиться, вот я, дескать, какая. И доигралась».

Значит, всё-таки мать об этом знала. Между двумя женщинами произошло объяснение. Должно быть, начались тяжёлые сцены. Чего доброго, после одной из таких сцен она и побежала топиться.

Я спросил, знал ли Андрей Макарович.

«Что она в положении? Знал, а как же. Сам мне повинулся. Я говорю: ну раз такое дело, разводишься с женой, женись на Люське. А у самой сердце кровью обливается. Как же, думаю, я останусь одна. Слава Богу, — сказала Марья Фёдоровна, остро взглянула на соперницу и снова набросила на волосы чёрный плат. — Слава Богу, он не захотел, нет, говорит, я тебя не брошу».

«Рад был, что я на него зла не держу. С женой я всё равно не живу, разведусь, и поженимся, так и сказал. И Людмиле, говорит, скажу. У неё жених есть, пускай за него и выходит».

Но ведь парень уехал, хотел я возразить, может, что-то узнал. Теперь мы были одни в комнате, словно она во второй раз побежала к озеру. А как же собирались поступить с ребёнком? Вопрос застыл у меня на губах. Несколько минут спустя я попрощался и вышел.

Вопросов было много. Я думал о том, что означало это слово: доигралась. Что связь с завучем, мужчиной втрое старше её, не обошлась без последствий? Или то, что дочь решила покончить с собой, и, дескать, так ей и надо? Испытывала ли мать укору совести? Мне почудилось с трудом скрываемое злорадство. Молодая соперница перебежала дорогу. За это и поплатилась.

День померк, задумавшись, я ненароком свернул в сторону. Или... не совсем ненароком? Тут-то всё и началось: надо бы вернуться, а я всё еду и еду, светя фарами во тьме, пока лес не расступился и открылась чёрно-блестящая гладь. Но что, собственно, началось? Озеро было спокойно. На другой день, как было обещано, я послал свою машину в город. На похоронах не присутствовал.

И жизнь вернулась на свои колеи. Я погрузился в рутину. Думаю, что спустя годы подробности выветрились бы из памяти, вряд ли я смог бы припомнить этот разговор с учительницей, если бы — да, если бы не события, которые последовали за этим. Само собой, в предположении, что они случились на самом деле, а не смешались каким-то образом с фантазией сочинителя. А главное — если бы не грызущее беспокойство, которое погнало меня к озеру тогда, после разговора с Марьей Фёдоровной, и с тех пор меня не отпускало. Что-то ворвалось в мою жизнь. Я смутно чувствовал угрозу. Таким бывает предчувствие смерти или крутой перемены.

Осень уже наступила, стояли тихие, ясные дни. Как-то раз ко мне постучались: обычное дело, кого-то привезли. Я жил в доме, где полвека назад обитал с семьёй земский врач, только теперь вместо жены и детей со мной коротала дни спутница тех лет, бывшая моя пациентка из местных, — женщина старше меня, строгая и работающая. Я прикрыл за собой дверь, вышел на крыльцо — была глубокая ночь — и направился в общий корпус. В приёмной на топчане лежал старик в валенках и тулупе, несмотря на тёплую погоду. Молодая баба, дочь или внучка, сидела рядом на табуретке. Больной был в сознании, но в ответ на вопросы мычал, лицо было слегка перекошено; я велел его раздеть, заранее зная, что правая рука и нога парализованы. Его перенесли в палату, я поставил капельницу. Внучка осталась возле него. Я стоял на крыльце. Над моей головой, как ртуть, сверкали звёзды. Мне расхотелось возвращаться к себе.

Я рулил по лесной дороге, фары освещали мой путь, выхватывая из темноты кусты и стволы деревьев, вдали за поворотом, в лу-

чах света стояла моя красавица, с острой тёмно-блестящей мордочкой и пышным хвостом. Подъехав ближе, я затормозил, зверь неподвижно смотрел на меня искрами глаз. Затем взревел старый мотор, она прыгнула вбок и пропала.

Я вылез. Моя машина стояла на опушке, как в тот день, когда, выскочив из кабины, я бежал со своим чемоданчиком к берегу и люди молча расступились, пропуская меня к утопленнице. Неподвижно расстилалась чёрная гладь, была такая тишина, что если бы за километр отсюда шевельнулась ветка под ночной птицей, я бы, наверное, услышал. И точно, из чащи донёлся слабый шум. Чёрные крылья пронеслись низко над землёй, над тусклой поверхностью озера. В ответ заволновалась вода, побежали серебряные блики, и мёртвая женская голова показалась над поверхностью. Остолбнев, я смотрел на неё и вместе с тем, как ни странно, догадывался, что я этого ждал.

Она отвела ладонью слипшиеся пряди волос от лунно-бледного лица с тёмными кругами глаз. Как на некоторых иконах, глаза были закрыты и в то же время открыты. Утопленница не то плыла, не то стояла в воде.

Хриплым голосом я продекламировал:

«Невольно к этим грустным берегам...»

Она встала, очевидно, нащупав дно, по пояс в воде, и как будто вслушивалась. Я прочистил горло.

«Меня влечёт неведомая сила. Вы в школе проходили, узнаёшь?»

Медленно, еле заметно она покачала головой.

«Не знать такие вещи. Ведь у тебя мать учительница!»

Она как будто кивнула и тотчас снова помотала головой.

«Имей в виду, — сказал я. — Мы, то есть я, тут абсолютно ни при чём».

Густой туман спускался над озером, близился рассвет, мотор рокотал, туман застлал фары, в пяти метрах от машины уже ничего не было видно.

Татьяна (моя сожительница) застала меня сидящим на ступеньках нашего дома, солнце только что показалось в сияющей мгле над кровлями больницы.

«Ты что же, не ложился?»

Я пожал плечами.

«Привезли кого ночью?»

«Инсульт. Мозговой удар».

Больше ничего особенного не произошло, но за обедом, не удержавшись, она спросила:

«Ты куда это ездил ночью? Тебя снова вызывали?»

Я кивнул.

«Неправда. Мне Марьяша сказала». (Дежурная сестра).

«Что она тебе сказала?»

«Сказала, что ты пошёл домой».

«Ну и что?»

«Ты от меня скрываешь».

Я надул щёки и выдохнул воздух в знак того, что я сыт. После чего, перед тем как идти на приём в амбулаторию, прилёг отдохнуть и тотчас увидел сон. Несмотря на то, что сознавал, что лежу полуодетый на нашей широкой кровати. Но вот это — то, что я лежу и слышу, как Таня ходит в соседней комнате, моет посуду, — это-то как раз и показалось мне сном, а может быть, на самом же деле снилось, потому что на самом деле была ночь. Полчаса назад за мной пришли. Я стоял в палате, пациент, переодетый в больничное бельё, дремал, левая щека отдувалась, правая рука и нога были недвижны, и я знал, что нарушение кровообращения произошло в бассейне левой средней мозговой артерии. Сестра следила за капельницей, я вышел на крыльцо, ртутные звёзды сверкали в чёрной синеве, над лесом стоял ковш Большой Медведицы, всё ещё была глубокая ночь — спать и спать. И я поплёлся домой.

«Таня, — сказал я, чувствуя сильную тревогу, — Таня, просыпайся...»

Она пробормотала: «Ложись». Я всё ещё стоял перед кроватью, излучавшей покой и тепло. Она, наконец, открыла глаза, спросила, что случилось. Почему я не ложусь?

«Случилось», — ответил я, крутя баранку, вглядываясь в темноту сквозь стекло моего колышающегося экипажа, фары выхватывали из мрака низко свисающие лапы столетних елей, дорога пошла вверх, теперь вокруг был редкий, чистый сосняк, и я уже различал в просветах леса оловянную гладь озера. Как же оно называлось?

Думая об этом, я сошёл с пригорка к кромке берега, чёрные круги пошли по воде, и бледная, вся в неверных тенях, утопленница поднялась из вод, тёмные орбиты глаз были обращены ко мне, темнели её соски.

«Никак не могу вспомнить, — сказал я. — Как называется это озеро?»

Мне показалось, что её губы зашевелились, но ответа я не слышал, сел на траву, расшнуровал ботинки, снял носки, засучил брюки и вошёл в холодную воду. Илистое дно уже через два-три шага круто шло вниз.

«Не понял, — сказал я, — повтори», — и скорее догадался, чем услышал голос из воды:

«Пора».

«Что? Куда?..»

«Тебе пора, — сказала моя сожительница. — Чаю выпьешь?»

Входя в амбулаторию (не спеша, с важным видом, как положено врачу), я слышал плач детей, кашель стариков, народ терпеливо ждал. В кабинете меня ожидала сестра. Я уселся за стол, всё ещё плохо соображая, что было сном, что стало явью, провёл рукой по лицу и произнёс: «Приглашайте».

Вошла молодка с малышом на руках. Красное личико, совиный взгляд. Что же ты, мамаша, так запустила? «Парили, думали, пройдёт...».

Ubi pus, ibi incisio, учили древние, где гной, там сделай разрез. Сестричка стояла с лотком и скальпелем. Малыш лежал на плече у матери, я обрызгал хлорэтилом багровое вздувшееся пятно на попке, отчего кожа покрылась инеем, вскрыл флегмону и подставил лоток. Полился серо-жёлтый гной. Ребёнок орал благим матом. Работа пошла своим чередом.

Повторяю, всё забылось бы, подёрнулось ряской, как всё в жизни, и кто знает, не сложилась бы моя жизнь совсем иначе, удержись я тогда от соблазна. Легко сказать: удержись! В конце концов, я трезвый человек, я получил естественнонаучное образование. В то же время я никак не мог допустить мысли (да и сейчас не могу), что в действительности всё могло быть наоборот, что не она, воскресшая утопленница, каким-то образом оставшись в своей стихии, стала причиной моего смятённого состояния, но тоска и бессонница породили призрак вод. Что такое, в конце концов, действительность? Нам кажется, что необъяснимое отступило от нас, как отступают под натиском цивилизации леса и воды, а между тем легенда нет-нет да и вторгается в наше существование. Вдруг является откуда ни возьмись икона Спаса и творит чудеса. Вдруг встаёт над водой голова русалки.

Упомяну ещё о некоторых происшествиях; мои поездки в деревню к больной с асцитом — жидкостью в брюшной полости — продолжались, информация, можно сказать, была получена мною из первых рук. Завуч окончательно бросил семью, переселился к учительнице — новая пища для толков и сплетен. Любовникам пришлось уехать, поселиться временно в Торжке у родственников Андрея Макаровича.

В те времена считалось, что в нашей стране не может быть никаких катастроф: ни аварий, ни пожаров, ни землетрясений. Газеты ни о чём не сообщали, радио помалкивало. Всё обстояло наилучшим образом. О взрыве я узнал случайно, на совещании в Торжке.

Собрания эти, в сущности, совершенно ненужные, созывало время от времени начальство райздравотдела, чтобы показать высшим инстанциям, что оно руководит медициной в районе. Исчезни однажды все эти учреждения, ничего бы не изменилось. В перерыве знакомый врач рассказывал о том, что случилось в областном центре. Один из больших жилых домов, построенных после войны немецкими военнопленными, взлетел на воздух из-за взрыва цистерны с газом в подвале. Был поздний час. Сбежалась толпа. Милицейские фары освещали огромную груды щебня и кирпичей. Пожарные ковырялись в развалинах, искали пострадавших, улица была забита машинами скорой помощи, но спасти было некого. Погибло несколько прохожих, и погибли все жильцы. На другой день «Калининская правда» сообщила о новых успехах передовиков производства и тружеников полей. Вернувшись к себе, я узнал, что среди обитателей дома были мать Люси и завуч.

Оказывается, они успели покинуть Торжок. У Андрея Макаровича была калининская прописка.

По-прежнему стояли погожие дни. Сверх всякой меры затянулось бабье лето. В темноте я рулил по извилистой лесной дороге. За сосняком показался кустарник, внизу светлело мёртвое озеро в слабом отблеске звёзд; ни ветерка, ни звука. Никакого движения на поверхности вод.

Я направился было назад к машине, обернулся: по-прежнему никого. Двинулся снова и опять остановился. Получалась какая-то чепуха: озеро не отпускало меня.

Она плыла, на ходу отводя ладонью от лица мокрые пряди. Она поднялась из воды, обнажилась её девическая грудь, впалый живот,

она уставилась на меня тёмными орбитами глаз, и, казалось, смотрит сквозь опущенные веки, как на моргающих иконах; я протягивал к ней руки. «Если ты думаешь, — бормотал я, — что...»

«Если думаешь, что твоя мама... и он... то ведь они уже наказаны, а если ты считаешь, что это моя вина, что ж! — я горько усмехнулся, — пусть будет так, я не спорю, в некотором смысле я действительно виноват...»

Как уже сказано, стояло бабье лето, однако ночи были холодные, вода казалась ледяной.

«Чем же я могу перед тобой оправдаться?» — спросил я, стоя в воде по щиколотку, перебирая голыми ступнями. Ответа не было.

«Чем? — повторил я. — Разве только тем, что всё это бред, морок и тебя не существует. А раз так, то и нечего ездить сюда, и... и катись ты подальше...»

«Конечно, нет ничего проще, — продолжал я, стуча зубами от холода, и осторожно сделал шаг вперёд, но тут же отпрянул, там был обрыв дна, чёрт бы побрал это озеро! — Ничего проще нет, чем уговорить себя — и тебя тоже, да, да, — что всё это мне привиделось, плод расстроенного воображения, как говорили в старинных романах, последнее время я плохо сплю, маленько свихнулся, это бывает...»

Мне показалось, что она вот-вот опустится в воду, пропадёт и уже никогда не вернётся, я спешил договорить.

«Не правда ли, самое простое объяснение! Вот сейчас обуюсь, сяду в машину и поеду домой. Там, наверное, Таня уже беспокоится... Высплусь, и всё пройдёт, и... и снова буду ловить раков! Будет у меня снова спокойная жизнь... Надо же, какая чертовщина придёт в голову. Так не бывает!» — крикнул я, и слабое эхо отозвалось в лесу.

Успокоившись, я сказал:

«Так я сейчас пойду, ты не против?»

Вместо ответа она подняла руку и поманила меня пальцем — я испугался, ведь я этого ждал.

«Э, нет!» Я снова было шагнул вперёд, но пошатнулся, чуть не упал, и поскорее назад.

Я постарался совладать с собой, спокойно, трезво описать ситуацию.

«Люся, — сказал я, — тут есть одно обстоятельство. Не то чтобы смягчающее... хотя... если вернуться к вопросу о вине, я всё-таки не совсем понимаю... клянусь тебе, я сделал всё от меня зависящее, не в

моих силах было тебя оживить! Так вот, одно такое, как бы сказать, деликатное обстоятельство. Говорят, ты была красоткой, я представляю себе, что такая, как ты, могла завлечь любого, а уж о толстом этом завуче и говорить нечего! Твоя мама была права, признайся, это ты его соблазнила, а не он тебя... Но я тебя раньше никогда не видел... И тогда на берегу я видел только утонувшую... видел перед собой случай, понимаешь? Случай с летальным исходом. Потом приехал следователь, я повёл его в морг... Знаешь, я ужасно замёрз!»

Вода волновалась вокруг меня, чмокнул прибрежный ил, с трудом удалось вырвать окоченевшую ступню, потом другую.

«Ты не поверишь. Когда я откинул простыню — я думаю, он не заметил, это была чистая формальность, осмотреть труп, я имею в виду следователя, — а он даже и не осматривал, взглянул и всё; а я заметил. Твои глаза были приоткрыты. Ты следила за мной. Можешь считать меня сумасшедшим, но клянусь, это было на самом деле».

«Люся, — сказал я. — Людмила... У врача, когда он осматривает женщину, даже юную девушку, происходит отключение. Врач отключает в себе мужчину. Конечно, он всё видит и может подумать, как она, однако, надиво сложена, но это не имеет значения. Ему не до этого. Он занят своим делом».

«Мне пришлось испытать то, что в самом деле граничит с... но это тоже не имеет значения. Когда всё это кончилось... я хочу сказать, когда тебя увезли в город... Прошло сколько-то времени. Я стал плохо спать. Прежде, когда вызывали ночью, я делал что надо, возвращался и спокойно засыпал. А теперь я не мог спать. Опять же Татьяна. Я перестал с ней жить как с женщиной».

«До меня стало доходить, что надо что-то делать. Что-то предпринять. Повернуть руль, съехать с дороги, пусть даже в непролазную чащу, но только прочь с этой дороги. И я понял, что не могу без тебя жить... Что за дьявольщина! Это же абсурд. Тебя закопали, а я думаю о тебе как о живой! Как ты считаешь, — сказал я, — вот если я сейчас пойду к тебе, поплыву или уж не знаю как... ты ведь меня ждёшь?»

Она кивала, её лицо, плечи, грудь слабо светлели в темноте — вероятно, тучи заволокли небо, давно уже погоде пора было испортиться, — но я заметил, ей-Богу, не мог ошибиться: она кивнула, раз и другой.

Вот я сейчас к тебе прикоснусь, — думал я, вернее, говорил вслух, прикоснусь и почувствую всю тебя... почувствую, что ты холодна, как лёд, не-ет, шутишь, этот номер не пройдёт!

«Не понимаю, — продолжал я, уже сидя в машине, — где тут причина, где следствие. Оттого ли я бегал к тебе, что почувствовал что-то неладное в моей жизни, или наоборот, жизнь опостылела, когда я тебя вот такой увидел... Но, конце концов, не всё ли равно? Важен результат!»

Немного согревшись, я снова вылез, приблизился.

«Выходи, — сказал я. — Вылезай немедленно!»

Я струсил. Вот в чём дело. Вместо того, чтобы пойти к ней, за ней. Остальное известно мне по рассказам. Кто-то увидел меня на другой день, я сидел в кабине, голова на руле. Меня отвезли домой, потом в город. В Спасское я больше не возвращался. И вот теперь я сижу за столом, рядом с лампой сидит мой кот, жмурится от света и следит, как я вожу пером по бумаге. Когда-то я получил естественное образование, зарабатывал себе на хлеб самым трезвым ремеслом. Не будь я писателем, да если бы ещё скинуть с плеч годов двадцать, я описал бы эту историю проще, ближе к действительности, без романтических прикрас.

СЕРА И ОГОНЬ

Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не каждый день.

Заскрипела лестница от быстрых шагов, — в это время я сидел за завтраком, — молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь переступить порог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географических имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, что оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощённому тракту в город. Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о котором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит слово «деревня».

Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На другой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело с керосиновыми лампами.

Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выручал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, — тому, ей-Богу, легче жить. И, что самое замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что нет надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжают выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты в моих хоробах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, напротив, люди одобряли, что я живу с одной вместо того, чтобы таскаться по бабам; бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и шло. И довольно обо мне.

Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель колхоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши места — теперь я уже мог называть их нашими — принадлежат к коренной России, лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправимая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвоей, в полосах света, просёлками посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серозолотистых сосен и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла перед сараем.

Это было то, что когда-то называлось заимкой; недалеко за лесом пряталась деревня, а здесь, над отлогим лугом, стояла убогая, в два окна, хижина. Поодаль сарай, за полуобвалившимся плетнём остатки огорода и отхожее место. Подняв морду, время от времени завывала и скулила осиротевшая собака. Следовательно из района уже успел поговорить с дочерью, ждали председателя. Один за другим вступили в сарай — следовательно, судмедэксперт, председатель колхоза; вошёл и я.

Пёс умолк. Пёс сидел на задних лапах, моргал тоскливыми жёлтыми глазами и, очевидно, спрашивал себя, как могло всё это случиться. Свет бил сквозь два окошка в двускатной крыше. В тёмном углу, так что не сразу можно было разглядеть, сидел, раскинув длинные ноги, на земляном полу, человек, у которого от головы осталась нижняя часть лица. Вокруг по стенам был разбрызган и висел ошмётками полузасохший белый мозг. Постояв некоторое время, мы вышли. И, собственно, на этом можно закончить предварительную часть моего рассказа; вопрос в том, надо ли продолжать.

Как я и предполагал, мне тут делать было нечего. Случай подлежал оформлению на районном уровне. Какие-то подвернувшиеся мужики вынесли труп, вынесли дробовик, всё было завернуто в брезент, погружено в машину, следователь сунул в карман паспорт самоубийцы, и все уехали — председательский джип следом за начальством. Я остался стоять перед своим фургоном. Стало совсем тихо. И был, как уже сказано, великолепный сияющий день. Желтоглазый лохматый пёс, понуриив голову, поплёлся к хижине.

Следом за ним двинулись и мы — я имею в виду дочь хозяйна. Она подошла ко мне, когда всё кончилось, и спросила: помню ли я, как она приезжала в больницу с ребёнком? Мне показалось, что я узнал её. Там был огромный, с кулак, карбункул в области затылка, пришлось сделать большой крестообразный разрез и оставить мальчика в стационаре. «А где сейчас ваш сын?» Она ответила: в городе.

Хибарка оказалась благоустроенной и даже более просторной, чем выглядела снаружи, из сеней мы вошли в довольно опрятную горницу, и не сразу можно было догадаться, что здесь обитал нездешний человек. Над лавкой, между двумя низкими окошками, по русскому обычаю, в общей раме фотографии: пожилая чета, младенец с выгаращенными глазами, парень в гимнастёрке и совсем уже антикварный, жёлтый картонный портрет лихого унтера царских времён, в косо надвинутой фуражке, с чубчиком. Нашёл в сарае, сказала дочка, и это тоже, — и показала на стоявшую в углу прялку с колесом. Кроме стола и печки, в комнате находилась широкая железная кровать, аккуратно застеленная белым пикейным покрывалом, и поставец, служивший хозяину книжным шкафом. Она собрала на стол, внесла самовар. Присев на корточки, растворила нижние дверцы буфета — там стоял строй бутылок.

Теперь я мог её рассмотреть: дочь хозяина была женщина лет тридцати, невысокая, то, что называется пикнический тип: с короткими крепкими ногами, широкобёдрая, круглолицая, я бы сказал, довольно миловидная. Очень спокойные серые глаза, губы пухлые, бледные, никакой косметики, ни серёжек, ни бус. Прямые и тонкие, тускло-блестящие волосы цвета калёного ореха сколоты на затылке. Одета незаметно: светлое сатиновое платье, синяя вязаная кофта не сходитсся на груди.

В деревне привыкаешь к молчанию, но здесь было так тихо, что, кажется, можно было услышать шелесты камыша на озере; до меня донёсся её голос, она говорила вполголоса с кем-то в сенях, и как-то сразу в комнату проник свет пожара. За окном яркозелёный луг отсвечивал металлом, и озеро, и опушка леса пылали зловещим оранжевым огнём, солнце било из-под полога густых серолиловых туч. Хозяйка, оставив собаку в сенях, вошла в горницу. Вдруг стало совсем темно, засвистел и пронёсся ураганный ветер, со страшной силой треснул гром, как будто кто-то чиркнул по небу гигантской спичкой, и жилище осветилось нездешним серным блеском. Несколько времени мы сидели за столом и ничего не слышали, кроме нарастающего, похожего на шум пожара, обложного дождя.

Водка была разлита по стаканчикам, я предложил, как водится, помянуть. Она отпила глоток, я было принялся за угощение. Она ничего не ела. Глядя на неё, и я положил свою вилку. Так мы сидели молча и неподвижно друг перед другом, и постепенно ливень стал утихать. Оловянный свет проник в горницу, это был нескончаемый день. Дождь змеился по стёклам низких окон. Я спросил осторожно о чём-то хозяйку, она смотрела на дверь, странное выражение изменило её лицо, она как будто прислушивалась. Пёс встревожился в сенях, было слышно, как он цокает когтями по полу туда-сюда. Я повторил свой вопрос. Она загадочно взглянула на меня, встала. Прежде я не заметил — рядом с буфетом в углу висело на стене поцарапанное зеркало.

Она приникла к стеклу, послюнив палец, провела по бровям, оглядела себя справа, слева, слегка одёрнула платье и стремительно обернулась. Медленно заскрипела низкая дверь. Нога в заляпанном грязью сапоге переступила порог. Вошёл, нагнувшись, самоубийца собственной персоной, с забинтованной головой.

Вошёл отец; дочь смотрела на него, закрыв рот рукой, спохватившись, бросилась к нему, стала стаскивать с него мокрую куртку, откуда-то взялось полотенце, она вытирала ему лицо, осушила кожу на висках, над бровями, вокруг намокшего бинта. Хозяин сидел на табуретке посреди комнаты. Она внесла лохань с водой, перелила из самовара горячую воду в большой жестяной чайник. «Давай, давай, — бормотала она, — небось измок весь...». Стащила с него кирзовые сапоги, в которых хлопала вода, и размотала потемневшие от влаги портянки.

«А это доктор, нечего стесняться...»

Человек проворчал: «Не нужно мне никакого доктора...»

«Может, перевязку сделать...»

«Не нужно никаких перевязок». Он стоял, высокий и тощий, в лохани, дочь поливала его из ковша. «Постой, чего ж это я», — пробормотала она, сбегала за мочалкой и мылом, тёрла спину, плечи, впалый живот, прошлась вокруг длинного, бессильно отвисшего члена. Весь пол вокруг был залит водой. Несколько времени спустя мы занялись уборкой, я выплеснул в огород лохань с мыльной водой, она подтёрла пол, и понемногу, по мере того, как вещам был возвращён привычный порядок, улеглись суета и тревога. Я не пытался подыскивать объяснение происходящему; молчаливо было уговорено, что никто не будет упоминать о том, что он наложил на себя руки. Игорь Петрович, укутанный во что-то, пил чай с малиной. Хлопоты сблизили нас, мы дружно выпили, а тем временем дождь снаружи перестал, луг заискрился цветами радуги, солнце слабо играло на поверхности озера.

«Кстати, а как... — заговорил я, — как же следовательно?»

«Он в кабине сидел. Не заметил...»

«Не дай Бог, вернётся», — сказала дочь.

«Пускай возвращается. Ну-с, — глядя на меня, произнёс Игорь Петрович и поднял гранёный стакан, — со свиданьем!»

Он выпил, поморщился и потрогал голову.

«Болит?» — спросила она.

«Теперь не болит. Теперь уже не так болит. Всё позади!» — сказал он, усмехнувшись.

Я не удержался и всё-таки задал ему вопрос: почему он это сделал, в чём дело?

Дочь взглянула на меня с немым упреком. Игорь Петрович прищурился и сказал:

«В чём дело? А это не твоё собачье дело. Ты сиди и пей».

Мы молчали. Он добавил:

«Ты врач, ты и соображай. Может, мне жизнь надоела. Может, я психически больной. В чём дело... Всё ему надо знать».

«Отец, — проговорила она, — ты бы лёг...»

В эту минуту мы услышали рокот мотора, громко залаяла собака.

«А! — вскричал самоубийца, — лёгок на помине!»

Следователь из района придвинул к столу табуретку, сел и поставил портфель рядом, прислонив к табуретке. Портфель не хотел стоять. Следователь снова поставил портфель, и опять портфель съехал на пол. Следователь махнул рукой, крикнул, присосанился.

«Как же это так, — начал он, — Игорь Петрович... Нехорошо себя ведёте. Сбежать хотели?»

Дочь молча, поджав губы, принесла чистую тарелку, поставила перед приезжим древнюю гранёную рюмку на высокой ножке.

Следователь задумчиво поглядывал на дочь, скользнул взглядом по её стану, она придвинула к нему миску с маринованными грибами и блюдо с остывшей картошкой.

«От нас не убежишь», — промолвил он.

«Да ладно тебе», — сказал равнодушно самоубийца и налил гостю.

«Вот и доктор тебе то же самое скажет... Что ж, — вздохнул следователь, — за здоровье, что ль... или уж за здоровье поздно пить?»

«Поздно», — сказал Игорь Петрович.

«Тогда давай за хозяйку...»

Она пригубила свой стаканчик, мы все присоединились, следователь взглянул на часы-ходики, взглянул на часы у себя на руке, покачал головой, наклонился к портфелю.

«Хорошо тут у вас на озере, караси, наверно, водятся, щучки...»

Игорь Петрович возразил, что он рыбу ловить не умеет. Да и мелкое озеро, чуть не до середины можно дойти.

Следователь из района извлёк паспорт из внутреннего кармана и добыл из портфеля служебный бланк.

«Хотел у себя там заполнить, да уж ладно. Коли такое дело... Коли вы, можно сказать, с того света явились... Так, — сказал он, — а чернил у вас не найдётся? Забыл, понимаешь, заправить самописку...»

Она принесла пузырёк с чернилами.

«Сего числа... какое у нас число-то сегодня? Господи, как время бежит. Составлен настоящий протокол в том, что мною... в присутствии дочери потерпевшего, понятых, председателя колхоза имени... Как он там у них называется?»

Я подсказал.

«...и главврача участковой больницы обнаружен труп гражданина, тэ-эк-с, какого такого гражданина?» — бормотал он, разворачивая новый и незаношенный, видимо, недавно выданный паспорт.

«Ну-ка покажи, — сказал самоубийца. — Да не паспорт, на кой хер он мне... Протокол покажи».

«А мы ещё не кончили... Вот у меня тут кстати к вам один вопросик».

«Покажи, говорю...»

«Игорь Петрович, всему своё время. Всё увидите, подписывать, конечно, не надо... Раз уж с вами такая приключилась история... А то скажут: как же так, он себя порешил, и он же подписался. Кстати: насчёт хозяйки. Это, если не ошибаюсь, ваша дочь?».

«Не ошибаетесь», — сказал мрачно Игорь Петрович.

Следователь вынул ещё одну бумагу, тетрадный листок, испитый с обеих сторон.

«Нам с вами, ежели помните, уже приходилось встречаться. По поводу вот этого письма. Сами понимаете, сигнал довольно тревожный. Вот мне и хотелось бы узнать, как вы теперь, в свете, так сказать, последних событий, к нему относитесь».

«Как отношусь?» — спросил Игорь Петрович и вдруг с необыкновенным проворством выхватил у следователя протокол и письмо и порвал всё в клочки.

«Меня нет, — сказал он жёстко. — Нет и не было. Ясно? Вали отсюда, пока цел. Поезжай в морг. Там меня и найдёшь. Я там лежу... без головы. И чтобы духу твоего здесь не было, понял?»

Запомнился мне и другой день — сухой, бессолнечный и холодный, листья, усеявшие лужайку перед домом, успели пожухнуть, давно пора было выпасть снегу. День начался, как обычно, с утренней пятиминутки, после чего я обошёл свои отделения — общее, детское, родильное, сделал назначения, заглянул во флигелек, род приюта, где лежали потерявшие память, безродные и бездомные старухи. Ненадолго вернулся к себе. Мои апартаменты были прибраны, натоплены, на плите горячий обед. На столе лежало пись-

мо — единственная новость. Письмо могло подождать. Приём больных был с двух, амбулатория находилась против больничных зданий, через дорогу; войдя в тамбур, я, как всегда, услышал сдержанный говор, плач детей и кашель стариков. Часа два ушло на приём, на разговоры с завхозом о разных предметах. Потом явился шабашник, который подрядился с женой и тёщей перестлать полы в родильном, он стоял на пороге, с шапкой в руке, и следил восторженно-испуганным взором, как я наливаю в стакан воду из графина. «После, — пролепетал он, — не сейчас...», — очевидно, думая, что у меня как у медицинского начальника спирт всегда под рукой и я собираюсь угостить его с места в карьер.

Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша...», — сказал я. Моя сожительница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным столом, сложив под грудью большие красные руки.

«Там письмо вам...»

«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался один. Начинало смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — терпеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.

«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните...»

Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной ученицы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким тазом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком и телосложением.

Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, присела перед буфетом? Она была в лёгком платье, в синей вязаной кофте, ей можно было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы, короткая белая шея и, вероятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.

Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего человека и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не свидетельствовало о том, что ей это удалось.

«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал склонностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё останется между нами».

«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутствовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не написав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испугались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в валенках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или хочет что-то спросить, и когда он стащил с головы свой трех, то волосы у него были редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привыкать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с сыночком к маме».

«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за какого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто разучился жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на работу можно только с пропиской, а

прописаться, только если человек работает. Тут, между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём выдан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем к нам приехать. Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Написано только: “Согласно Положению о паспортах”, а что это за Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимающие вздохи — до первой ссоры; само собой, они догадались, что за птица мой отец. В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снимет трубку и позвонит в милицию, чего проще. Мать зазвала в гости участкового, выставили угощение, отец сидел тут же, мрачный, насупленный, чокнулся раза два с милиционером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. Неизвестно было, где он вообще имел право жить».

Давно уже стемнело, я сидел за своим столом перед электрической лампой, благодетельным даром колхозного председателя.

Она писала:

«Надо было что-то придумывать, жизнь стала невыносимой: днём ссоры, а по ночам вечный страх, что придут проверять документы. И вот тут очень кстати распространилась мода — покупать дома. Якобы можно было без особых формальностей, за бесценок купить развалюху в заброшенной деревне. Мы с отцом стали ездить по субботам, наводить справки, забирались в глубинку, раза два вымокли до нитки под дождём; я заметила, что эти поездки подействовали на него благотворно, он как-то стал понемногу оттаивать. Однажды, когда мы дожидались поезда на безлюдном полустанке, он сказал: “Вот найду себе берлогу и залагу”. Я спросила, что это значит. “А вот то и значит, и ни одна сволочь меня выковырять не сможет”. — “Так и будешь лежать?” — спросила я смеясь. “Ну, не всё время. Гулять буду. Может, ты ко мне когда-нибудь приедешь”. Из этих слов я поняла, что он намерен поселиться там насовсем. “Приеду, — сказала я. — А что ты будешь там делать? В колхозе работать или как?” Он прищурился и переспросил: “Где?..” Я сказала: “В конце концов, ты ведь многое умеешь делать”. — “Да, — сказал он, — я много чего умею”. Мы сидели на платформе, он строгал прутик пе-

ро-чинным ножом. Потом сказал: “Я работать не собираюсь. Палец о палец не ударю. И никто меня не заставит. С голоду подохну, а работать не буду”. — “Ну, а всё-таки: на что ты будешь жить?” — “Э, — он махнул рукой. — Как-нибудь проживу” «.

«Долго не могли подыскать ничего подходящего, приезжали и видели одни печные трубы, всё сгорело во время войны, заросло травой; а там, где что-то осталось, наследники разобрали и вывезли срубы. Как-то раз мы ехали на попутном грузовике, отец сидел в кузове, я в кабине, шофёр стал заигрывать со мной, я отмахивалась, это кто же будет, спросил он и ткнул назад большим пальцем, дед твой, что ли? Подъехали к районному центру, и оказалось, что улица вся состоит из домов, перевезённых из деревни. Отец не хотел искать в окрестностях, хотел куда-нибудь подальше от начальства. Всё же мы зашли в один дом, чтобы разузнать что и как. Вот так всё и получилось. Если бы не зашли, если бы проехали, может, ничего бы и не было, не случилось бы того, что вам известно. Да ведь судьбу, как говорится, конём не объедешь».

«Нам назвали одну женщину, родственницу хозяев, — самих давно след простыл, — и мы с ней довольно быстро сговорились. Спрашиваем: далеко ли? “Да нет, быстро доедете, дорога сейчас хорошая”. Тащились битых два часа. Но он был только рад: чем дальше, тем лучше. Изба оказалась хорошая, крепкая, деревенька тихая, одни старухи, — что ещё надо? Но тут выяснилось, что есть ещё домишко на берегу озера. Наняли кого-то из местных, перевезли кое-какие вещи. Собственно говоря, у отца не было никакого имущества. Я хотела дать ему денег. Он сказал, что у него есть немного».

«И он зажил — не знаю, можно ли сказать: в своё удовольствие. Думаю всё-таки, что да. По крайней мере, никто ему теперь не мешал жить. Ему нужно было только одно — чтобы не мешали ему жить. Так он мне и ответил, когда я приехала его навестить и спросила, доволен ли он, что забрался в такую глушь. Конечно, доволен. А если что-нибудь случится? Он усмехнулся и сказал, что случиться что-нибудь может только когда вокруг люди. “Кто тебе мешает?” Он пожал плечами, его обычное движение, — и я, конечно, понимала, что он хочет сказать: с матерью они бы как-нибудь нашли общий язык, обо мне и говорить нечего; не давало жить начальство. Это слово мой отец употреблял очень широко. Подразумевались, конечно, прежде всего Органы и милиция, я сама видела, как менялось его лицо, стоило ему заметить издали синюю фуражку. Это за

мной, говорил он. — Да ведь он идёт в другую сторону. — Мало ли что, бережёного Бог бережёт, отвечал мой отец, и мы поскорей сворачивали за угол. Он говорил: они специально для этого существуют. Напрасно я твердила ему, что времена теперь уже не те, он только усмехался и кивал головой: дескать, знаем мы... Для него ничего не изменилось».

«Всех людей он делил на пьяниц, милиционеров и стукачей. Я засмеялась: “Так уж и всех?” — “В общем, да”. — “А я? К кому я отношусь?” — “Ты пьяница”. — “Да ведь я не пью”. — “Ты потенциальная пьяница. И можешь, — добавил он, — этим гордиться. Пьяницы — это единственные порядочные люди”. Может, он не так уж был неправ, как вы считаете?»

«Что касается милиционеров, то подразумевалась не только милиция, но и вообще любое начальство. Иногда он говорил просто: “они”. Они замышляют то-то, сделали то-то. Они — это секретари, директора, заместители, председатели, заведующие всё равно чем, или какая-нибудь, с выщипанными бровями ведьма в отделе кадров, какой-нибудь начальник станции или вагонный контролёр; все были заодно, и все против таких, как он. От всех надо было ждать, что они обязательно к чему-нибудь придерутся. Начнут проверять анкету, звонить, выяснять, водить носом. “У них, — говорил он, — знаешь, какой нюх?” Спасайся кто может. Они — как небо над нами, тяжёлое, всё в тучах. И в конце концов действительно получалось так, что все, от самых высших руководителей до мелкой сошки, были представителями какого-то вездесущего таинственного начальства, а самым зловещим, самым коварным и беспощадным начальником для моего отца был, наверное, Бог. Именно он “мешал жить”. Конечно, если бы у отца спросили, верит ли он в Бога, он бы только усмехнулся. Да и кто верит-то? Но на самом деле получалось, что как раз он-то больше всех и верил».

«Когда он поселился, мы условились, что он сам меня пригласит, он хотел осмотреться, хотел, чтобы люди в деревне привыкли к нему, а главное, привыкли к мысли, что он живёт на законных основаниях. В колхоз его, конечно, никто не гнал. Он умудрился кое с кем позна-комиться. К моему удивлению, оказалось, что он звонит из сельсовета. Он договорился с председателем, за мной прислали машину на станцию. Я приехала к нему с полными сумками, но было видно, что он не голодает, в избушке тепло, перед домом поленница, он завёл себе собаку. Я устроила генеральную уборку, на дру-

гой день мы гуляли — чудная природа, и я благословляла судьбу, что он, наконец, нашел себе пристанище. С тех пор я навещала его, иногда с мальчиком; один раз, если помните, пришлось ехать к вам в больницу с нарывом на затылке. Мой отец был очень ласков с внуком, насколько он вообще был способен относиться к кому-нибудь ласково и без обычной своей подо-зрительности; ходил с ним по грибы, ловил рыбу — правда, ничего не поймали, — даже отправился с ним как-то раз на охоту с двустволкой, которую выменял у какого-то пьяницы. Всё напрасно: мальчишка так и не привык к нему, дичился; тут, я думаю, было сильное влияние бабушки. Моя мама была недовольна тем, что я поддерживаю отношения с отцом. А тут и зима подступила; я стала приезжать одна».

«Как она догадалась о том, что там назревало и должно было в конце концов случиться, ума не приложу, хотя, конечно, у баб на эти дела всегда тонкий нюх. Меня она всегда встречала недоброй улыбкой. Никогда не называла его своим мужем, и никогда не говорила: твой отец. “Ну как там твой?” И больше никаких вопросов не задавалось».

Дойдя до этого места, я почувствовал, что вот-вот произойдёт нечто важное — или уже происходит. Без шапки, в наспех наброшенном пальто я сбежал вниз и вышел на крыльцо. В дымно-чёрном небе кружились снежинки, всё чаще и гуще. Сиреневый снег медленно падал, первый снег, как в детстве, летел на ладонь и ресницы, снег лежал на земле, на ветвях, укутал крыши, тишина и покой простёрлись над всей округой, и сквозь мглу слабо светились огоньки больничных корпусов. И каким-то мороком показалась мне история, в которую я оказался втянут, хотя не имел к ней ни малейшего отношения. Далёкое апрельское утро, поездка с председателем, озеро в камышах, и сарай, и следовательно, и закутанная в чёрный платок дочь, и казнивший себя, неизвестный человек, — всё как будто приснилось. Я поднялся к себе, лампа горела на столе, никакого письма не было. В растерянности, и в то же время чувствуя тайное облегчение, даже с каким-то злорадством, я озирался вокруг, заглянул под стол, чтобы убедиться, что там его нет. И в самом деле, ничего не увидел. Дьявол играл в прятки. Письмо лежало у меня в кармане.

«Однажды я приехала, как бывало нередко, на попутной машине, шла от деревни пешком, вхожу, он лежит на кровати. Я разулась, развязала платок, распаковала сумки. Он сказал: “Отдохни, приляг”. Я легла рядом с ним. Стала что-то рассказывать, он пре-

рвал меня. “Тут такая история, — сказал он. — Меня вызывали”. — “Кто вызывал?” Оказалось, мальчишка принёс повестку из военкомата. А до военкомата в район ехать и ехать. Мой отец пришёл в сельсовет, чтобы позвонить по телефону, спросить, в чём дело. Нет, сказали, это не военкомат, а вот вы тут подождите. Через два часа приехал какой-то начальник. Я уже объяснила вам, что для отца все были начальниками».

«Я спросила, о чём же его допрашивали. Нет, это не был формальный допрос, никакого протокола не составляли. С ним хотели побеседовать. “Ну, уж я-то знаю, что это значит, когда они говорят — побеседовать. Это даже ещё хуже, чем допрос”. Я спросила, почему. “Да потому, что они потом могут написать всё что хотят”. — “Но ведь и в протоколе можно понаписать что угодно”. — “Ну да... но можно всё-таки сопротивляться... не подписывать. А тут и подписи не надо. Побеседовали, и всё». Я продолжала его расспрашивать, но он что-то скрывал. Так о чём же всё-таки беседовали? Кто это был? “Следовательно, кто же ещё. Из района”».

«Я знала его мнительность, стала его успокаивать, говорила, что это ровно ничего не означает. Живёт посторонний человек, ползут разные слухи, надо проверить, что за личность, вот и всё. Знают ли они, что он вернулся из заключения? Спрашивали о паспорте, о прописке? Нет, не спрашивали, да и какая в этом медвежьем углу может быть прописка. О том, что он сидел, знают. Но это их не интересует. А что же их интересует? Их интересует, посещают ли его родственники. Он ответил, что у него родственников нет. Но кто-нибудь всё-таки приезжает? Да, приезжает. Дочь. И всё? И всё. Я чувствовала, что он чего-то не договаривает».

«Дорогой доктор, вы, конечно, спросите: было или не было? Да, было. Не тогда, а позже. Я не могу сказать, что он меня изнасиловал или что-нибудь такое, всё произошло, как вообще всё происходит в жизни: помимо нашей воли. Но я забегая вперёд».

«Я долго не приезжала, мальчик снова болел, потом какие-то дела; он тоже не звонил; я забеспокоилась и позвонила сама в сельсовет. Мне ответили, что отец давно не показывался. Я приехала и спросила, в чём дело. Куда он пропал? Никуда не пропал. Просто не хотел меня видеть. Чем же я его прогневила? Ничем; у тебя, сказал он, своя жизнь. Мы немного прошлись, осень была в самом начале, он сидел на замшелом пне и строгал прутик. Вечером мы поужинали, выпили водки, я спросила в шутку: наверное, он кого-нибудь себе нашёл в деревне? Давно пора».

«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хозяйничает, — была бы я рада?»

«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, — ведь это и было то, о чём он мечтал? — вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёт и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, — сказала я. — Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” — “Сплю”. — “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».

«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».

«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».

«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала — на разведку”. — “Мать? приезжала?” — “Да”. — “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” — “Не знаю, может, и видели”. — “Откуда же это известно?” — “Ниоткуда. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа”».

«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».

«“Ты что, — сказала я холодно, — рехнулся? Ты это всерьёз?” Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил — как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся”».

«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” — “То самое и хочу сказать. Подойди ко мне”. — “Можно говорить и оттуда”. — “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме.

“Ты куда?” — спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла... “Ты мне дочь? — спросил он. — Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет...” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” — “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».

«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, — он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, — и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто ооченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела — от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».

«А наутро... что же было наутро? Странно сказать — ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться... Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей — мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».

«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так — я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, — хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились — до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, —

или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. — “Почему?” — спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель — среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвоночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, — сказал он, — насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею... Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, — сказал он, — я так и знал. Любить меня нельзя”. — “Нельзя”, — сказала я. Он ответил со злобой — и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х... мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, — сказала я, — ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла — он лежал, подложив под голову жилистые руки, — и сказала: “Да, ты прав. Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость — это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?” «. Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью...”»

«В следующий раз — я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, — в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. — “Куда?” — “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места — там” «.

«Я встревожилась, но на мои расспросы — что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? — он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там... что ж, — он вздохнул, — там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольнаёмным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен...” «

«Я сказала: Мне».

«Тебе? Может быть... Знаешь что? — проговорил он. — Я всё обдумал. Поедем со мной». — “ С тобой?” — “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, — сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, — а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».

«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата...»

Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением; криминальный аборт. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; по всей вероятности, понадобится перелить кровь.

СТРАХ

Время от времени я вспоминаю об этом, но не в силу определённой последовательности мыслей, как, например, побрившись, вспоминают, что пора завтракать; безо всякого повода, без напоминаний, на работе, дома или в толпе, с бесцеремонностью нежданного посетителя осеняет мысль о потусторонних силах.

Сразу же оговорюсь, что я вовсе не имею в виду политическую сторону дела. То, о чём идёт речь, — это вовсе не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не те многоярусные громады без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придаёт им сходство с колумбариями. Суть дела не меняется от того, что в разное время Силы принимают облик того или иного навязанного извне террора, и медиум не тождествен голосу, который вещает через него. Став, таким образом, на точку зрения, близкую спиритуалистической, я рискну утверждать, что не причина породила следствие, а следствие, если можно так выразиться, конструирует причину.

Очевидно, для каждого когда-нибудь наступает минута, когда перед ним, так сказать, рвётся пополам покрывало Майи, когда он оказывается лицом к лицу с леденящей очевидностью факта. Боже милосердный, как же мы были молоды, когда это случилось с нами! Предыдущее поколение было искалечено войной, мы же с молодых ногтей были ранены страхом, мы пропитались им, он стал нашей сущностью и нашим ежеминутным бытием. И, однако, никого из нас не убило; мы живы и тянем по-прежнему нашу жизнь — лишь уверенность, что мы слышали трупный запах, никогда не покидает нас.

Вернёмся снова к тем дням, восстановим мысленно ситуацию, когда собственно ф а к т а нет: никто ничего не видел и ничего не знает наверняка. Эта реальность недоказуема; труп не разыскан; быть может, он лежит под полом или спрятан в холодильнике; и всё же каждый может сослаться на великое множество доказа-

тельств. То там, то здесь кто-то исчез, и сведения из разных источников неожиданно совпадают. Это — как в толпе, над которой реет луч прожектора: не каждому ударил он в глаза, но сколько их, видевших над собою свечение воздуха. Да, вот, пожалуй, самое удачное сравнение — луч, рыщущий над головами.

Однако главное доказательство — внутри; как я уже сказал, работа тайных учреждений лишь реализует то, что гнездится в душе. Как голос совести служил доказательством существования Бога, так страх сам по себе — доказательство существования Сил: страх привлечь к себе внимание, быть подслушанным, высвеченным, страх наткнуться на луч, который проткнёт и пригвоздит, как булавка пронзает дёргающееся насекомое. Так смутное чувство мистической вины (перед кем и в чём?) обращается в постулат государственной неполноценности.

О том, что в подвале труп, об аппаратах, генерирующих лучи, знали многие, но знали как-то теоретически, как о тайфуне в Тихом океане. Близость губительного луча ощущалась внезапно, она была подобна неожиданному появлению грабителя. Страх охватывал мгновенно, он всецело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности, когда вдруг пропадает звук в кино: окружающие беззвучно шевелят губами, беззвучно падают предметы. Этот шок ожидания — кто его не помнит? Он похож на тремоло в оркестре. В дрожании наэлектризованного воздуха, в безмолвном грохоте стучащей в висках крови — перед глазами, в мозгу сияют два слова: в а м п о в е с т к а. Вызов в колумбарий. Предчувствие, почти уверенность: придёшь домой — и он на столе.

За этой минутой иррациональной неподвижности следовала эпоха иррациональной деятельности. Страх гнал вас вперёд, как ветер — листья по тротуару, он высекал поступки, но скрытый смысл этой активности был внятн лишь тому, кто так же, как вы, ощутил близость луча.

Это — время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов, когда страх расцветал цветами патриотизма. Убеждённые речи, каменная верность догме. Донос как встречная мера борьбы с предполагаемым доносчиком — превентивная война всех против всех. Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснётся тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преис-

поднюю. Эта уверенность подвигала на наслыханные свершения. Это непрерывно дрящущее самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцевине которого — страх...

Страх обирал вокруг себя гарантии лояльности; он исходил из уст ораторов, как запах гнилого зуба. Он взывал, как к последней правде, к священному имени Обожаемого — старого и, увы, смертельно напуганного человека! Вот значок с профилем Обожаемого — нацепить не мешкая. Вот портрет его на обрывке газеты в отхожем месте: убрать, утопить, пока не заметили. (Как будто не всё равно будет, когда о н и придут). Это также время опустошений в письменном столе, горки мелко порванной бумаги, лихорадочный поиск, листание книг, где усмехается вечная крамола классиков. Репетиция обыска. И до поздней ночи шумит вода в уборной.

Но странное дело, доказательства преданности выкладываются на стол, как козыри, одно за другим. А с кем игра? Кресло партнёра пусто. Силы испарились, их нет, их не было. Луч ушёл в облака...

Итак, позвольте мне перемотать ленту назад на двадцать лет, когда мир, безнадёжно старый, казался нам юным, потому что мы сами были юны. Как и полагается в таких случаях, здесь только два действующих лица — он и она.

Должно быть, только однажды возможна любовь, которая обречена искать утolenия в самой себе, которая отрекается от желанья и радостно и смиренно приемлет судьбу, любовь, готовая до конца сублимироваться в обожание и восторг. Какое уж там желанье, когда я едва осмеливался взглянуть на мою героиню и единственное, о чём мечтал, — дать ей какое-нибудь неслыханное доказательство верности. Только во сне она возникала передо мною вся, невысказанно близкая, — и, просыпаясь на рассвете, я был угнетён стыдом и физическим ощущением уже совершившегося греха и тяжёлого, изнурительного счастья.

Жизнь её была эфирна и таинственна. После лекций, легко сбегая в толпе подруг по парадной лестнице аудиторного корпуса, Светлана — назову её этим именем, модным в те годы, — исчезала в недоступном для меня мире, полном света и музыки, и на другой день я ревниво искал исподтишка на её лице отсвет её неведомых приключений. В сущности, я не знал Светлану, она была для меня гораздо больше символом женственности, чем знакомой девуш-

кой. Чутьём она понимала это и, польщённая, не питала ко мне слишком тёплых чувств. Девушки этого возраста и социального круга, насколько я могу судить, редко увлекаются сверстниками, которые кажутся им детьми. Думаю, что она забывала обо мне начисто, как только я исчезал у неё из виду; однако случилось так, что она сама позвонила ко мне домой и пожелала со мною встретиться. Это произошло в конце июня или в первых числах июля, в самом начале студенческих каникул.

Не стану утверждать, что этот год был отмечен особым знаком. Помню ужасную жару, светлые, пожалуй, слишком светлые для нашей полосы ночи. С утра каблучки женщин отпечатывались на асфальте, солнце играло в тысячах стёкол. Газеты пестрели некрологами умерших от кровоизлияния в мозг. И по ночам над городом мерцал загадочный зодиакальный свет.

Как сейчас вижу поздний вечер, пустую комнату — родители уехали на дачу, — за столом неподвижную спину высокого, сутуловатого молодого человека и затылок с косицами волос. Это я. Передо мной, опёртая на хлебницу, стоит книжка Ганса Фаллады под названием «К а ж д ы й у м и р а е т с а м з а с е б я».

Как, вы помните, в ней рассказывается о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и потому тот, кто их произносил, был обречён заведомо, с самого начала. Обречён задолго до того, как был выслежен и арестован тайной полицией.

В этот день я с утра читал этот роман, которому суждено было сыграть какую-то неясную, но важную роль в моей жизни, и находился под сильным впечатлением от него. Тыча вилкой мимо тарелки, я дошёл до того места, когда комиссар объясняет, что бывает с теми, кого схватит гестапо. (В эту минуту раздался телефонный звонок).

«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы, и ты будешь всё время смотреть на него и изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они будут непрерывно допрашивать тебя, они будут меняться, но тебя никто не сменит, как бы ты ни был измучен. А когда ты упадёшь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя солёной водой, а когда...»

Телефон звонил и звонил в коридоре, он надрывался, как плачущее дитя. Я бросил вилку и пошёл из комнаты. «Да», — сказал я раздражённо. И вдруг услышал голос Светланы.

В моей ладони, под ухом шевелился этот тихий, прелестный голос, как будто прилетевший с другого края вселенной, а я стоял и слушал с внезапно и безумно забившимся сердцем. Я стоял, и голова у меня шла кругом. «Да, да, — пролепетал я, — слышу, это я... Ты разве в городе?» Она ответила, что не может долго разговаривать, она звонит из автомата. Да, она не уехала, планы расстроились. Ей скучно.

Ей скучно! Ей нужен я! Повесив трубку, я понял, что моя жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Я воротился в мою пустую комнату и, не зная, за что взяться, прошагав битый час из угла в угол и кругом стола, уверился, наконец, в том, что меня любят. Что ещё мог означать этот неожиданный звонок, эта смелость, с которой она, поборов стыд, сама сделала первый шаг, этот волнующийся — сам слышал — голос! В тарелке лежали остывшие макароны, раскрытая книга осталась стоять перед хлебницей. Настроение переменялось, и ничто из того, о чём я думал час тому назад, больше меня не занимало. Полицейский комиссар умер, кого теперь интересовал вкрадчивый шорох его речей? В первом часу ночи, под брызжущим светом оголённой лампы я уселся бриться, потому что одним из предрассудков моего мужского кокетства было убеждение, что для того, чтобы нравиться, нужно быть чуточку небритым.

Утром, заложив руки под голову, я предавался сладким и волнительным грёзам. Мысленно я произносил длинную речь, в которой признавался ей, молча и страстно слушающей, в своих чувствах. За этим объяснением последовала яичница, я проглотил её в полной прострации.

Постепенно небо за окном превратилось из синего в белое, городдохнул в окно жарким бензином. Все стёкла в доме напротив метали молнии. Свидание было назначено на двенадцать часов. Счастливый любовник скитался по комнате и коридору, мочил голову под краном, расчёсывал и лохматил волосы — убивал время. Вдруг паника овладела мною, я подумал о пробке на перекрёстке, о похоронной процессии, об аварии в метро. Пулей вылетел из комнаты, запрыгал по лестнице и понёсся, опережая прохожих, вдоль тротуара.

Сначала я бродил по улицам, а потом долго стоял под липой напротив выхода из метро «Охотный ряд». Я выпускал дым, почти не затягиваясь и стараясь лишь подольше протянуть это занятие: она была увидеть меня равнодушно курящим и в задумчивой отрешённости глядящим вдаль.

Три папиросы одна за другой истлели до мундштука. Преодолевая отвращение, я закурил червёртую, и в эту минуту появилась Светлана.

Она выбежала мне навстречу из толпы, сновавшей у дверей, с лёгкой тенью на лице, с блестящими глазами глубокого тёмно-медового цвета и неуловимым трепетом в углах маленького рта. В руках у неё была элегантная сумочка, и я заметил, что она подкрасила губы. Это делало её похожей на взрослую женщину. Но, Боже, как молоды мы были в тот далёкий июльский день!

«Привет, — сказала она. — Я, кажется, опоздала. Ты давно здесь?»

Я пробормотал: «Привет».

И мы двинулись по длинной дуге мимо Большого и Малого театров, она — открывая и закрывая сумочку, я, занятый своей папиросой. Так мы дошли до угла, откуда открывался вид на площадь, которую тогда ещё не украшала высокая фигура в гранитной шинели до пят.

«Я думал, ты уехала в Крым», — сказал я. Было известно, что отец у Светланы важная шишка.

Она ответила, что отец заболел.

Я спросил, что с ним.

«Так, — сказала она, — сердце. А ты что делаешь?»

«Да так, ничего».

Мы ещё поговорили в этом духе, но это был разговор, подобный огоньку газовой горелки, едва заметному в ярком свете дня. Вдруг почувствовалась жара раскалённого города; в толпе нас минутно толкали. Какой-то хлыщ, обогнав нас, обернулся и бесцеремонно оглядел с головы до ног мою подругу. Мы перешли улицу и уселись на скамейке в сквере возле памятника Первопечатнику, и тут я окончательно увял, погрузившись в позорное безмолвие, — чахлый огонёк потух, но газ, газ шёл из горелки! Нужно было немедленно поднести к ней зажжённую спичку.

И я почувствовал, что роковой момент наступил: от меня ждут т е х слов, я должен произнести их во что бы то ни стало или я буду

презрен до конца моих дней; всё что говорилось до этой минуты, все эти ненужные вопросы, ответы — всё было лишь формальностью, предисловием. Вот она, решающая минута, другой такой не представится. При этой мысли сердце забилося, как сумасшедшее: я почувствовал, как в груди у меня с чудовищной быстротой и ловкостью подскакивает и бьёт в голову резиновый шар, наполненный ртутью.

Краешком глаза я видел платье Светланы — гладкую натянутую ткань слегка волнуемую её дыханием, под тонкой одеждой угадывалась её грудь, я отвёл глаза. Мне захотелось убежать, мучительно подмывало спохватиться, вскочить, — вокзал, поезд, больная тётка! Убежать и где-нибудь в одиночестве, на свободе предаться вновь мечтам о моей невысказанной любви. С чувством человека, впервые в жизни собирающегося прыгнуть с парашютом, красный как рак, я уже отворил уста, чтобы пролепетать: «Знаешь, Света... я давно... хотел тебе сказать...» Тут я почувствовал, что не в силах сделать это, и дрожащими руками, суровым мужским жестом извлёк из кармана папиросы и начал закуривать. Горелка была выключена, и я, худо ли, хорошо ли, получил отсрочку.

Мы наблюдали за старухой уборщицей, которая медленно двигалась мимо нас, шаркая по песку обломком метлы. Её подол мотался возле скамейки напротив, на которой сидел очень старый еврей и безостановочно жевал провалившимся ртом.

Ганс Фаллада пришёл мне на помощь. Я спросил: читала ли она?.. Не читала?

Я дезертировал. Мне даже показалось, что на лице Светланы мелькнуло разочарование. И я заключил с самим собой такое соглашение: вот расскажу, а потом...

В самом начале войны в Берлине жил один краснодеревщик. Однажды он получил известие, что его сын, солдат, убит во Франции. И вот этот человек, тихий, незаметный, никогда не интересовавшийся политикой, затеял странное и опасное предприятие: он купил нитяные перчатки и, надев их, с большим старанием печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки.

По понедельникам, перед работой, он разносил свои открытки по городу, оставлял их в подъездах домов или бросал в почтовые ящики. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время полицейский чиновник, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось несколько сотен, и всё они, сложенные стопками, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать: люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку. И постепенно город покрылся флажками, и кольцо их сжималось вокруг района, вблизи улицы, где не было найдено ни одной открытки. На этой улице жил Невидимка.

«Ах! — воскликнула Светлана. — Кажется, я забыла ключи».

Я осёкся. Она нервно рылась в сумочке.

«Слава Богу! Здесь...»

Обескураженный, я молчал. Ждал, что она хотя бы окликнет меня, спросит, что было дальше. Она не спросила. Какие-то иные заботы занимали её. Не было ни малейшей попытки вдуматься в то, о чём я рассказывал; книга и жизнь — для неё это были вещи, разделённые тысячами вёрст.

Снова воцарилось безмолвие. Светлана встала. «Ну что ж...» — произнесла она нерешительно. У меня упало сердце. Она уходит — всему конец. Слюняй, тряпка!

«П-подожди, — вырвалось у меня. — Ты спешишь?»

«Нет, но..»

«Постой. Слушай-ка... Может, пойдём ко мне?» — выпалил я с внезапным вдохновением.

Она слегка подняла брови. Я бросился уговаривать её — жалким, молящим, почти плачущим голосом. Упомянул робко, что дома никого нет.

И вот мы стали сходить со ступеней, — монах Первопечатник смотрел нам вслед с пьедестала, старый еврей исчез. В этом шестивии мне почудилось что-то заговорщическое; опустив ресницы, она шла рядом со мной, платье трепетало вокруг её ног. С неба струилось на нас расплавленное олово, стоял июль 1948 года — безумное, смертоносное лето.

Мне предстоит описать странное приключение, которое может показаться неправдоподобным. Имею в виду не то, что произошло с нами, но самого себя, постыдные чувства, которые испытал я при первой встрече с безглазым роком. Я оставляю свой рассказ без комментариев, предоставляя каждому судить о нём с высоты — или из низин — собственного житейского опыта.

Словно на крыльях, полетел я на кухню вскипятить чай и вымыть замызганные тарелки. В квартире не было ни души. В кухне на столе лежала записка: «Лёня, звонила тётя Дуся, велела передать маме...» Я швырнул её в ведро.

Но когда я вернулся, оказалось, что она по-прежнему стоит у окна, устремив неподвижный взгляд в белое небо. Сердится на себя. Жалеет, что пришла! Я окликнул её; она медленно, с видимым трудом повернула ко мне голову.

И тут я, можно сказать, вынырнул из тумана грёз. Упал с облаков.

«Что с тобой, — пролепетал я, — Света?»

Её лицо было залито слезами.

«Что случилось?»

Она молчала. Сбитый с толку, я топтался на пороге и чувствовал себя виноватым — но в чём?

«А?»

«Ничего».

Тряхнув головой, она подошла к столу, вытерла глаза, высморкалась, щёлкнула сумочкой. Села. Я терялся в догадках. Машинально я смотрел, как она оправила платье на коленках.

«Леня, — сказала она. — Мне нужно тебе кое-что сказать».

Теперь было слышно, как в конце переулка гудит автомобиль. Где-то ворковал радиоприёмник. Внезапная мысль пронзила меня. Она беременна. У неё связь с киноартистом; родители ни о чём не подозревают. Вот зачем я ей понадобился. Она решила открыться мне.

Вместо этого она сказала:

«Лёня, у нас несчастье. Дело в том, что мой отец арестован».

Стало тихо, так тихо, что звон крови в сонных артериях был подобен горохоту водопада. И вот без звука и скрипа открылась дверь, за дверью стояла белая змея. Голова её была изваяна из алебаstra, а глаз у неё не было.

Мы молча смотрели друг на друга.

«Почему ты стоишь? Сядь».

Я пробормотал:

«У меня чайник на кухне».

«Не надо. Сядь».

Мало-помалу звуки мира стали возвращаться ко мне, автомобиль по-прежнему сигналил. Шофёр сошёл с ума!

«Вот так история, — сказал я. — И когда?»

«Две недели назад».

«А... за что?»

Она пожала плечами. «Откуда я знаю. Неизвестно!»

«Но ведь... — я замаялся, — должна же быть какая-то причина».

«Какая причина, — сказала она зло. — Он не вор и не грабитель».

«Да, да, конечно».

Я кивал головой, стараясь собраться с мыслями. Разумеется, это было известно нам с детства. Слова, привычные, как «Широка страна моя родная», тотчас всплыли в мозгу. Но, Боже мой, как всё это было далеко от нас. А теперь — здесь, рядом?

Я обернулся; дверь была закрыта. Но змея была тут, она стояла за дверью.

«Понимаешь, — проговорила Светлана, — у меня было такое чувство, будто я проснулась случайно. Будто меня оторвали от важного дела... а то, что там происходит, ерунда, пустяки».

«А они?»

«Они-то не спали. У них свет горел. Потом слышу, отец говорит: «Это за мной». А у меня в голове всё та же дурацкая идея: когда они, наконец, потушат лампу? Вдруг звонок, и сразу же начали стучать в дверь. Видимо, уже второй раз звонили, в первый раз я не слышала. Папа выходит в коридор, он уже был одет, и спрашивает, кто там. Они отвечают: «Проверка паспортов». Понимаешь, у меня из головы не выходят его слова: «Это за мной». Выходит, он ждал?»

«Ну, а дальше?»

«Дальше — вошли двое. Лиса и кот...»

«Кто?» — спросил я.

«Лиса и кот, — повторила Светлана, — ты что, забыл? В массах, с громадными пистолетами, расширяющимися на концах. В болотной тине, х-ха-ха!»

Ни с того ни с сего её начал душить смех.

Она ослабела. Мы сидели рядом, я говорил ей что-то обнимал её узенькие плечи, и долго-долго в пустой комнате, пронизанной пыльным лучом солнца, звучали наши тихие голоса. Она рассказывала мне о себе, о маме, о давнем детстве, о любимых игрушках, о

дней рождения, и всё это казалось мне бесконечно важным, дорогим и прекрасным. Стыд, скованность, неуклюжесть — всё развеялось, стена между нами рухнула; наши души были открыты друг другу. В этом одиночестве вдвоём, среди враждебного и жестокого мира, мы чувствовали себя бесконечно близкими, мы были не товарищами, нет, и не влюблёнными, мы были осиротелыми детьми, сестрицей Алёнушкой и братцем Иванушкой, в тёмном лесу, на берегу ручья.

В кухне громко сердился чайник.

«Иди, выключи, — сказала она. — Он весь выкипит».

«Пусть».

«Иди. Потом возвращайся ко мне».

Я вернулся и сел возле неё, но что-то мешало мне снова привлечь её к себе. Она положила мне голову на плечо, и некоторое время мы сидели молча.

«Знаешь, я, наверное, уеду, — сказала Светлана. — Нас куда-нибудь сошлют, это неизбежно».

Я горячо разубеждал её: причём тут они? Ведь они-то уж явно ни в чём не виноваты.

Она возразила:

«Так было со всеми».

«А как же университет? — спросил я растерянно. — А... я?»

«Ты? — Она пожала плечами, сделав вид, что не поняла моего вопроса. — А причём тут ты? Ты как жил, так и будешь жить».

Но именно потому, что она так истолковала мой вопрос, предательское чувство вновь как будто на миг лизнуло меня холодным языком; некий голос произнёс внутри меня отдельно и чётко:

«Знакомство с семьёй врага народа».

Я, конечно, прогнал тотчас эту мысль.

Склонив голову, так что золотистые волосы закрыли ей щёки, Светлана рисовала круги и восьмёрки концом туфли на полу. «Пора в путь-дорогу... дорогу дальнюю, дальнюю...» — напевала она. Я посмотрел сбоку на неё.

Нет, не эти картины — закрытые наглухо вагоны, дождливая ночь и солдаты у колёс — поразили моё воображение; я представил себе бесконечную, дикую и бесприютную страну, покрытую снегом степь, густые леса, тоскливые деревни. Ничто, как ни стыдно в этом признаться, — ничто не пугало и не отвращало нас до такой

степени, как наша собственная страна. Огромная и страшная, и беспомощная вместе — гигантское ископаемое, бронтозавр, с трудом приподнявшийся на передних лапах. Да она и не была нам родиной — во всей России для нас существовала только Москва. Она одна казалась нам родиной и единственным местом, пригодным для жилья. Покинуть её? Отправиться на Север, на Урал, в Сибирь? Да пускай нас сошлют на Святую Елену, — мы не будем чувствовать себя такими обездоленными.

Снова наступило молчание.

«Интересно получается, — сказала Светлана. — Раньше, бывало, телефон трещит без умолку, а сейчас! В субботу у мамы был день рождения. Никто не пришёл. Кому ни позвоним — нет дома. В нашем доме чума. И когда они успели узнать, что у нас чума?..» И, подняв ко мне глаза, полные слёз, точно озёра, вышедшие из берегов, она улыбнулась. Тогда я взял её за щёки и медленно, ощущая солёный вкус на губах, поцеловал сначала одно озеро, потом другое.

Она не сопротивлялась. Я целовал её в глаза, в лоб, в щёки, не находя выхода своему чувству, как слепой, который ищет дверь и тщетно стучит клюкой по стенам; и лишь когда, запрокинув голову, с закрытыми глазами, почти произвольным движением она отдала мне свои губы, я догадался, что только э та нежность способна противостоять бесконечному горю жизни. Мы не могли больше сидеть на стульях, в углу комнаты был диван, но я не представлял себе, как туда перейти, не возвратившись, хотя бы на минуту, в обыденный мир вещей и слов и не оскорбив её целомудренное забытьё. Тончайшим женским инстинктом она поняла моё колебание и... должно быть, решила на маленькую хитрость, — а я, я тоже понял её, понял и то, что не должен показывать этого; между нами возник заговор — против нас самих.

Она отстранилась от меня: «Нет. Не надо». Но я по-прежнему, как слепой, тянулся к ней. Мои пальцы обхватили её затылок, путаясь в завитках рыжеватых волос, скользили вдоль шеи. «Нет!» Она вскочила и, не зная, куда деться, села на диван. Я подбежал к ней и опустил на пол у её ног.

Теперь я шёл к цели настойчиво, неудержимо, как будто только что догадался о ней, и с подспудным знанием, что насилие будет

мнимым. Там звали боль, там с трепетом готовились принять её, как неизбежное, как мученический венец. Я приподнялся, её колени впустили меня, низ живота встретил меня, прохладный, выпуклый, нежно-упругий, и в глубине его таилось золотистое лоно. В тот миг я не был мужчиной, и не мальчиком, не студентом, сыном приличных родителей, а только одинокой плотью, тоскующей о материнском чреве, и я рос, из новорождённого младенца, копошащегося у её ног, я вырос в неотвратимое. Боли не было; её руки быстро и заботливо сделали всё что нужно, она ждала боль, искала её... но боли всё не было, не было, я блуждал и ошибался, — пока Бог, смотревший на нас из окна, не сжалился надо мной, над нами. Я услышал сдавленный стон... В одно мгновение всё было кончено. Жизнь покинула меня. В последних содроганиях я опустился на дно глубокого водоёма, в мягкие водоросли. И она разделила со мной мою смерть.

Едва заметным движением бедра она дала понять, что ей тяжело. Я перевалился на край дивана, лежал спиной к ней. Через раскрытое окно к нам донеслись звуки города. На полу, возле самого моего лица, метались, насакивая друг на друга, две мухи. Тихий, до жути отчётливый мир подъехал и стал передо мной во всём своём карикатурном убожестве.

Мне было стыдно. То, что случилось с нами, казалось мне отвратительным: спешка, трясущиеся руки... Как мы теперь взглянём друг другу в глаза?

И за всем этим — другая мысль. Теперь мы связаны, скованы цепью. А вдруг на самом деле (но почему же вдруг, ведь она сказала, что это бывает со всеми) что-нибудь стрясётся со Светланой, и она рухнет вниз сквозь этажи, — значит, и я?.. «У нас в доме чума», — вспомнилось мне.

Как ни странно, я чувствовал сильный голод. Это отвлекло меня. Я пошевелился.

«Свет...»

Она отозвалась откуда-то издалека:

«Ну?»

«Ты спишь?» — задал я нелепый вопрос.

«Нет».

«Слушай... может, что-нибудь перекусим?»

Моё предложение повисло в воздухе, как протянутая рука. После долгой паузы я спросил: «Ты на меня сердисься?»

Её голос ответил: «За что?»

Она коротко вздохнула.

«Уходи».

Я не понял.

«Ну, чего ты лежишь, — сказала она. — Мне нужно привести себя в порядок. Иди, я не смотрю».

Я встал и с камнем на седце, придерживая одежду, выбрался в коридор. Я вышел на кухню. Там я долго сидел один на один с громадным никелированным чайником.

Из чайника на меня глядел уродец с огромной опухолью вместо носа, которая надвигалась на меня, словно локомотив на одинокого пешехода. Порывшись на полках, я нашёл засохшие соседкины галеты, после чего, с грохотом разгрызая их, предался размышлениям.

Из окна кухни был виден наш двор, где каждый уголок был частицей детства. Пожарная лестница — я чувствовал на своих ладонях её железные перекладки; а вон старый, испещрённый выбоинами и надписями мелом кирпичный брандмауэр. Свет косо падал на него, летний день переломился. С необычайной ясностью мой мозг выложил передо мною, как карты на стол, события этого дня. Их было, в сущности, только два, — странно связанные одно с другим, они в то же время противоречили друг другу: ночной стук в дверь — и мы вдвоём на диване.

Итак, свершилось — в другое время я был бы счастлив и горд: я, наконец, познал сближение с женщиной. Воспоминание уже не отвращало: напротив, оно разгоралось с каждым часом; закрыв глаза, я видел лунно-белую кожу Светланы, золотистый треугольник волос, эти подробности волновали даже больше, чем то, что последовало за ними. Чем отчётливее я их видел, тем бледнее становилось воспоминание о том, что последовало. Я не испытал наслаждения — оно потонуло в торопливом угаре; но в следующий раз... Я поймал себя на том, что думаю, каким он будет, этот следующий раз, — и когда?.. Но кто знает, что сейчас происходит в её сердце, там, в моей — теперь надо было сказать: нашей -комнате, после того, как она выслала меня коротким и не терпящим возражений приказом.

Бедняжка. Как ей, должно быть, тошно и одиноко в чужой, снова ставшей чужою комнате, на голом, мерзком диване. Я вспомнил о вечернем звонке по телефону, о нашем долгом, бесплодном сидении на солнце у памятника Первопечатнику, о том, как платье стесняло ей грудь, как пальцы теребили сумочку, вспомнил, как она глядела на старуху подметальщицу, слушала моё косноязычие, а сама думала об одном и том же, об одном и том же... И весь день колебалась и искала случая открыть мне своё горе. В сущности, всё её поведение было одним непрекращающимся криком о помощи. Воспоминание о золотистых тенях на её щеках, о её тонкой склонённой шее неожиданно потрясло и умилило меня; с болью, с ужасом я понял, что случилось непоправимое, и вся жизнь теперь сломана: её отец был там, и, может быть, слепящий рефлектор, о котором говорил комиссар, бил ему в глаза в ту самую минуту, когда мы здесь на диване -

Мне стало не по себе, я встал и быстро пошёл в комнату.

Открыв дверь, я увидел её стоящей у окна; поясok подчёркивал её талию, прямые полные ноги казались чересчур взрослыми для её фигурки. Руки Светланы, голые до плеч, покачивали сумочку. Она была невысокого роста, ниже меня на полторы головы.

Выждав полсекунды, не больше, она повернулась на каблуках.

«Ты где был?» — спросила она, не глядя на меня.

В эту минуту я думал о том, что нас ожидало. Она ошибалась, полагая, что дело ограничится ссылкой. Нет, если за ней до сих пор не пришли, то лишь потому, что задерживается оформление бумаг. Может быть, не хватает какой-нибудь подписи; заболел офицер-чиновник. А я, моя судьба — она решалась в эту минуту.

«Что ты собираешься делать?»

«Не знаю», — сказал я. Но отвечал не ей, а своим мыслям.

А ведь она, должно быть, ожидала, что я стану говорить о своей любви к ней; наверное, она загадала, стоя у окна: если, войдя, я заговорю об этом, значит, она не ошиблась и жертва её не напрасна... Я же словно окаменел. Молчание затягивалось и становилось тягостным.

Размахивая сумочкой, она прошла по половице, повернулась на каблуках, тряхнула головой.

Машинально я следил за ней, а видел одно: человека, сторбленного на стуле, тень в фуражке и струю слепящего света.

«Ну, я пойду, пожалуй... — проговорила она как бы про себя. И так как я молчал, добавила: — Ты меня проводишь?»

Теперь меня уже не оставляла мысль, что я иду ко дну. Не было никаких сомнений в том, что за нами следят. Как это делается, я не знал; но что луч, не знающий препятствий, пронизывающий стены, заливает нас обоих и будет следовать за нами, куда бы мы ни пошли, — в этом я не сомневался.

Что же удивительного в том, что друзья и родственники поспешили прервать отношения с этой семьёй? Ведь это был единственный способ спастись от луча.

Для меня теперь каждая минута, проведённая со Светланой, делала положение всё более непоправимой. Ей-то терять нечего; а у меня оставался шанс. До сих пор мы выглядели как случайные знакомые, и ещё была надежда, что луч, ощупывая пространство вокруг неё, скользнёт мимо, за иной добычей. И что же? Вместо того, чтобы... да, вместо того, чтобы исчезнуть, я не спеша отворял дверь на лестничную площадку, выходил вместе с ней на улицу, шествовал в толпе рядом с ней, на глазах у толпы, открыто, вызываясь, не принимая никаких мер конспирации, не пытаюсь даже укрыться в тени домов.

Вспыхнуло голубоватое зарево фонарей. Из-за угла наперерез пешеходам выехал чёрный автомобиль. Во тьме кабины на нас блеснули внимательные глаза. Уличный регулировщик, оборотившись, понимающе кивнул кому-то.

Возле меня постукивали её каблучки. Немного времени спустя она подняла ко мне лицо, я увидел потеплевший взгляд.

«Хочешь, — и она тряхнула головой, — я расскажу маме?»

«О чём? — Я не понял. — О том, что...?»

«Ну да. Хочешь, я скажу ей, что вышла замуж?»

О, Боже. Это она так именovala наше лежание на диване.

Что касается мамы, то она до сих пор как-то не приходила мне в голову. Да и вообще мама казалась мне совершенно излишней.

Другое обстоятельство пришло мне на ум.

«Слушай, — сказал я. — А ты не боишься?»

«Боюсь рассказать?»

«Нет... — Я замаялся. — Ну, словом... Ты не боишься, что там что-нибудь осталось?»

«Да? — сказала она и посмотрела испытующе на меня. — Да ведь туда ничего не попало!»

Я почувствовал себя оскорблённым. Взглянув на меня, Светлана залилась весёлым смехом.

«Может, скажешь, что вообще ничего не было?»

Смех стих. «Нет. — Она смотрела на свои туфли. — Я точно знаю, что было».

«Ты почувствовала?»

«Да. Мне было больно. Мне даже сейчас больно».

«И всё? И нисколько не приятно?»

«Нет, — сказала она подумав. — Но я думала, что это ещё больней. Я хотела, чтобы было больней. В общем, не знаю».

Улица кончилась, мы шли по пустынному переулку, где с обеих сторон стояли высокие сумрачные дома, выстроенные в начале века.

На углу мы остановились. Тотчас мимо нас прошёл человек и исчез в подворотне.

«Ну вот... мы и пришли. Дальше не провожай».

Мы стояли друг против друга; я чувствовал, что надо что-то сказать, произнести слова; слов не было. Неловко, как дети целуют приезжую тётю, я потянулся поцеловать Светлану. Она отстранилась.

«Не беспокойся, — сказала она с неуловимой иронией, — ты был настоящим мужчиной. Как говорится, вопросов нет. Твоя честь в порядке. И вообще у тебя — всё в порядке».

Помолчав, она добавила:

«Никто, конечно, не узнает — ни мама, никто. Да и какое это имеет теперь значение?.. Знаешь, Лёня, — она посмотрела на меня сильно заблестевшим взглядом, и я заметил, что губы у неё вздрагивают, — я ни о чём не жалею. С тобой, так с тобой — не всё ли равно... Звони!» — крикнула она убегая.

Так окончилось наше свидание. Я быстро шёл по переулку. Несколько мгновений в моём мозгу ещё мелькало её платье, звучал голос и сухим, горячим блеском сияли тёмно-медовые глаза. Потом растаяли... Я торопился, и мне начинало казаться, что меня нагоняют чьи-то шаги. Было безлюдно. Вот здесь, думал я, две недели тому назад промчался чёрный автомобиль. Отсюда он вывернул на площадь и покатил вниз по пустынным улицам. Ему понадобилось десять минут, чтобы пересечь огромный спящий город.

Я представил себе этот город, по которому в разных направлениях мчатся таинственные автомобили. Во дворе, за глухими чугунными воротами, пленников выводили из машин, зажав им ладонью глаза.

В конце переулка перед подъездом сидел на стуле сгорбленный старик, как две капли воды похожий на старого еврея в сквере у Первопечатника. Я отметил это совпадение.

Весь вечер я был занят. На полу лежал чемодан. Одна за другой в его разверстое чрево падали тетрадки с дневником и стихами, начала поэм, коими намеревался я поразить мир.

Я выглянул в коридор. В квартире тишина — жильцы разъехались. Однако лишняя осторожность не мешала. Быстрыми и бесшумными шагами я совершил перебежку и, оглянувшись, скрылся в уборной. Какое удачное стечение обстоятельств! Со своим багажом я ввалился в уединённую келью. Скользкий край фаянсовой чаши: вскарабкаться — и вниз головой...

Мои корабли вздымались на гребне волны и исчезали в пучине. О, сколько дивных замыслов, неиспользованных сравнений, метафор, эпитетов потонуло в тёмном водовороте. Я представлял себе, как клочья моих творений плывут в толстых трубах под землёй, как из других домов, из других келий к ним спускаются в шуме вод новые — и какой это должен быть грандиозный ледоход трупов, какое кладбище крамолы! Временами я мешкал, погружаясь в чтение, — но колокол умолкший пробуждал меня, я дёргал длинный его язык, и вновь струя водопада смывала в преисподнюю последние искры моего — о, нет, не свободомыслия — своеволия: инстинкт твердил мне, что и оно — улика.

Палкой, палкой проталкивал я своих детищ, спроваживал последние клочки, прилипшие к стенкам. Чемодан был пуст. В жидком блеске двадцатисвечевой лампочки, качавшейся на прозрачной и успокоенной глади, я остался один над чашей, и в руках у меня была фотография Светланы. И тогда я четвертовал своё любовь, сложил обрывки и снова четвертовал; и полетели туда её глаза, её чудные волосы, лоб и тонкая шея. Всему конец!

Лёжа на диване, я думал об открывшейся мне сути жизни, я думал о ней спокойно, хотя она была ужасна. Поистине мне оставалось лишь благодарить судьбу за то, что до сих пор меня щади-

ли. На меня не обращали внимания, милостиво игнорируя меня, и молчаливо разрешали мне продолжать моё ничтожное существование. То, что я понял, можно было сформулировать примерно так. Вот мы живём спокойно и беззаботно, погружённые в наши мелкие дела, и не догадываемся, что за всеми нами следят. Тайные осведомители наблюдают за каждым нашим шагом, а мы об этом даже не подозреваем. Как за актёром, рассказывающим на сцене, неотступно следует луч юпитера, а он словно его не замечает, так за нами повсюду тянется невидимый луч, он с нами, где бы мы ни очутились; и даже если попробуешь ускользнуть от луча, достаточно слегка изменить угол прожектора, и мы снова в его круге.

Мы подобны людям, к каждому из которых подвязана нить. А где-то функционируют тайные канцелярии, чиновники подкалывают материал в папки, идёт непрерывная, планомерная, хорошо налаженная работа по оформлению дел. В любой день досье может быть извлечено из сейфа, там всё, там полная биография, всё, о чём мы забыли или не знали. И вот наступает этот момент, когда нитка натягивается. Бесполезно сопротивляться, бесцельны просьбы и жалобы — нить тащит нас к раскрытому люку, и, подтягиваемые, мы успеваем в поледний раз увидеть вечерний город, сияние фонарей и зелёные брызги над дугою трамвая. А там — падение в люк, и крышка захлопывается над головой. Но т-сс! Никто не должен об этом знать. Исчезнувшего — не было. Его никто не знал. О нём никто не вспоминает.

В таком духе я размышлял, лёжа в сумерках; и вдруг раздался глухой удар — стучали в парадную дверь. Я вскочил. Стук повторился. Холодный пот выступил у меня на висках; во дворе находилась пожарная лестница, но до неё было порядочно, к тому же я был уверен, что внизу и на крыше, и у подъезда — всюду стоят. Кап... кап... — свинцовыми каплями падали секунды. Я не мог больше переносить этот страх, — подкравшись к репродуктору, я всадил в штепсель вилку, тотчас диктор заговорил радостным, бодро-неживым голосом, как если бы произносила слова статуя. В это время я стоял лицом к стене, зажимая руками уши. Больше не стучали. Превозмогая себя, я пошёл на цыпочках, всё было тихо; приоткрыл дверь на лестницу. Шорох! — это ползла вверх по ступенькам, по маршу первого этажа белая змея, с глазами из алеба-

стра. Радио ворковало в комнате. Я ждал до звона в ушах, пока не онемела шея, не заныли плечи. Сердце медленно билось. Комиссар шептал: «Знаешь, Клуге...»

Больше невысказанно было сидеть дома. Мои страхи могли быть напрасны, даже смешны, — но в сути, в сути ведь я не ошибался! Выходя на улицу и по дороге на вокзал я ощущал себя во власти секретных учреждений, я понимал, что до поры до времени они не дадут знать о себе — до поры до времени. Наблюдательные точки на крышах домов, искусно замаскированные следящие устройства, вмонтированные в цоколи зданий. Всё это позволяло вести разведку в любом секторе города. Воздействие аппаратов ощущалось и в квартире, и я был убеждён, что миниатюрный прибор, записывающий разговоры, помещался в телефонной коробке; наблюдение проводилось также при помощи электричества и, возможно, водопровода. И нужна была максимальная осторожность во всём, осмотрительность на каждом шагу; главное — не показывать виду: страх — доказательство виновности! Прикидываться дурачком, наивным оптимистом, скрывать страх, скрывать знание, хранить спокойствие.

Ведь в конце концов я был виноват, как все. Мы все были виноваты, виноваты самим фактом нашего существования. Мне некуда было деться, секретная служба располагала исчерпывающей информацией, она знала обо мне всё. Просто за многочисленностью дел и расследований они не имели времени мною заняться — руки не доходили — и до времени ограничивались наблюдением.

Было уже совсем поздно, когда я добрался до вокзала, но поезда ещё отправлялись. Сезон был в разгаре: даже в такой час люди с продуктовыми сумками толпились у касс и спешили по перрону. Я сел в поезд и поехал на дачу.

ФРАНЦУЗСКИЙ РАССКАЗ

Il y avais déjà bien des années que...

*Proust*¹

История сближения женщины и мужчины всегда будет главным событием в жизни — не считая смерти, но смерть нельзя пережить, и, значит, смерть не есть событие жизни. Посетителей кафе на углу улиц Бюси и Св. Григория Турского, в двух шагах от бульвара Сен-Жермен, встречали две официантки, одна уже в годах, невозмутимо-чопорная и неторопливая, другая совсем молоденькая, щуплая, черноволосая и черноглазая, явно неопытная, чтобы не сказать бестолковая. Каждое утро турист, поселившийся рядом, выходил в прохладный переулок и усаживался перед крохотным столиком. Девушка приносила «малый завтрак»: бокал с апельсиновым соком, булочку, разрезанную вдоль и намазанную маслом, омлет, кофейник с жидковатым кофе. Она собирала посуду с соседнего столика, что-то забыв, возвращалась, бегала взад-вперёд. Посетитель жевал хлеб, подносил ко рту чашку с кофе и смотрел на её мальчишеские бёдра. Само собой, ему не приходило в голову, что между ними может что-нибудь произойти.

Ближе к вечеру накрапывал дождь, но с утра обыкновенно светило солнце. Турист считал, что ему повезло. Он жил здесь уже две недели. С некоторых пор официантка улыбалась ему не совсем формально. Это значило, что к нему относятся как к завсегдатаю. Однажды он спросил: давно ли она здесь работает? Она передёрнула плечами, вероятно, ей послышался упрёк, и отошла к соседнему столику, за которым сидела газета. Видны были толстые пальцы рук и берет с хвостиком. Турист прихлёбывал кофе, поглядывал на её суетливые движения. Официантки привыкают к взглядам мужчин, но она была ещё неопытна и оглянулась. Встав из-за столика, он мгновенно о ней забыл. На следующее утро он сказал: «Вы не ответили на мой вопрос».

¹ Сколько лет прошло уже, как... *Пруст*.

«Какой вопрос?» Она больше не улыбалась. Он хотел узнать, как давно она служит в этом бистро. Завтрак был окончен, она собирала посуду.

«Почему вас это интересует?»

«Интересует», — сказал он.

Турист расплатился и не думал о девушке до следующего раза.

На следующий день приезжий, выглянув в окошко, увидел, что он сглазил погоду. Моросил дождь, было прохладно, поставщик товара приехал с опозданием, фургон загородил улочку. Шофёр разгружал ящики с напитками, и тут же суетилась черноволосая официантка, поверх платица на ней была вязаная кофта. Над столами натянули тент, но посетители предпочли укрыться в помещении.

Он уселся снаружи. «Вас зовут Рене», — сказал он.

«Откуда вы знаете?»

«Догадался».

Она подняла брови, покачала головой.

«Почему вас это интересует?»

«Интересует», — сказал он.

Турист расплатился и не думал о девушке до следующего раза.

На следующий день приезжий, выглянув в окошко, увидел, что он сглазил погоду. Моросил дождь, было прохладно, поставщик товара приехал с опозданием, фургон загородил улочку. Шофёр разгружал ящики с напитками, и тут же суетилась черноволосая официантка, поверх платица на ней была вязаная кофта. Над столами натянули тент, но посетители предпочли укрыться в помещении.

Он уселся снаружи. «Вас зовут Рене», — сказал он.

«Откуда вы знаете?»

«Догадался».

Она подняла брови, покачала головой.

На самом деле он слышал, как поставщик назвал её этим именем.

«Рене», — сказал турист. Она пожала плечами, как будто хотела сказать: пожалуйста, если вам так нравится. Она снимала с подноса и ставила на столик то, что принесла; держа пустой поднос, как щит, перед грудью, спросила:

«А вы — откуда приехали?»

«Из Америки. Есть такая страна, далеко, — он показал рукой, — за океаном».

«В самом деле? А я и не знала».

Её окликнули: звала — или, может быть, призывала к порядку — старшая официантка. В ответ — небрежный кивок; она всё ещё стояла с подносом.

«Но вы не американец».

«Почему вы так решили?»

«У вас не американский акцент».

Он сказал, что он русский, вернее, сын русских. «Я сам не знаю, кто я», — добавил он и, взбираясь по крутым улочкам Мон-мартра к церкви Святого Сердца, вспомнил эту фразу: в ней было что-то кокетливое. Кроме того, он думал, что в этом городе, где «столько всего», трудно остаться самим собой.

Она, однако, хоть и выглядела подростком, была уже студенткой, об этом она сообщила на следующее утро и помедлила, держа поднос, как щит. Турист заговорил о французской литературе, что-то прочитанное Бог знает когда, Мопассан или кто там. Скоро двину во-свояси, сказал он, отпуск кончается. Не желает ли она заглянуть к нему в гости?

Приглашение неожиданное для него самого — и, разумеется, было сделано в шутку; видимо, так она и восприняла его слова, если вовсе не пропустила мимо ушей. Возможно, ей уже приходилось выслушивать такие предложения. Вновь установилась чудная погода. Согласно плану, он должен был отправиться в музей д'Орсе, выстоять очередь перед входом, слушать щебет японок, вместо этого, выйдя к набережной Вольтера, он повернул направо, дошёл до Нового моста, нежился на скамейке под деревьями на узкой оконечности острова Сите, смотрел на реку и дальние мосты в солнечном тумане. И думал о том, что надо было приехать сюда в юности, пожить в этом городе, а может, поселиться в нём навсегда. Нехотя он поплёлся обедать, бродил, устал, так прошёл день.

Турист набрал три цифры на щитке в подъезде старого дома на улице Григория Турского, толкнул дверь, высокий мрачный холл осветился, он ехал в кабине, вышел из лифта на предпоследнем этаже, стал подниматься по узкой загибающейся лестнице с железными перилами; наверху, на последней ступеньке сидела, обняв колени, Рене. Он почувствовал беспокойство, притворился, что очень рад, и спросил, давно ли она ждёт. Они вошли в кварти-

ру, которая вряд ли заслуживала такого названия. Комната с невысоким потолком, с низким ложем, платяной шкафом, полки с растрёпанными альбомами, романами, за перегородкой газовая плита, стол и кухонная утварь. Окно с видом на соседнюю крышу, а внизу глубокий двор-колодец. Жилец извинился за беспорядок. Он поставил на стол две тарелки, откупорил вино, разговор едва тлел, как сырые дрова.

«Ну что ж, — проговорил он, — пора на боковую. — Снял со шкафа матрас, перевязанный бечёвкой, разложил на полу. — А ты, — сказал он, — ляжешь на постели».

Девушка сказала: «Но я вовсе не собираюсь у вас ночевать».

Он снял телефонную трубку, вызвать такси.

«Сама доберусь». Он слышал, как стукнула дверь лифта. Был ли он разочарован? Завтра пойду завтракать в другое место, подумал он. И вообще больше никогда её не увижу. Он почувствовал облегчение, он не был любителем сомнительных приключений. Ему захотелось домой, в Нью-Хейвен, в свою квартиру и контору.

Минут через десять, — жилец чистил зубы в ванной, — постучались. Или ему показалось. Уеду, думал американец, и никогда не вспомню, и прекрасно; а завтра, куда же нам двинуться завтра? Ему наскучили музеи, он решил в оставшиеся дни совершить паломничество на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, о котором кое-что слышал.

Пошёл открывать. «Я передумала», — сказала она. И как будто ветер ворвался в комнату и сдул все мысли. Наутро он увидел на простыне пятна крови. Она не стала пить кофе, убежала, пока он брился; когда он спустился вниз и уселся под тентом, — небо снова заволочло тучами, сочился дождь, — официантка молча принесла завтрак, вернулась в помещение, вышла с другим подносом для толстого соседа с газетой. Турист расплатился и посидел ещё некоторое время. Дождь перестал. У себя наверху он изучал маршрут. Долго ехал, сперва пригородным поездом, потом автобусом.

Турист бродил по мокрым аллеям, сворачивал наугад на боковые дорожки, читал надписи на языке, от которого отвык: дворянские титулы, офицерские чины, евангельские цитаты. Набрёл на высокий крест с надписью «Русская Освободительная Армия», это название ему ничего не говорило, он пожал плечами.

Найти знаменитостей было не так просто, и спросить не у кого. Не нашёл он и своих родственников, в существование которых

плохо верил. Как вдруг наткнулся на камень со своей собственной фамилией, со своим именем. И даже год рождения тот же. Он наклонился и прочёл: «Ибо я был странником, и вы приняли меня. Мф. 25: 35». И ему представилось, что он в самом деле приехал юношей в этот город, жил здесь и здесь умер.

Турист чуть не опоздал к закрытию, приди он к воротам на десять минут позже, пришлось бы ночевать на скамейке. Вечером, проходя мимо «своего» бистро, искал глазами официанток, одна была немолодая, знакомая ему, надменная и невозмутимая, другую он видел впервые. Заглянул внутрь. Рене не было, её и не могло быть, её смена кончилась. Зажглись огни, везде шатались туристы, было много японцев, он вышел к бульвару, где всё теперь уже было знакомо, и постоял перед мрачной башней, на знаменитом перекрёстке искусств и наук. К нему приблизился человек в рубище и шепнул: «Друг мой...» Турист думал, что у него попросят милостыню. Человек опасливо поглядел по сторонам. «Я сейчас тебе кое-что расскажу. Открою секрет, хочешь?..» — но вместо этого махнул рукой и, пошатываясь, удалился. Приезжему стало скучно — впервые за всё время.

Впору было задать самому себе недоумённый вопрос: в чём дело? Что он нашёл в этой девчужке? Лёгкое косоглазие часто украшает женщин, но тут этого не скажешь. Чёрные глаза как будто глядят не на вас, а сквозь вас, на что-то сзади, и тянет оглянуться. Короткие волосы заколоты над ухом. Такие девицы никогда не становятся зрелыми женщинами, вечно страдают малокровием, гландами, чем-то таким, дышат ртом, шмыгают носом. Чахнут, вянут и в конце концов превращаются в существа без возраста и пола. Через каких-нибудь пять лет, — если бы он пожаловал снова, — весь этот дурман исчезнет. Ну и что, сказал он себе. Не в этом дело.

В том-то и дело, что «не в этом дело», и минутная страсть, которую часто распаляют темпераментные худощавые женщины, тоже не могла быть объяснением и ответом. В этой Рене было что-то, чего он не понимал, — но что здесь не понимать? Всякая юная незнакомка кажется таинственной. Потом оказывается, что никакой загадки не было и нет; вечная история. Лучше сказать: вечно новая. К тому же он совершенно не знал француженок. Но если бы и знал. В ней, какой она оказалась, с её неловкостью, острыми коленками, слабым позвоночником, впалым животом, было что-то сбивавшее с толку. Была какая-то тайна, вернее, она сама была

тайной; громко звучит, но иначе не скажешь. Лишив её девственности, — событие, которое, похоже, не слишком её взволновало, — он не приблизился к разгадке.

Он поплёлся домой. Девчонка сидела на верхней ступеньке, подол между коленками, сумка со студенческими книжками через плечо, ремешок между грудями. Он протянул ей ключ от квартиры, у меня два ключа, сказал он. Рене отказалась, и ужинать тоже не захотела. Стояла под душем, космы слипшихся волос, глянцевая кожа. Мужчина водил губкой по её телу, по желобку на спине и ягодицам, по животу, под мышками и вокруг сосков, и она что-то пела фальшивым голосом, вероятно, чтобы скрыть волнение.

Утром нежились в постели, на этот раз она никуда не спешила. Надо подзубрить, объяснила она, предстояло что-то вроде промежуточного экзамена. Что тебе известно о дадаизме? Турист отправился в квартирное бюро на улице Святых отцов и уплатил за жильё ещё на неделю вперёд. Каждый вечер он ждал, прислушивался к лифту, открывал ей, так прошло ещё несколько дней. Чад вождления рассеялся, для них наступило время взглядеться друг в друга. Американец лежал на спине, ладони на затылке.

«Щекотно?»

Она водила ладонью по волосам на его груди.

«Нет, — сказала она, — оставайся так».

Он остался «так». Он подвинулся, женщина пристроилась сбоку, так что он видел её стриженный затылок, острые лопатки, симметричные ямки на крестце, ложбинку ягодиц, сидела, поджав колени, как сидят японки, а это что, спрашивала она, словно видела впервые.

«Ты и так знаешь».

«Нет, я хочу, чтобы ты сказал».

«Разве слова что-нибудь значат?»

«О, да».

«Особенно такие, которые не принято произносить, да?»

«А это?» — спросила она..

«Осторожней».

«Тебе больно?»

«Нет».

«Приятно?»

«Пожалуй».

«Кладовая любви, — проговорила она. — Целых две кладовых... Выходит, если бы там не вырабатывалось, ты бы меня не любил, да?».

«Выходит, что так».

«Гм».

«Но это мало что объясняет».

«А ты можешь объяснить?»

«Нам пора вставать. Я проголодался».

«Вот видишь».

«Что — видишь?»

«Между любовью и голодом прямая связь».

«Разумеется».

«Пора пополнить запас живчиков, да? Там, наверное, ничего не осталось».

«Всё досталось тебе».

«Но потом накопится снова?»

«Накопится снова».

«Для других женщин?»

«Для тебя».

«Ты хочешь сказать, что ты меня любишь?»

Он не ответил.

«Обожаешь?»

Он с важностью кивнул. Пауза. Он проговорил:

«Видишь ли, как тебе объяснить. Существует мозг, и существует мысль».

«Ты хочешь сказать, что это не одно и то же?»

«Я хочу сказать, что без мозга мысль невозможна. Но свести одно к другому тоже невозможно. То же самое любовь. Без желёз и гормонов, конечно, ничего не будет, однако...».

«Я не знала, что ты такой учёный».

«Но это общеизвестная истина».

«Пожалуйста, не говори так».

«Как?»

«Пожалуйста, не говори: общеизвестная».

«Почему?»

«Потому что то, что происходит между нами, происходит только между нами. У тебя было много женщин?»

Турист сделал неопределённое движение, как будто хотел сказать: что поделаешь.

«У тебя не было женщин, запомни это».

«Постараюсь».

«И сейчас у тебя никого нет, о-кей?»

«О-кей».

«Ни там, ни здесь?»

Он кивнул.

На её лице появилось сосредоточенное выражение.

«Можно мне...?»

«Можно», — ответил он, не дожидаясь, когда она договорит.

«Откуда ты знал?..»

«Знал».

Девушка прищурилась и спросила:

«А вообще — кто ты такой?»

«Кто я такой? — спросил он. — Я — это он!» — и показал пальцем вниз.

И оба засмеялись от счастья.

Договорились, что он будет ждать её в вестибюле, Рене училась в Десятом университете в Нантерре. Два часа прошло, стеклянный холл опустел, американец поднялся навести справки, ходил из одной комнаты в другую, фамилию студентки он не знал, ничего толком не добился, не было даже уверенности, что она здесь была. Его охватил панический страх, выскочив из такси на перекрёстке Григория Турского и Бюси, он поднялся к себе, там её не было, он выбежал из подъезда. Он спросил у пожилой официантки, нельзя ли повидать Рене.

«Кого?»

Он повторил вопрос. Женщина пожала плечами, покачала головой. Она никогда не слышала это имя. Турист описал внешность Рене. «Извините, — сказала официантка, — мне некогда».

Он догнал её. «Но я сам слышал, как поставщик...»

«Может быть, — возразила она. — К сожалению, ничем не могу вам помочь». И то же самое он услышал от хозяина.

В эту минуту он увидел её, она была без фартучка, быстро прошла между столиками и свернула за угол, он настиг её и схватил за руку. Девушка стремительно обернулась, это была не она.

Он зашагал, лавируя между прохожими, по улице Дофина, отсюда до набережных рукой подать, нет, думал он, теперь от меня не уйдёшь. Та, что шла впереди, торопилась, вероятно, заметила преследователя, в последний момент неожиданно свернула впра-

во — там находился театр, турист успел за эти недели основательно изучить лабиринт тесных улочек Левого берега. Может быть, она жила поблизости. Она изучала расписание спектаклей. «Рене... — пробормотал он, с гулко стучащим сердцем. — Рене, что случилось?..» Она не отвечала. Он сказал: «Ты на меня сердишься?» Незнакомка ответила: «Откуда вы знаете моё имя?»

Турист бродил по залам Лувра, ничего не видя, ничего не слыша, на следующий день с утра занёс ключи в квартирное бюро по дороге на аэродром, а через двадцать четыре года, ослепший и наполовину лишённый рассудка, с безнадёжным диагнозом, вспоминал солнечный туман над рекой и дальними мостами, высоко над городом похожий на сахарную голову купол церкви Святого Сердца, вспоминал человека с газетой, «малый завтрак» на углу переулка — название стёрлось в его памяти — и ту, которую он так и не смог разгадать.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Выброси, Лампих, спесь и надменность; все это слишком отягчит лодку Харона.

Лукиан, Диалоги мёртвых, 4

Художник и смерть

Смерть пришла к художнику, он занят своим делом.

«Разве ты меня не замечаешь?»

«А что тебе надо?»

«Разве не понятно — что?»

«Мне некогда».

«Мне тоже».

«Ну, хорошо, — сказал художник, — хочешь, я тебя нарисую?»

«Что это значит?»

«Сделаю твой портрет».

Смерть уселась на возвышении, мастер накинул на неё чёрный плащ, красиво расположил складки, дал в руки череп. Потребуется, сказал он, несколько сеансов.

Через несколько дней она спросила:

«Ну как, готово? Можно взглянуть? Мне нравится».

«А мне — нет. Романтизм, банально».

Начал заново, без плаща и черепа.

Ещё сколько-то дней прошло. Художник качал головой: опять не то. Неуместный модернизм. И тоже порядком надоевший.

«Мастер, — сказала смерть, — всякому терпению приходит конец. Что будем делать?»

«Я понял, — сказал художник, — задача искусства — изображать не внешний вид вещей, а их сущность».

«Ты со мной торгуешься. Это нечестно».

«Твоя сущность, — продолжал он, — вот что важно. Посиди в сторонке. Я напишу тебя такой, какова ты на самом деле».

Он заверил гостью, что на этот раз работа не займёт много времени, уселся перед мольбертом. Но прошёл час, и ещё час.

«Меня ждут другие», — сказала смерть. Она удалилась, а мастер, в глубокой задумчивости, с палитрой и кистью в руках, так и не сдвинулся с места.

Она явилась на другой день.

«Много работы. Террористы взорвали бомбу в универмаге».

«У тебя, я вижу, объявились помощники», — заметил художник.

«То ли ещё будет... Но не стоит отвлекаться. Надеюсь, картина готова?»

«Пожалуй», — сказал художник.

Смерть сама сбросила покрывало с мольберта.

«Что это? Ты вздумал со мной шутить!»

«Ошибаешься, дорогая».

«Но ты ничего не сделал».

«Вглядишься повнимательней».

«Я не слепая!»

«Уверю тебя, я не ленился. Видишь? — Художник кивнул на кипу листов с набросками. — Я проработал всю ночь, прежде чем взяться за картину...»

«И это результат? Ха-ха. — Смерть показала на холст. — За кого ты меня принимаешь? Тут ничего нет!»

Подумав, она добавила:

«Понимаю. Ты считаешь, что я... Некоторые утверждают, что меня не существует. Ты тоже такого мнения?»

«Я объяснил тебе, — промолвил мастер, — и повторю снова. Искусству внешность неинтересна. Всё это навязло в зубах. Можно срисовать яблоко. Ну и что? Получится ещё одно яблоко, только и всего. Искусство ищет суть».

«В чём же эта суть? Ты до неё докопался?» — насмешливо спросила гостья.

Художник развёл руками.

«Вот, — сказал он, показывая на пустой холст, — сама можешь убедиться. Мне больше делать нечего. Твоя взяла».

Поэт и Вельзевул

Кто-то взошёл по скрипучей лестнице, постучался в мансарду.

«Да», — сказал поэт.

Вкрадчивый голос попросил:

«Пожалуйста, ещё раз».

«Войдите».

«Ещё раз...».

«В чём дело? Я же сказал вам: входите».

«Извини, — сказал дьявол, вступая в комнату. — Нашего брата полагается приглашать трижды».

Поэт заметил, что он где-то об этом читал.

«Могу напомнить. У Гёте».

Поэт спросил: чем он обязан чести?..

«Хочу тебя поблагодарить. — Гость окинул взглядом убогое жильё и уселся на продавленный диван. — Ты напомнил обо мне читателям. Сделал мне отличную рекламу».

«Вы думаете, — поэт усмехнулся, — у меня так уж много читателей?»

«Теперь их станет больше. Я позабочусь об этом. Как никак, и я приобщился к твоей судьбе. К твоему, быть может, бессмертию!»

«Но дьявол и так бессмертен. По крайней мере, так считается».

«Считается, хе-хе. Смерть и бессмертие — земные понятия. С точки зрения вечности, это ложное противопоставление».

Поэт признался, что ему пришлось издать свои стихи за собственный счёт.

«Последние деньги выложил».

«Сочувствую».

«Но знаете... Я бы не хотел оказаться приспешником Вельзевула».

«Приспешником? Это было бы для меня слишком большой честью! Гёте тоже... как бы это выразиться. Немало потрудился ради моей популярности. Другой вопрос, насколько ему это удалось... Но уж моим союзником его никак не назовёшь».

«Я вижу, вы интересуетесь поэзией».

«Это моя слабость. Скажу по секрету, я и сам пробовал свои силы. Написал эпическую поэму “Сотворение мира”. В двадцати четырёх песнях».

«Вы были свидетелем этого... события?»

«Был, как же».

«Вероятно, у вас там есть и кое-что о Творце?»

«О, да».

«Понравилось ему?»

Дьявол покачал рогатой головой.

«Почему?» — спросил поэт.

«Он сказал, что у меня нет поэтического таланта. Советовал переделать в роман наподобие Вальтер Скотта».

«Мне бы хотелось почитать, — сказал поэт. — Поэма опубликована?»

«Нет, конечно».

«Почему? В конце концов, можно под псевдонимом».

«Не в этом дело, — уныло сказал Сатана. — Я же говорю. Уж очень плохие стихи. Я их сжёг. В адском пламени».

«Скажите, — осторожно спросил поэт, — что вы нашли такого в моих стихах, что они вам так понравились?»

«Что нашёл... Дерзость. Упоение пороком. Демонское начало. Твоя поэзия дышит похвальным презрением к человеческому роду. Как раз то, что нам нужно. Настоящая современная поэзия».

Поэт был польщён, однако услышать комплименты из уст князя тьмы... гм.

«Вот, например, такое стихотворение...». Сатана вскочил с дивана, прочистил горло, стал в позу.

«Нет уж, лучше не надо... прошу вас».

«Слушай, брось ты эти церемонии. Давай на ты! У меня есть предложение».

«Какое?»

«Хочу тебе помочь».

«Ага, так я и знал».

«Ничего ты не знал».

«Ты пообещаешь золотые горы, а взамен потребуешь мою душу. Старая песня».

«И абсолютно фальшивый сюжет! Да знаешь ли ты, что перед моей конторой стоит очередь в полкилометра. Отбоя нет от желающих продаться!»

«Странно, — проговорил поэт. — Я представлял себе чёрта иначе. Рога есть. А где всё остальное?»

Дьявол продекламировал:

«Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt!¹ Но если ты сомневаешься...»

Он распахнул плащ, под ним оказалось голое тело, поросшее густым рыжим волосом. Свой хвост сатана обернул вокруг живота. Особенно бросался в глаза внушительных размеров детородный член.

¹ «Все в мире изменил прогресс.//Как быть? Меняется и бес.» («Фауст», I, 2140. Пер. Б. Пастернака).

Поэт безглаголиво поморщился. Бес был доволен произведённым впечатлением.

«Что-то я продрог, — сказал он, запахиваясь. — Здесь не топят. Нет ли чего-нибудь выпить?»

«К сожалению, нечем закусить», — сказал поэт и поставил на стол початую бутылку.

«Печально», — отвечивал гость. Чокнулись, выпили.

«Люблю русскую водку. За такое изобретение вам можно многое простить... Но к делу. Мы говорили о душе. Друг мой, не сердись, — подобрёвшим голосом сказал дьявол. — В сущности, ты и так уже мне продался. Разумею, конечно, твою поэзию... Давно пора было покончить с предрассудком, будто литература должна служить добру»

Снова налили и выпили.

«Послушай. У меня есть связи в издательствах. Твои стихи будут выпущены огромным тиражом, на веленовой бумаге. Что ты на это скажешь?»

Поэт помалкивал.

«Критики со мной в прекрасных отношениях. Они напишут то, что надо... Я создам тебе идеальные условия для работы. Ты будешь жить на вилле. Прислуга, никаких забот. Отличная кухня. Как ты относишься к антрекоту по-гималайски?»

«Положительно, — сказал поэт. — А что это такое?»

«О! Это невозможно описать словами. Это надо попробовать. Или, может быть, ты предпочитаешь флан из телячьих яиц, индейку по-рыцарски? А как насчёт цыплят монморанси в вишнёвом соусе?»

Вельзевул приоткрыл свою хламиду, небрежно помахивал членом туда-сюда.

«Само собой, и девочки... У нас богатый выбор. А насчёт преисподней, советую не верить всем этим сказкам. Уверю тебя: здесь не лучше, чем там. Ну как, по рукам?»

И, не выходя из комнаты, гость исчез.

Адам и Ева

Адам познал Еву, но распорядитель медлил, и они могли ещё немного времени побыть в эдемском саду. Как это бывает после первого сближения, они стыдились взглянуть друг другу в глаза.

«Ну как ты?» — робко спросил Адам.

Ответа не было.

«Всё как-то быстро», — заметил Адам.

«Ты очень торопишься», — сказала Ева.

«Ты на меня сердишься?»

«Почему я должна на тебя сердиться?»

«Это... так неожиданно».

«Ты думаешь?»

«Ну да. Как-то вдруг».

«Вовсе нет, — сказала Ева. — Я этого ждала».

«Ты? ждала?»

«Ну да».

«Но ведь ты сопротивлялась».

«Немножко. Так полагается».

«Значит, — сказал он, подумав, — ты меня прощаешь?»

Они ещё немного полежали на траве.

«Но это было очень приятно. Тебе тоже было приятно?»

«Я же сказала: ты поторопился. Но ничего. Следующий раз получится».

«Постой, — перебил её Адам, — ты хочешь сказать, что ты не успела... как это называется...»

«Кончить», — пролепетала Ева.

Адам нахмурился.

«Откуда ты знаешь такие выражения?»

«Но ведь ты тоже знаешь».

«Я — другое дело. Я мужчина».

Она проговорила снова:

«В следующий раз...»

«Когда это — в следующий раз?» Адам сидел, положив подбородок на колени.

«Не знаю, — сказала Ева, робко взглянув на мужа фиалковыми глазами. — Можно и сейчас».

«Я сейчас не могу».

«Ну что ж, подождём».

«Скажи... а ты не боишься?»

«Чего я должна бояться?»

«Что ты забеременеешь, чёрт возьми!»

«Нет, не боюсь, — сказала Ева. — Тем более, что ты там не бывал».

Они умолкли. Возможно, это была первая супружеская размолвка.

«Нет, серьёзно, — сказал Адам, — ты в самом деле думаешь, что я...»

«Я бы почувствовала. И к тому же, как тебе объяснить? Я всё ещё девушка».

«Что это значит?»

«Не знаешь, что значит быть девушкой?»

«Нет».

«И я не знаю. Я не могу тебе объяснить, я это просто чувствую. Если говорить откровенно, это меня тяготит».

Она добавила:

«Ты должен меня от этого освободить».

«Ты так думаешь?» — спросил он неуверенно.

«А как же иначе. Ведь я твоя жена. Ты не смущайся. Первый блин комом. Главное — не торопиться».

«Я поражаюсь: откуда ты это всё знаешь?»

«Женщины знают».

«Но ты же первая женщина на земле».

«Собственно говоря, ещё не женщина. Но всё равно. Знание даётся нам от природы. А мужчине надо приобрести опыт».

Адам погрузился в размышления.

«Я думаю, — осторожно напомнила Ева, — уже прошло довольно много времени. Ты любишь меня?»

«Я не знаю, — пролепетал Адам. — Что такое любовь?»

Она не успела ответить, как из-за кустов вышел распорядитель. Он был в картузе, в дворничком фартуке и держал в руках метлу.

«Закрываем», — сказал он.

Они взглянули на него с испугом.

«Шесть часов. Сад закрывается. А ты, — сказал он Еве, — хоть бы надела что-нибудь на себя, бесстыдница...»

«Дедушка, — покраснев, сказала Ева, — ещё немножко...»

«Ещё десять минут, — твёрдо сказал Адам, — и мы уходим».

Иосиф и жена Потифара

Иосиф сидел над государственными актами, когда вошла служанка с приказом явиться к госпоже.

Супруга главы Управления безопасности возлежала на ложе, в дезабилье. Иосиф отвесил поклон.

«Давно хотела познакомиться с тобой поближе».

Он снова поклонился.

«Присядь. Я знаю, что ты занят, и не буду тебя утомлять околичностями. Вот, — она извлекла из ночного столика папирус, — я только что получила. Доклад коллегии халдеев. Сугубо секретно. Je compte sur votre discrétion»¹

Иосиф наклонил голову.

Египтянка зачитала документ. Согласно расположению светил, у госпожи NN ожидается потомство от Иосифа, сына Иакова, иудейнина, начальника телохранителей, в недалёком будущем — первого советника его небесного величества Фараона.

«Ты молчишь», — заметила госпожа.

«Мадам, — проговорил Иосиф. Разговор продолжался по-французски. — Я весьма польщён. Но...»

Жена Потифара подняла протестующим жестом руку в браслетах и кольцах; он продолжал:

«Я польщён этим предложением, — если я вас правильно понял, — но закон моих предков запрещает вступать в связь с замужней женщиной».

«Мы не в Земле Израиля, — возразила она. — Вдобавок, как ты видишь, такова воля богов».

«Астрология — несовершенная наука. Можно и ошибиться».

Он не посмел добавить, что гороскоп часто составляется применительно к ожиданиям именитого заказчика.

Она усмехнулась.

«Ты очень красив. Согласись, что это тоже немаловажный фактор... Но вернёмся к твоему замечанию о законе. Ты давно у нас и, может быть, кое-что забыл. Я могу тебе напомнить. Ваш закон предусматривает, среди прочих видов сближения мужчины и женщины, сакральное соитие. При этом, как правило, секс по заданию небес совершается по почину женщины... Кстати, — она мельком оглядела себя, — я ведь тоже, как видишь, недурна...»

«Красота моей госпожи не имеет себе равных во всём Среднем Царстве», — сказал Иосиф.

«Ты опытный царедворец. Но я готова принять твой комплимент всерьёз. Хочу добавить к сказанному... Ты сослался на то, что я замужем. Я не стану говорить о моих чувствах к мужу, которого я глубоко почитаю. Не говоря уже о том, что он немолод... Замечу только, что и наш, и ваш закон различают брак земной и небесный. Один совершается по земным, практическим со-

¹ Рассчитываю на вашу скромность (фр.).

ображениям. В данном случае, государственным. Другой... Не надо их смешивать. Пожалуй, мы слишком скованы пуританскими представлениями о сексе».

Помолчали.

«У меня быд доверительный разговор с его величеством. Его величество дал понять, что он не возражает. Итак?»

Иосиф безмолвствовал.

«Ты прав, — сказала она, — не будем тратить слов. Я составила расписание. Ты приходишь ко мне каждую третью ночь. Муж, как ты знаешь, в это время на работе. Мои рабыни немые, как рыбы в Ниле».

«Хорошо, — сказал Иосиф, — я подумаю».

Рабби Лёв и Голем

Огромный глиняный Голем стоял посреди двора, расставив ноги, развесив ручки, а маленький реб Лёв Циммерман наблюдал за ним с порога.

«Попробуй ходить», — сказал он.

Великан сделал несколько шагов.

«Прекрасно. Теперь...»

Голем выполнил ещё несколько упражнений.

«Остаётся выучить тебя говорить, — сказал реб Лёв. — Повторяй за мной: я...»

«Йа-а».

«Я Голем», — сказал реб Лёв.

Голем повторил.

«Я родился семнадцатого ава 5330 года».

«Когда это?» — спросил Голем.

«Я уже сказал: семнадцатого ава. У христиан сейчас 1570 год, июль. Но ты не христианин».

«А кто я?»

«Пока что ты Голем».

«Я — Голем», — сказал Голем.

«Правильно», — резюмировал рабби.

Начал накрапывать дождь.

«Это плохо, — сказал реб Лёв. — Становись под крышу».

Глиняный человек возразил:

«Я твёрд, как камень».

«Да, но я боюсь, что ты размокнешь. Кому сказано? Стань под крышу».

Так прошёл первый день.

Назавтра человек из глины успешно повторил вчерашний урок и выучил наизусть первую фразу Книги Берейшит: «В начале Элохим сотворили небо и землю».

Учитель подумывал о том, чтобы подвергнуть Голема обжигу и тем обезопасить его от превратностей божественного климата. Но глиняный человек мог потерять способность к дальнейшему обучению. К тому же в Праге не нашлось бы печей такого размера. Для Голема сшили дворницкий фартук, он передвигался по двору, усердно размахивая метлой. В перерывах между работой Голем повторял за ребе фразу из Книги Берейшит.

Рабби Лёв был доволен.

«Не потеряй свиток, который я вложил тебе в рот», — сказал он.

«А что будет?»

«Будет очень плохо».

«Для кого?»

«Для тебя, дуралей!»

«Я бы попросил... — сказал Голем обиженно, — меня не обзывать».

«Хорошо, не буду, — согласился рабби. — Но предупреждаю тебя: ты должен меня слушаться. В твоих же собственных интересах».

«А ты — меня», — сказал глиняный человек. И прошло ещё сколько-то времени.

Рабби Лёв сидел, как всегда, за книгами, когда раздался треск. Это скрипели и трещали ступеньки крыльца. Что-то упало. Голем протиснулся в комнату.

«Есть разговор», — сказал он.

«Метлу надо оставлять на улице, — заметил рабби. — В чём дело?»

«Есть разговор. В твоей книге слишком много противоречий».

Реб Лёв пожал плечами.

«Может быть. Но о Торе так не говорят».

«И вообще, — продолжал Голем, — она мне не нравится».

Учитель поинтересовался: почему?

«Долго объяснять. А вот что мне нравится, так это твоя комната».

С тех пор Голем жил в доме, а рабби убирал двор и ночевал в сарае.

Вместе с рабби глиняный человек гулял по городу, возбуждая всеобщее любопытство. На нём был кафтан, панталоны до колен, белые чулки и туфли с пряжками. На голове высокая чёрная шляпа.

Оба остановились на базарной площади, вокруг столпился народ.

Голем объяснял людям, что реб Лёв — это его создание. Кто смеялся, а кто и поверил.

«Не надо так много разговаривать, — сказал реб Лёв, когда они вернулись домой, — а то ещё выронишь изо рта свиток».

Мало-помалу распространился слух, что рабби Лёв Циммерман лишь выдаёт себя за человека, а на самом деле — говорящая глиняная кукла.

В конце концов он был разоблачён и с бранью изгнан из синагоги. Мальчишки швыряли в него камнями. Голем строго наказал ему никуда не отлучаться. Рабби жил в сарае, вставал на рассвете, колот дрова, носил воду, а Голем сидел в его комнате и делал вид, что изучает Тору.

«Нет, — сказал он однажды, — надо всё-таки открыть глаза людям».

Держа святую книгу под мышкой, Голем появился на базарной площади.

«Евреи, — сказал он, — вас бесстыдно обманывают. Просто-таки водят за нос. Вот, — он раскрыл Тору, — тут рассказано о том, как Бог создал из ничего небо и землю, и земных тварей, и человека, и всё это за каких-то семь дней. Этого не может быть! А вы слушаете и всему верите. Всем этим сказкам... Таки плюньте, наконец, на них. Как я!»

С этими словами он швырнул Тору на землю, с громом прочистил носоглотку и плюнул на Книгу книг.

Крошечный свиток вылетел у Голема изо рта, и тут что-то случилось.

Поражённые зрители молча смотрели на книгу в толстом переплёте из телячьей кожи с серебряными застёжками и кучу сырой глины, которая расплзлась по земле.

Из сборника
«ЗАБЫТАЯ ТЕТРАДЬ»

ДВЕ РЕЧИ

1

Речь по случаю присуждения Русской премии (2009)

Приезжая в Москву, я слышу вокруг себя русскую речь, и она вызывает у меня двойственное чувство.

Это родной, материнский язык и в то же время не совсем родной.

Он кажется мне испорченным, но это живой, современный русский язык, и я должен признаться, что я на нём уже не говорю.

Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сберечь язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, русским политическим эмигрантам 20-х и 30-х годов прошлого века. Их, как и нас, порой ужасал жаргон метрополии. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простолюдинства, язык гостей Тримальхиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не золотая латынь Цезаря и Цицерона.

И всё же, всё же... Мы не можем пересоздавать язык, который течёт мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем горстями, чтобы совершить омовение. Но ведь и твёрдый берег был когда-

то текучей стихией; мы сидим на этой окаменелости языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем по своей прихоти перекраивать язык. Но портить язык, плевать в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остаётся лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка, наподобие процесса самоочищения рек.

Награда, которой я удостоен, присуждается писателям, чьё призвание и утешение — беречь и пестовать русский язык как неотъемлемое достояние мировой культуры, и я горжусь тем, что причислен к ним. Я благодарю жюри и всех присутствующих.

2

*Речь, произнесённая в Гейдельберге при получении премии *Literatur im Exil* (Литература в изгнании)*

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди дежурный по камере торжественно несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение

права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибежали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый ещё при наркOME Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреть туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать включает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и невозвратно оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», — говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо исказился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактур, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплёты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немислим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть, словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперяется Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата *Sefer Jezira* (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинён в середине первого тысячелетия нашей эры, — из этого трактата

можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, — в нём предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, — всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита — алеф. А я, сказал учитель, помню вторую — бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначают нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.

ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ

К повести «Запах звёзд»

Я решаюсь публиковать эту историю, относящуюся к первым временам моей литературной работы, хорошо понимая, что её тема не вызовет интереса у сегодняшних читателей в России. Кому охота ворошить прошлое. Вопрос, однако, в том, удалось ли это прошлое отменить. «Запах звёзд» не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит перед собой задачу разоблачить кого-либо или что-либо. Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притязает на то, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить, — если кто-то вообще о ней помнит, — что она была и сплыла. Жизни, о которой всем хотелось бы думать как о более или менее случайном, преходящем эпизоде национальной истории.

Я не хочу здесь касаться вопроса, в какой мере лагерный образ жизни отвечал традициям страны, где крепостное право было отменено лишь каких-нибудь полтора-два столетия тому назад, чтобы возродиться при советской власти либо в форме колхозного строя, либо в той форме, о которой здесь идёт речь. На ум приходит фраза Толстого о том, что солдат, раненный в деле, думает, будто проиграна вся кампания. Человек, отведавший лагеря, скажут мне, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Лагерный фольклор зафиксировал эту иллюзию, там считали, что на воле вообще никого уже не осталось. И всё же я думаю, что лагерь представляет собой нечто коренное в истории минувшего века. Лагерная цивилизация, какой бы архаичной она ни выглядела, как бы сильно ни напоминала не только времена Грозного или Петра, но чуть ли не Египет фараонов, — в такой же степени продолжение традиций, как и принадлежность модерна. Более того, цивилизация принудительного труда в её новейшем облике представляет собой достижение всемирно-исторического значения, которым — прошу принять мои слова всерьёз — поистине вправе гордиться наша страна.

Эта цивилизация не могла бы достичь такого размаха и совершенства в иных географических условиях. Обширность России, её воронкообразная, засасывающая география, словно созданная для того, чтобы превратить наше отечество в обетованную землю массового принудительного труда, этой новейшей реализации утопического (как считали) проекта Общего Дела на военно-дисциплинарных началах, о котором грезил Николай Фёдоров, — эта география, говорю я, позволила в глухой тайне свозить в лагерь, эшелон за эшелон, на протяжении полувека, десятки миллионов людей. Само собой, к ним нужно добавить и колоссальный аппарат сыска, и многоступенчатую бюрократию, и вооружённую охрану. В итоге труд заключённых преобразил страну, воздвиг города и прорыл каналы, проложил железные дороги и создал целые отрасли промышленности; концлагеря размножились повсеместно, а не только в отдалённых районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; лагерь, как кромка леса на горизонте, стоял везде, маячил немой угрозой, и можно было бы сказать, пользуясь юнгианской терминологией, что архетип лагеря остался неистребим в коллективном бессознательном народа. Этим и объясняется настойчивое желание не дать ему вновь ожить в сознании.

Однако мы отвлеклись. Ведь никому из сидевших тогда, намертво забытых, наглухо засекреченных и как бы вовсе не существовавших, не приходило в голову, что они находятся на переднем крае национальной истории. Лагерь был новейшей модификацией подземного царства, а в аду, как известно, очень скучно.

Париж, 12 июня 2004

К повести «Третье время»

«Der Sand, der durch die Uhr der Zeit läuft, ist aus unserer Asche gemacht» (Песок, что сыплется в часах времени, сотворён из нашего пепла). Фраза, с которой Фридрих Зибург начинает свою книгу о Наполеоне, могла бы стать вторым эпиграфом к повести, где вымышленный сюжет вставлен в раму детских воспоминаний.

Лишь дух истории, продолжает Зибург, утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом.

Эра исторического оптимизма захлебнулась, и вера в будущее превратилась в исповедание прошлого. История — его священная

книга. Вера в прошлое заменила надежду на будущее: вера в спасительную силу истории, будто бы способной всё разъяснить, примирить и оправдать. Вот то, что мне непонятно и чуждо.

Подмена — вот о чём идёт речь; под «историей» подразумевается не то, что было, а то, что об этом написано. Смысл истории, как смысл мира, внеположный миру, лежит вне истории. Смысл истории есть артефакт.

Да, мы на самом деле посетили мир в его минуты роковые; мы были тем прахом, человеческой пылью, которая спрессовалась в сыпучее содержимое песочных часов. Мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, видели воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка.

К повести «Светлояр»

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что допущение, лежащее в основе этого небольшого сочинения, явно противоречит медицинской науке и врачебной практике. Нам предлагают поверить в то, что мозг человека в коме может сохранять «сознание сознания», другими словами, больной (в данном случае протагонист) якобы всё ещё сознаёт, что он не потерял сознание себя, своего «я». Как известно, коматозное состояние характеризуется утратой контакта с окружающим миром, угасанием рефлексов, потерей самосознания и чувствительности к раздражениям. Без неотложной помощи пациент умирает.

Следствием или, если угодно, оправданием этого допущения оказывается некоторое литературное новшество, — пожалуй, особый жанр.

Речь идёт о театре предсмертных сновидений.

Умиравший мозг демонстрирует полусуществующему повествователю сцены его собственной жизни, пунктиром намечена история детской любви, спустя много лет завершившейся в таёжных керженских лесах — в советском концентрационном лагере.

Ключ к пониманию повести, её ведущий образ — невидимый град Китеж, по преданию опустившийся в воды озера Светлояр, недалеко от которого был расположен подразумеваемый в повести Унженский исправительно-трудовой лагерь, где автор отбывал в юности срок заключения. Некогда в этих краях скрывались рас-

кольники: то была глухая, непроходимая Русь, северо-восток европейской части страны. Сеть лагпунктов, в которых по некоторым сведениям обитало 70 тысяч рабов, раскинулась на территории, сопоставимой с небольшим европейским государством. Основной профиль — лесоповал. Лагерь вгрызлся в глубь страны, оставляя за собой обширные выжженные пустоши. Географически не так далеко от наших мест находилось легендарное озеро Светлояр. На его берегах стоял Китеж. Блуждая в поисках поживы, татары добрались до озера, но никакого города не нашли: чудесным образом Китеж опустился в Светлояр. В тихую погоду можно услышать доносящийся со дна колокольный звон, различить в воде золотые маковки церквей... Волшебное озеро становится символом спасения из бесчеловечного мира.

Великая и неистребимая мечта *уйти с концами*, мечта беглых каторжников и сбежавших от помещика крепостных, мечта старообрядцев и лагерных рабов, бежать — куда? Из страны вглубь страны, из гнусного времени в другое время. Из неволи — на волю!

Уйти с любимой женщиной в смерть, на дно легендарного озера, мечтает герой повести Б.Хазанова «Светлояр».

VITA SOMNIUM BREVE

(Жизнь — краткий сон)

Owê war sint verschwunden alliu miniu jâr! ist mir min leben getroumet, oder ist ez wâr? daz ich ie wânde ez wære, was daz allez iht? dar nâch hân ich geslâfen und enweiz es niht. nû bin ich erwachet...¹

Это Вальтер фон дер Фогельвейде, ссредневерхненемецкий язык.

Австрийскому миннезингеру XIII века в двадцатом столетии откликается русский поэт:

«Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

*

Некогда старик-курд предсказал мне, что я разучусь спать — через много лет. Теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду.

Усталый от жизни и суеты, я ложусь. Каких-нибудь полутора часов не проходит, открываю глаза. Не уснёшь. Ночник горит на столике рядом с кроватью. Бдительный циферблат кажет глубокую ночь. Сколько-то времени пройдёт, прежде чем я вновь забудусь. И тогда снова, в который раз, передо мной оживёт моя причудливая жизнь.

Мне снится, что я проснулся. И хоть я уговариваю себя, что всё ещё сплю, время моей жизни торопится, часы бесстрастно подтверждают это. Лампа по-прежнему освещает брошенную непрочитанной книгу, таблетку спасительного снадобья и стакан воды. Борюсь ли я с бодрствованием или со сном? Отрываясь от подушки, я разливаю дощатый стол, хилую лампочку, висящую на своём проводе. За

¹ «Увы, куда исчезли все мои годы... Приснилась мне моя жизнь или была на самом деле? Всё, что казалось настоящим, может, было обманчивой игрой. Я долго спал — и не чуял этого. А теперь пробудился...»

столом сидит, уронив голову на руки, инвалид дневальный, потомок древнего племени кочевников персидского Курдистана. В дебрях Месопотамии, в полумраке далёких времён могучий дружный храп строителей египетских пирамид сотрясает ряды двухэтажных четырёхспальных нар.

*

Сон подобен смерти, от которой можно воскреснуть, и я всё ещё жив. Время спешит, торопится, и вот, считанное число ударов сердца осталось до той минуты, когда дежурный надзиратель на вахте сползёт со своей скамьи. Тряхнёт отяжелелой головой, надвинет на лоб шапку-ушанку со звёздочкой, зевая и заливаясь слезами, выйдет справить нужду к воротам. И, наконец, гроыхнет кувалдой по рельсе, подвешенной рядом с вахтой.

И дневальный, очнувшись, поднимется. из-за стола.

Тогда распахнётся дверь барачной секции. Нарядчик, рослый мужик, похожий на громилу, кем он и был на воле, ввалится и грохнет о передние нары выскобленной доской, на которой химическим карандашом начертан список бригад, и сколько рабов числится в каждой бригаде, — *па-адъём!*..

Нет слова хуже.

На живописном наречии наших мест — *как серпом по яйцам*.

Подъём! Тяжко, молча зашевелился на нижних нарах подневольный народ, спускает ноги с верхних и спрыгивает на пол. Кряхтя, дневалуга тащит по коридору из сушилки коромысло с производственным вещдоловством, сваливает на пол ароматно пахнущие жареным, как сухари, ватные штаны, стёганные бушлаты, валенки и портянки. Нет, жизнь моя, ты мне не снишься, я натягиваю на свои тощие ягодицы лагерные подштанники, завязываю на щиколотках завязки, влезаю в порты, наворачиваю портянки, всаживаю спелёнутые ступни в голенища растоптанных валенок «бе-у»: заскорузлые, еле влезешь, к вечеру они разбухнут в сырых таёжных снегах.

Я готов. На мне бушлат поверх телогрейки. На голове-балде, остриженной наголо, бабий платок-тряпка, плотно повязанный, чтобы не дуло в уши, шапка-ушанка с козырьком рыбьего меха, не забьгть рукавицы. Теперь топ-топ в столовую.

*

Аппетитная вонь шибает в нос, сладостно щекочет ноздри. Бригада расселась на длинных скамьях за столами. Краснорожие амба-

лы — повезло работать на кухне — несут на вытянутых ручищах фанерные подносы с мисками в три яруса, выкрикивают номера бригад, и сто глоток режут им навстречу: «Сюда!» Пир викингов, эпическая трапеза чудо-богатырей.

Помбригадира раздаёт кильки, кладёт щепотью на стол перед каждым горку ржавых рыбок. Народ уписывает самодельными ложками баланду из оловянных мисок, а тот, кто некогда был мною, всё ещё дремлет на нарах, ждёт, когда кувалда ударит в колокольную рельсу, когда взорвётся зычный окрик нарядчика. Всё смешалось в моём мозгу. Горит настольная лампа, и я дохлёбываю баланду, допиваю остатки, подняв миску ко рту. Высоко в тёмном утреннем небе виден маленький бледный кружок луны. Часы на столике кажут невероятное время.

*

Утро. Звонок: «Проверка паспортов». Кому неизвестно, что означает этот пароль? А я, как дурак, отворяю — вместо того, чтобы выбросить рукопись вниз, на балкон соседней квартиры. Звонок, раз и ещё раз. Гости стоят за дверью.

Слишком рано — ещё не успел начаться развод. Ещё не открылись ворота. Ещё топчутся бригады, по четыре головы в ряд, — колыхнулись, двинулись, на выходе начальник конвоя трясёт перстом, считает четвёрки. Надзиратели обхлопывают выходящих, любовно обнимают, лезут под бушлат, нет ли чего неположенного в загодя пришитых к подкладке карманах: шмон перед выходом на работу. Крутом сидят на поджарых задах, зевают, ждут овчарки.

*

Жизнь есть сон, прав был великий испанец, не зря хитросплетения жизни столь близко напоминают алогизм сновидений. Но рано или поздно, не сегодня-завтра, как от сна, просыпаешься от жизни. И становится ясно: пресловутая действительность недействительна. Так называемая реальность нереальна.

Звонок в дверь. Тотчас, не дожидаясь, когда колонны рабов зашагают под крики конвоя между рельсами железнодорожной насыпи, побегут крысиной семенящей побежкой, оттого что мало места между шпалами для мужского шага, — тотчас, не мешкая, в квартиру вваливается отряд.

Плюгавый человек спрашивает фамилию.

Я отвечаю.

«Сдать оружие».

«Кроме кухонного ножа, иного оружия не держим».

«Оставьте ваши шутки. Документы...»

Я предъявляю паспорт заоблачного Королевства Непал.

«Это что такое, какое ещё королевство, где находится?»

«Не знаю. Я троюродный племянник короля Махендры».

«Так. Связь с заграничными спецслужбами. Новый материал».

Бумажку под нос, ордер на обыск подпись прокурора: закон есть закон.

Распахиваются створки шкафов, разбрасываются на пол книги, развинчивается стиральная машина. Раздвинулись ворота лагпункта. Зевают розыскные псы, сидя на поджарых задах. Скучают понятые — статисты без речей.

Письменный стол: следователь потрясает трофейной кипой исписанных листков, на первой странице заголовок: *Vita somnium breve*. Разглашение государственной тайны. Статья уголовного кодекса.

Усталый от слов и забот, от жизни и суеты, я ложусь. Лампа горит на столике рядом с кроватью. Часы показывают глубокую ночь. Сколько-то времени проходит, прежде чем я вновь забываюсь. И тогда передо мной оживает моя причудливая жизнь.

Март 2013

ПУШКИН

Вечером вспоминается...

Страшный день 27 января 1837 года. Под вечер, в седьмом часу, в густеющих сумерках лошади остановились перед домом на набережной Мойки, принадлежащем кн. Софье Волконской. Старый дядька выбежал на крыльцо, вынес из кареты на руках, как ребёнка, светловолосого курчавого человека. Через два дня, 29-го, без четверти три, все часы в доме были остановлены — Пушкин скончался.

Причина смерти — проникающее огнестрельное ранение в живот, внутреннее кровотечение и начинающийся перитонит. Живи Пушкин в наше время, медицина могла бы его спасти.

Александр Блок в речи «О назначении поэта» в феврале 1921 г., незадолго до собственной кончины, сказал:

«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».

Юрий Лотман пишет:

«Пушкин еще не испустил последнего вдоха, а уже сделалось ясно, что он родился для новой, легендарной жизни, что масштабы, которыми отныне меряются его имя и дело, таковы, что в свете их все геккерены и дантесы, уваровы и нессельроде и даже бенкендорфы и николаи — просто не существуют».

Вечером вспоминаешь, зажигаешь свет. Озираешь своё эмигрантское жильё. В который раз вперяешься в домашний экран, вновь и вновь задаёшь себе вопрос о смысле и оправдании собственных литературных проб и усилий, и не находишь ответа. И тогда является великое утешение: Пушкин.

Пушкин повестей Белкина, Пиковой дамы, Египетских ночей... Золотая латынь Пушкина, русская aurea latinitas.

Пушкин — поэт, прозаик, драматург, историк, литературный критик. Пушкин — целая литература с её жанрами, исторической сменой эпох и направлений в одном лице.

Принято находить, что в Пушкине, как дуб в жёлуде, преформировано всё будущее русской классической литературы. Осиротев после смерти Пушкина, она, однако, ему изменила. Так изменили Баху его сыновья.

Пушкин мог бы дожить до восьмидесятых годов. Если бы он присутствовал на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня 1880 г., сидел в зале, — что сказал бы он, выслушав знаменитую речь Достоевского? Узнал бы в ней себя самого?

Достоевский клялся именем Пушкина — и отменил Пушкина. Покончил с пушкинским лаконизмом, божественной пушкинской гармонией, внутренней свободой и уравновешенностью, со всем тем, что имел в виду Блок, говоря о конце пушкинской культуры.

Пушкин был убит. Мы — его сироты, всё ещё живы.

2013

VERITAS

(Истина)

Некто, приехавший в незнакомый город, не знал, как ему добраться до места назначения; денег у него было немного, он решил воспользоваться городским транспортом. Смеркалось, шёл снег, на вокзальной площади зажглись фонари; он увидел трамвайную остановку, подошёл к вагоновожатому и спросил, с трудом подбирая слова чужого языка, как доехать до Plata de veritat. Вы, наверное, имеете в виду Plaasa d'feritaat? — сказал водитель и принялся объяснять. Оказалось, что добираться надо тремя трамваями и поездка займёт, не считая ожидания на остановках, не меньше часа. Разве город так велик? — спросил приезжий. Не так чтобы уж очень, ответил вагоновожатый, но всё-таки. Путешественник увидел остановку автобуса. Вам, наверное, до Plaizza ed veritaa, поправил его шофёр. Можете доехать. Но придётся сделать несколько пересадок.

Приезжий сошёл по ступенькам вниз и убедился, что в городе имеется огромная сеть подземных дорог. Он подошёл к большому щиту и после долгих поисков нашёл нужную остановку. Было уже довольно поздно, на разговоры с водителем трамвая и шофёром автобуса ушло слишком много времени. Усевшись у окна, гость поставил чемодан между ног, устроился поудобнее и мгновенно уснул под мерный стук колёс. Проснувшись, он увидел, что сидит один в пустом вагоне, поезд несётся в чёрном туннеле. Несколько времени спустя достигли конечной станции, приезжий вышел и, миновав длинный, скудно освещённый переход, поглядывая на обрывки плакатов и стрелы направлений, сошёл по лестнице и оказался на другом перроне. Здесь тоже свет горел вполнакала, в этот час городские власти сэкономили электричество. Подошёл полутёмный состав, и опять путешественник качался в гремучем вагоне, поглядывал на чёрные отсыревшие стены туннеля, видел тёмные фигуры дорожных рабочих, читал названия станций и прикидывал, сколько осталось до конечной остановки. Выйдя, он спустился по эскалатору ещё ниже, дождался нового поезда и ров-

но в полночь прибыл на станцию с названием, которое более или менее соответствовало — с поправкой на местный акцент — наименованию нужной ему площади.

Но когда он выбрался с чемоданом наружу, он увидел перед собой всё ту же вокзальную площадь; что за чёрт, подумал он. К счастью, снегопад прекратился. Последний трамвай ожидал запоздалых пассажиров. Гость подошёл к вагоновожатому, тот объяснил, что надо ехать тремя трамваями. Но вряд ли удастся поспеть на второй трамвай, не говоря уже о третьем. Приезжий поплёлся к автобусу; шофёр дремал, положив голову на руль. Шофёр повторил то, что сказал его напарник несколько часов тому назад. Впрочем, добавил он, посмотрев на часы, вы всё равно не успеете. Может быть, на метро? — в отчаянии спросил гость. Водитель автобуса покачал головой, метро уже закрылось.

Скиталец двинулся куда глаза глядят, половина фонарей на площади не горела, в полутьме, свернув в переулок, он споткнулся о чьи-то ноги. Это был нищий. Он сидел, прислонясь к стене дома, во всех окнах уже погасли огни. Приезжий рассыпался в извинениях. Ничего, успокоил его нищий, нам не привыкать. А ты кто будешь, спросил он. Приезжий сел на чемодан и рассказал о своих злоключениях. Надо было остаться в метро, я иногда там ночую, заметил нищий. Почему же ты сейчас не там? — спросил приезжий. Да вот, сказал нищий, задремал, а они тем временем уже закрылись. Зато познакомился с тобой. Нищий поглядел на иностранца и спросил: а тебе вообще-то куда надо? Приезжий молчал, и сиделец повторил свой вопрос по-французски. Ты знаешь французский язык, удивился гость. Нищий повторил то же по-английски. Я всё языки знаю, сказал он, оттого и сижу перед вокзалом. И с такой же лёгкостью, догадавшись по акценту гостя, перешёл на его родной язык. На радостях путешественник отвалил нищему щедрую милостыню.

Спасибо, ответил тот, я так и думал. — О чём ты думал? — Я так и знал, сказал нищий, что мы встретимся. Но ты не ответил: куда тебе надо?

Куда мне надо, повторил гость и вздохнул, я теперь уж и сам не знаю, я ищу площадь Истины. Вот так здорово, сказал нищий, подобрал с тротуара бесформенную шляпу и поднялся сам. Площадь Истины — да ведь она тут перед тобой. И он протянул руку в сторону вокзала. Пошли, сказал он, покажу. Они подошли к гостинице «Великий магистерий», газовая вывеска светилась над подъездом. А ты? — спросил приезжий. Нет, отвечал собиратель подаяний, таких, как я, туда не пускают.

TRISTAN

Elle vit devant eux la vase presque vide et le hanap.

J. Bédier¹

Весь день и всю ночь промучилась в родах королева. И на расвете разрешилась пригожим мальчиком, ибо так было угодно господу Богу. И, разрешившись от бремени, сказала она своей служанке: — Покажите мне моего ребенка и дайте его поцеловать, ибо я умираю. И служанка подала ей младенца. И, взяв его на руки и увидев, что не бывало еще на свете ребенка краше ее сына, молвила королева: — Сын мой, сильно мне хотелось тебя увидеть! И вот вижу прекраснейшее создание, когда-либо выношенное женщиной; но мало мне радости от твоей красоты, ибо я умираю от тех мук, что пришлось мне ради тебя испытать. Я пришла сюда, сокрушаясь от печали, печальны были мои роды, в печали я родила тебя, и ради тебя печально мне умирать. И раз ты появился на свет от печали, печальным будет твое имя: в знак печали я нарекаю тебя Тристаном.

Итак, послушайте, добрые люди, историю Тристана, племянника короля Марка, о том, как король посватался к белорукой Изольде и что из этого получилось, историю, рассказанную уже не раз и по-разному, только теперь я поведаю вам, как всё было на самом деле. Рыцарь Тристан получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что произойдет после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, но одно прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают

¹ Она увидела, что перед ними стоит почти пустой сосуд и кубок. *Ж.Бедье.*

все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёг мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах,

Под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Матушка велела мне отвезти этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отравя; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных версиях легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как был устроен свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умищённый, возлёг, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась;

наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сбег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала ночь. Стучилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними лежал меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит.

Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вождение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня.

ПОХОЖ НА ЧЕЛОВЕКА

«Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее, он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с

этим уже ничего невозможно было поделаться. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшись, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая

чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы зна-

ем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ве-

дром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись по крутым ступенькам наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойду?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадами, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривого переулка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека послышалась сирена. Нос вгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагнул, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

ПОКОЛЕНИЕ

Что такое поколение? Нечто, вычленяемое из потока исторического времени. Искусственный конструкт, фрагмент истории, к которому применима сентенция Себастьяна Гафнера: «Историю сочиняют историки. История есть произведение литературы».

Время? Кто не помнит знаменитые и знаменательные слова, обронённые блаженным Августином? Знаю, говорит он (Исповедь, XI, 14), что это такое, но если меня спросят, не сумею ответить.

Так и ты. Не правда ли, отдаёшь себе отчёт в том, что источник и материал дилетантских размышлений о «поколении» — всего лишь личные воспоминания, социальная или дружеская среда, куда забросили тебя случай и год рождения, — то, что ты так живо чувствуешь, что ты пытался выразить в твоих сочинениях, — короче, то особое мироощущение, которое серьёзные историки называют «духом времени». Но, возродить и одушевить это канувшее в прошлое умонастроение они едва ли способны. Да и не ставят перед собою такой задачи.

Так что придётся, наконец, сознаться, что поколение, которому ты якобы принадлежал, чьим законным представителем себя считаешь, — есть не что иное как ты сам, твоё обобщённое прошлое.

Конечно, я отлично помню мелочи времени, — речь идёт о первых послевоенных годах, — мелочи, которые склеивали современников в единую массу, песенки, анекдоты, летучие неологизмы, сиюминутные речения, популярные имена, герои и героини экрана, наряды девушек, болтовню эстрадных конференсье, барабанный бой газет, уставших лгать самим себе («умру, — писал Эренбург, — вы вспомните газеты шорох...»), наконец культ Вождя-каннибала, принявший клинические формы массового помешательства, — всё помню наизусть, всё стоит перед глазами, звучит и плещется в ушах. Меня, однако, занимает та безвозвратно исчезнувшая атмосфера, которая, как облако нейропаралитического газа, всех нас накрыла, заполнила лёгкие, одурманила мозг, атмосфера, о которой не смели, а чаще и не хотели поведать подневольные советские литераторы, ра-

бы, пишущие для рабов, — летописцы и мемуаристы этой поры. Много позже редчайшим исключением оказался разве только Юрий Трифонов, — разумеется, не в «Студентах», — между тем как столь чуткий ко всему современному Илья Григорьевич Эренбург, кумир интеллигенции, пришедшей на смену поколению молодёжи, о коем речь, в своих прогремевших воспоминаниях промолчал о главной, страшной черте эпохи, не обмолвившись ни словом о тайной полиции, о тюрьмах и лагерях, — грубо говоря, под видом панорамы времени создал великолепный и величественный фальсификат.

Невозможно говорить об обществе, породившем наше гипотетическое поколение, потому что никакого общества в Советском Союзе не было. Был «народ-победитель» — электрическая слава сияла над зданием Центрального универмага, — но победитель понёс такие потери, что последствия катастрофического урона ощущаются до сих пор, спустя полвека с лишком после окончания войны; такова была цена, заплаченная под водительством «величайшего полководца всех времён и народов» за спасение и возрождение режима.

Но ты собрался было говорить о поколении. Трудная тема! Шаткое, неверное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Впрочем, ты уже вещал об этом.

«Моё поколение» — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал к этому никакой охоты. Приведу ещё одну цитату. «Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». (М. Харитонов, эссе «Родившийся в 37-м»).

Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Рискую впасть в неуместное острословие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем отечестве попросту прекратилась. Нам остаётся вспоминать только о войне, о победе над иноземным завоевателем, которую всё ещё не отличают от поражения, великой победы государства над собственным народом, когда миллионы раненых, искалеченных, полумёртвых, полуживых возвращались с полей войны в эшелонах, меченных красными крестами в белых кружках вагонов, на госпитальных судах, в тряских телегах, в колоннах санитарных фургонов по залитым грязью дорогам.

И всё-таки! Нырря в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае, увы, всего лишь к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг тогдашнего призывного возраста к концу войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное и расплывлённое поколение, и не только потому, что всякое проявление, любая попытка сплотиться, группа единомышленников, дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции, прослаивались донощиками и заканчивались арестами. Но и потому, что мы были квази-поколением с начисто вытравленным инстинктом солидарности, воспитаны всеобщим страхом и вечной необходимостью быть начеку, приучены к повсеместному подслушиванию и подглядыванию. Потому что мы угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени.

Сказать о нас, что мы, внуки мертвящих тридцатых годов, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, сказать, что мы не знали жизни, было бы и правдой, и неправдой. Нет, с реальностью повседневного существования в СССР, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., были мы очень даже знакомы, сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась по углам наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого парадоксальным образом стали какая-то странная, всё ещё не преодолённая невзрослость, застенчивость и стыдливость. Стороннего наблюдателя должно было поразить наше пуританство, воспитанное и внедрённое ханжеской полицейской моралью, невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед самой робкой мужской инициативой у девушек, какой-то духовный (да и физический) запор вкупе с неизбежным следствием подобного воспитания — обоюдной скованностью и бесчисленными словесными табу... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнен к политической крамоле. Искалеченное поколение, вот кем мы были.

МЁРТВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Собственно, автор этих заметок не вправе называть Тридцатые годы мёртвыми. Для меня они — счастливое (более или менее) время. В 32-м родители переехали из Ленинграда; мне было четыре года. С тех пор началось московское детство в бывшем доходном, построенном на рубеже века доме № 3/2 по Большому Козловскому переулку, на углу Боярского и в ближних улочках и переулках — Машковом, Фурманном, Большом и Малом Харитоньевском, на Чистых прудах, на Мясницкой, переименованной в улицу Кирова, у Красных ворот. Никаких ворот уже не существовало, не осталось и деревьев на Садовом кольце.

Что это было за время? Бывает, что история проваливается в яму, истощив свои движущие силы и творческие ресурсы, — так случилось с нами, со всей нашей страной. Таков был итог предыдущего, второго десятилетия. Мы жили в эпоху, которой не было. И всё же, если можно говорить (вслед за Лидией Гинзбург, Кириллом Кобриным и другими) о людях 20-х годов как о поколении, осознававшем свою особую историческую роль, то почему бы не обособить, не выделить пришедшее им на смену, а лучше сказать, выкарабкавшееся из расщелины поколение 30-х? Ему досталось наследство, значение которого с большим опозданием дошло до сознания наших отцов. Именно они, люди второго десятилетия, якобы не утратившие (если верить Тынянову) историческое чутьё, стали современниками некоего почти мифологического конца времён — победы карлика над партийными диадохами — соперниками в кровавой борьбе за власть — и окончательного прощания с революцией.

О том, что триумф и воцарение карлика означают наступление новой эпохи, о том, что век-волкодав, по слову Мандельштама, на пороге, что громогласно объявленная цель и задача сотворения будущего человека будет успешно решена и на свет явится новый Адам — советский человек, — люди 20-х годов не догадывались. Вслед за побеждёнными их ожидали подвалы и крематории тайной полиции — государства в государстве.

Последствия этой победы не заставили себя долго ждать. Истребление элит. Крепостное право (коллективизация деревни). Рабовладение (лагеря принудительного труда). Возвращение к царскому колониализму (аннексия западных областей Польши, прибалтийских государств и т.д.) Небывалая по размаху и наглости, вездесущая и всепроникающая пропаганда. Восхваление вождя-каннибала, принявшее характер массового помешательства.

Разумеется, мои сверстники, мальчики и девочки, игравшие в начертанные мелом на асфальте «классики», в «колдунчики», в «двенадцать палочек», бегавшие и прыгавшие в тесном каменном дворе нашего дома, между пожарными лестницами и верёвками с мокрым бельём на деревянных прищепках, — разумеется, не подозревали, что когда-нибудь они станут душеприказчиками своих отцов и дедов, — самосознание третьего послереволюционного поколения пробудилось куда позже.

СТАЛЬ И ПЛОТЬ

Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: в том, чтобы просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях. Переводя на язык чуждого ему племени, можно сказать, что он не был создан для семейной жизни. То было время, о котором когда-нибудь будут говорить как о золотом веке. Эпос соплеменников пополнится новым циклом сказаний. Никогда ещё добывание пищи не было таким лёгким и приятным занятием, никогда в лесах не водилось столько лосей и кабанов. Отчасти из-за этого благоденствия он утратил бдительность.

Другая причина была та, что я как бы уже родился счастливым. Смутно вспоминаю моих братьев и сестёр, они погибли во время Большой облавы. Мать увела меня из родных мест в дальнее заречье, в непроходимые заболоченные леса. Отца я не помню. Я жил в удобном логове под вывернутыми корнями огромной упавшей ели, вход, прикрытый еловыми лапами, невозможно было заметить даже вблизи. Птицы кружили над моим жильём, привлечённые запахом гниющих костей и черепов, я любил этот запах. Невдалеке протекал ручей, это было очень удобно, в любое время дня и ночи я мог утолить свежей проточной водой жажду после одинокого пира. Такой у меня характер — я одиночка. Конечно, отыскать себе пару в конце зимы, когда на холодном солнцепёке, под слепящим небом старые ели роняют хлопья снега и наст начинает хрустеть и подламываться на полянах, для меня никогда не составляло труда. Я был красив! От моей матери я унаследовал богатый мех, серо-серебристый в сумерках, золотящийся на солнце, я гордо нёс за собой длинный пушистый хвост, украшенный на кончике пучком чёрных волос. Я мог устроиться на дневку прямо на снегу, достаточно было лишь слегка его притоптать. Даже в трескучие морозы мне не было холодно. Живот у меня светлей, и там, где прячется мой пол, кожа особенно нежна и покрыта белым пухом. Я был красив и любил себя так, как самка любит самца, но моя страсть была неутолима.

Я никогда не потел, даже после многочасового изнурительного гона во главе стаи. Одно время я был вожаком. Но природное одиночество победило, и то же можно сказать о моих многочисленных любовных связях. У нас в обычае воспитывать волчат вдвоём и содержать их по крайней мере до тех пор, пока они не научатся сами добывать себе пропитание. Я же оставлял своих подруг и выводок где и когда мне вздумается. Возможно, это у меня от отца; как уже сказано, я не знал его. Зато мать стоит у меня перед глазами. Она происходила из старинного рода синеглазых волков, в ледяные ночи она показывала мне звёздное логово предков к югу от Весов, там, куда простирает руку Кентавр. От неё я унаследовал неподвижный, ледяной, немигающий взгляд, который парализует жертву.

Теперь я могу начать историю, о которой упомянул вскользь; как уже сказано, я был на вершине лет, в расцвете сил, мужской красоты и потенции; вокруг на десятки, может быть, сотни километров не было человеческого жилья, и о повадках людей зверь, о котором идёт речь, лишь знал понаслышке, не умел отличать запах человека, не был знаком с опознавательными зарубками на стволах, с красными ленточками, которые иногда привязывают к ветвям охотники. Никаких знамений, никакого предчувствия, как у других представителей его расы. И всё это тоже сыграло свою роковую роль. Однажды ночью, на десятом году жизни, он угодил в капкан.

Не было ничьих отпечатков, никаких следов, кроме его собственных; должно быть, охотник отступал по своим же следам и забрасывал за собой снегом. Короткий клацающий звук, как будто щёлкнула чья-то пасть, и стальные клещи сдавили левую переднюю лапу выше запястья. Капкан был весьма искусно установлен по проходному следу, центр полотна находился под самым отпечатком волчьей ноги, механизм в глубине был прикрыт белой бумагой, чтобы днём не просвечивать под снегом, и от него тянулась проволока к волоку.

Показалось сперва, что сломана кость, но кость была цела. Он дёргал лапой, волок не поддавался, был каким-то образом закреплён, чтобы зверь не ушёл с капканом. Волк потерял рассудок. Много часов он то дёргал капкан, то падал рядом, забывался на короткое время, снова вскакивал, дёргал и расшатывал крепления; лапа онемела, пальцы с когтями не шевелились, под утро пошёл густой снег, рассвет застал волка лежащим без сознания под толстой белой пеленой. Днём должны были появиться люди. Нужно было собраться

с мыслями. Он подпрыгнул несколько раз и упал в мягкую могилу. Снегопад продолжался и замёл яму. Волк помчался к оврагу, где его поджидала мать. Он хотел заговорить с ней, зашевелился в снегу, боль пробудилась и поднялась от мёртвой лапы к плечу. Подождав немного, он сделал новый прыжок и ещё один в сторону, и ещё один, и тяжёлый волок как будто подался. Солнце, как заспанный глаз, проступило сквозь густые облака. Волк прыгал в глубоком снегу, волоча за собой капкан, он искал убежище. Волк свалился в овраг. Так прошёл день. Вечером он умер.

Ветер разогнал снежные тучи, волк пребывал по ту сторону жизни, простёрся в сладостной истоме, не чувствуя ни боли, ни холода, радуясь тому, что не надо больше двигаться, не надо думать, не надо ничего. Уже третьи сутки он ничего не ел и не чувствовал голода, что было естественно, ибо за пределами жизни надобность в еде и питье отсутствует. Любопытно, что в этом потустороннем мире всё осталось прежним: снег, лесная чаща и медленно плывущие серые облака; я лежал на боку, на дне моей снежной гробницы, и почуял приближение людей. Это заставило меня одуматься; я понял, что вернулся к жизни. Было сумрачно, за деревьями дрожали огни. Люди стояли с факелами, не решаясь подойти ближе. Вдруг залаяла собака, за ней другие. Вот кого мы презираем ещё больше, чем людей. В наших сказаниях есть миф о предательстве. Странно, что они медлят. К ночи я почувствовал себя лучше. А главное, я знал, что мне надо делать. В мёртвой тиши над кронами деревьев стояла высокая белая луна. Я попытался встать на ноги, это удалось не сразу. Едва поднявшись, я снова упал, перевалился на живот, подтянул поближе омертвелую лапу в стальной подкове капкана и впился зубами повыше запястья; к моему удивлению это оказалось не очень больно. Я рванул кожу, почувствовал солёный вкус и увидел, как снег под капканом стал чернеть. Я услышал чьё-то урчанье. Это был я сам, мои зубы терзали лапу, теперь она пылала от боли, я упёрся в кость, предстояло главное испытание, насколько легче было бы, если бы кость была сломана! И я призвал на помощь призрака матери.

Она явилась, выскочила из тьмы и стояла надо мной, ничего не говоря и глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Её шерсть была окружена лунным сиянием. С отвратительным хрустом нога надломилась, от боли я потерял сознание. Когда я очнулся, моя лапа со скрюченными когтями, вместе с капканом лежала в чёрном от

крови снегу. Я не знаю, кто это сделал. Моя мать исчезла. Я хватал комья снега, пропитанного замёрзшей кровью, глотал их. После этого я отполз в сторону. Я был свободен!

Кто-то должен был первым подать голос, пернатый самец впервые в жизни подманивал самку, к нему присоединялись другие, небо светлело, становилось выше и шире, солнце зажгло верхушки елей, и вот уже вся тайга звенела и гомонила голосами птиц; наступила весна. Волк вышел на дорогу.

Он был уже не молод, но всё ещё красив, с большим сероседым воротником вокруг шеи, темноватым седлом на передней части спины, с пушистым хвостом, сохранившим чёрные волоски вокруг кончика, знак его происхождения. Он стоял на трёх лапах, поджав культю левой передней ноги, и неподвижно смотрел в просвет узкой просеки. Волк отказался от дневной лёжки, чуял приближение лошади, слышал мерное хлюпанье подков по непросохшей дороге и поскрипыванье колёс, чуял человека. Всё было известно и разведано, он должен был выбрать подходящую минуту. Он отбежал в сторону, навстречу ветру, чтобы не беспокоить ноздри лошади, следил из густого подлеска за тем, как человек в шапке лисьего меха и сам похожий на лису, с раскосыми глазами, с ружьём за спиной, проехал на подводе, сидя на мешках и упёршись в передок телеги полусогнутыми ногами. Это бывало нечасто, человек возвращался на заимку с поклажей и был в это время нетрезв. Волк нёсся большими прыжками по дороге, услышав собачий лай, свернул в лес и появился с подветренной стороны. Дом в два окна с крыльчком, крытый щепой, стоял под отлогой вырубкой по другую сторону ручья, рядом сарай и поленница под навесом. Волк брезгливо поглядывал на четырёхлапое существо, которое бегало, беснуясь, вдоль проволоки взад и вперёд от крыльца до сарая. Пёс не видел гостя. Волк улёгся в подлеске и ждал. Пёс успокоился.

Солнце медленно опускалось в дымно-лиловые облака, это предвещало завтра пасмурный день. Волк дремал и в то же время бодрствовал. Вдруг собака вскочила и залилась лаем на своём диалекте, который представлял собой испорченный язык волков. Собака предупреждала хозяина об опасности. Телега стояла перед домом, мужик удерживал дрожащую лошадь. Волк перебрался через ручей и стал на виду, поджав обрубок ноги. Человек вставил два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Собака рвалась с цепи. Волк поднял голову к темнеющим небесам и завыл, это было вступление.

«Здравствуй», — сказал он.

Человек ответил:

«Здорово».

«Наконец-то мы увиделись».

«Цыц!» — прикрикнул хозяин, и пёс взвизгнул, умолк, стал рыть передними лапами землю, заметался на проволоке.

«Вон там, — продолжал волк и кивнул в сторону леса, — лежит мой брат, птицы выклевали ему глаза, его тело издаёт зловоние. Он попался в железные клещи. Это твоя работа».

Человек не отвечал, вскинул ружьё.

«Бей, бей его!» — завизжал пёс.

«Только попробуй», — сказал волк и широко открыл свои немигающие, тлеющие синим огнём глаза. Оружие выпало из рук человека, но он не уступал, утрюмо, не отводя глаз, смотрел на зверя.

«И вот это, — сказал волк, — твоя работа», — и поднял культю. Человек усмехнулся. Волк чувствовал, как ярость пса, точно жаркое дыхание, обдаёт его на расстоянии пятнадцати прыжков; он понимал диалект собак, но собака с трудом разбирала благородную речь предков. Волк не удостоил её взглядом.

«Пусти её. Она ни в чём не виновата», — сказал он, показав кивком на лошадь. Мужик швырнул вожжи на телегу, и лошадь помчалась прочь, гремя и скрипя колёсами.

«Что же мне с тобой делать, — проговорил волк задумчиво. — Загрызть твоего раба? Раскидать крышу на твоей халупе, растерзать кур, убить поросёнка? — Он покачал головой. — Не стоит труда».

Человек не двинулся с места, стоял как вкопанный. Пёс, звеня цепочкой, пробежал несколько шагов назад и вперёд, пролаял: «Не спорь с ним, не спорь с ним!»

«Видишь, он даёт тебе хороший совет. Я поклялся тебе отомстить. И вот теперь... — он по-прежнему, не мигая, смотрел на своего обидчика, — теперь думаю, как бы это сделать так, — волк скрипнул зубами, — чтобы ты почувствовал».

Он хотел сказать: чтобы ты понял. Чтобы знал, насколько мы, наша раса, превосходим всех вас, да, при всей вашей хитрости, вашей изобретательности, при вашем умении истреблять все, что стоит на вашем пути; да, чтобы ты почувствовал, и тогда я буду знать, для чего я жил. Он хотел это сказать, но получилось бы слишком многоречиво, он привык выражаться кратко. «Становись на колени, — захрипел волк, — проси прощения, сволочь!»

Собака проскулила: «Не спорь, делай, что он велит!» Мужик не шевелился. Волк повторил свою команду. Так они стояли друг против друга, и человек еле заметно покачал головой — то ли отказывался подчиниться, то ли удивлялся. Волчьи глаза потускнели, он обвёл скучным взглядом избу, подводку, остановившуюся невдалеке, охотника в лисьем треухе. Отбежав шагов на тридцать, зверь остановился и повернул голову. Мужик целился в него из ружья. Волк вздохнул и не спеша потрусил дальше. Эхо выстрела отозвалось в лесу.

ДЕТСТВО ТРИДЦАТЫХ

Мальчик по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, историческая личность (я бы назвал его: несовершеннолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом владычества. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы испытать свою власть, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то подлой, отгалкивающей красотой; не столько силён физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице, спускался вниз ко всеобщему облегчению и прыгивал с победительным видом. Благодаря такому упражнению авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить тебя постыдным прозвищем. После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, тайне, глухой и зловещей, о которой

они не смели проронить ни слова: о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решало глубоко засекреченное, разветвлённое учреждение, специально пополнявшее свои ряды садистами. Я сказал: историческая личность. Вестник будущего — вот кем он был. Так что, пожалуй, и наш друг и однокашник Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, со звёздочками на нововведённых погонах. Он был как будто создан для этого будущего. Я говорю: друг; в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее растило для себя кровавую пищу. Оно готовилось для того, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчиков, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Шли тридцатые годы. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю, симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и гигантской истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали опознавательным знаком эпохи, подобно тому, как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная лич-

ность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми глазами, как у дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — подражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, однажды вышибли из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, — был такой случай, — я наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки, кто-то отвёл меня домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, как потом оказалось, недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была наша школа Куйбышевского района столицы, там при входе, на постаменте из фанеры, выкрашенной под мрамор, алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку Мамлакат, которая собрала невероятное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих вырожденков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Такова была наша школа, цапнуть бы за то место, где пах, где на большой перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову.

ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

1

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...

А. Блок

Помню, когда я читал трактат Элиаса Канетти «Масса и власть», меня задело, почему, рассуждая о «массовых символах нации» (у немцев — строевой лес, у французов — революция, у англичан палуба корабля и так далее), перебрав одну за другой древние культуры Европы, — почему писатель не упомянул нашу страну. А ведь такой символ, национальный символ русских, есть. Какой же? Ответ ясен: дорога.

Нескончаемая русская дорога до края небес, до синеватой кромки леса на горизонте, вечно та же, дорога, которая становится мерой безмерности страны, расползшейся на двух континентах, но и бережёт страну от распада, как бы прошивая необозримые дали; дорога, по которой можно ехать долгие дни и часы и, по Гоголю, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Дорога, которая засасывает, как сама Россия, — вот оно, точное слово: засасывает! — и дарит успокоение, и обещает забвенье. Еду, еду в чистом поле, страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин... — да, есть в русской дороге что-то демонически-чарующее, в её способности завлечь и усыпить, и переварить, — дорога, символ страны, где география победила историю, гибельная и спасительная дорога, некогда истощившая завоевательный натиск монгольской конницы, где французы утонули в снегу, немцы увязли в трясине, — путь-дороженька, по которой бредут калики перехожие, да так и не добрали за тысячу лет и вёрст, по которой летела гоголевская птица-тройка мимо остолбеневшего пешехода, мимо сторонящихся народов и государств, до тех пор, пока не сломались колёса и не свалился в грязь бородатый ямщик, сидевший чёрт знает на чём...

Дорога — это всегда расставание со старой жизнью и предвосхищение новой. Первая — и одна из лучших — вещь юноши Чехова, «Степь», восхитившая старика Григоровича, была рассказ о путешествии. В финале «Невесты», последней прозы умирающего писателя, девушка Надя отправляется в путь. «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда».

Дорога — очарование, чувство, родившееся в детстве, на даче в Подмоскowie, на платформе, где я вдыхал волнующий запах нагретых солнцем просмоленных шпал, вперялся в блестящий рельсовый путь и ждал — вот-вот покажется в далёкой дали и начнёт понемногу расти голубоватый призрак, всё ближе, ближе, и примутся подрагивать провода, и свет лобовой фары побежит по стальному пути... — это идёт электричка, и возвещает о себе низким гудением двойного, крепящегося на головном вагоне рожка перед ветровым стеклом машиниста.

Я был сельским врачом в Калининской, ныне Тверской, области, заведовал бывшей земской, чеховских времён, участковой больницей поблизости от села Есеновичи, некогда называвшегося Спас-Есеновичи, первые сведения о котором восходят к XV веку, в трёх часах езды от Кувшинова, в двух часах от Вышнего Волочка. По тракту, проходившему мимо больницы, в годы коллективизации везли трупы «зелёных братьев» — отчаявшихся мужиков, бежавших с бабами и детьми, с топорами и вилами в леса. По этой же дороге, говорят, проезжал в бричке из Волочка Лев Толстой, гостил у какого-то деревенского философа.

Как-то раз в ноябре месяце, — зима уже давно началась и распушилась кругом, — я вёз в своей машине с красными крестами на стёклах большого из дальней деревни, это был мальчик лет четырёх с затянувшимся приступом бронхиальной астмы. Ребенок сидел у меня на коленях, рядом водитель, пожилой мужик по имени Аркадий, ворочал рулём, всматривался в мотающийся дворник. Снег сыпал не переставая. С двух сторон от дороги теснились косматые ели. Узкий проход успело завалить, не дай Бог встретиться с кем, — не разъедешься!

Доехали до горки, спустились — и началось. Заревел мотор и взревел снова. Вновь и вновь сотрясающаяся машина пытается взять подъём. И опять Аркадий, флегматичный, как все люди его профессии, вылезает из кабины с лопатой и уныло-терпеливо разгребает снег — вотще. Едва вскарабкавшись, экипаж съезжает вниз юзом. Идут часы, сменяются километры, и всё ещё далеко до больницы, и всё та же перед нами она, вечная русская дорога.

Медикаменты — а более всего дорога — исцелили моего пациента. Мы катим дальше; малыш, укрытый, спит у меня в руках.

4

Пряма дороженька, насыпи узкие,
Столбики, стрелки, мосты,
А по бокам-то всё косточки русские...

Некрасов

Дорога — сидение в тесном, не вытянуть ноги, боксе глухого тюремного фургона без окон, — заключительное путешествие по московским улицам. Сколько-то времени едем во тьме и неизвестности, стоп! Оказывается, вокзал, а там эшелон; солдат, приковавший себя щелчком к арестанту в наручниках, подталкивает к такому же глухому и беззаконному столыпину. К этому времени поезд, длинный, как срок, который тебе вlepили, уже битком набит: народишку-то ведь в нашей России, пропасть — всякому, всех наций и состояний, — и давай, не мешкая, через узкий полутёмный проход мимо решётчатых дверей, за которыми головы, головы — лежат, сидят, съжились, скорчились, до восемнадцати рыл в купе, и, наконец, состав дёрнулся с места — двинулись. Едем Бог знает куда, всё тайна, всё неизвестность. И вот она сызнова, русская дорога, — многосуточный, тряский, стучащий и громыхающий путь через всю страну в лагерь.

5

«Ничего... — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и всё в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное...»

Это опять Чехов («В овраге»), — и, право, лучше не скажешь.

Ноябрь 2012

ПАМЯТИ КНИГ

Ночью, лёжа без сна, я по привычке мысленно сочиняю свои тексты. Так явилась и позвала к себе эта короткая проза.

«Прощайте, друзья...»

По свидетельству Данзаса, умирающий Пушкин прошептал эти слова, обведя взглядом шкафы своих книг.

Когда в начале 80-х пришлось покидать — навсегда — Россию, ничто так не огорчало меня, как необходимость расстаться с книгами. Домашняя библиотека моя была невелика. Там, между прочим, были *Principia* Исаака Ньютона в замечательном переводе академика А.Н. Крылова, прекрасно изданный дореволюционный фолиант — памятник моей работы над биографией Ньютона. Был увесистый том Людвиг Уланда, подаренный мне двумя сокурсницами к двадцать первому дню рождения, в твёрдом переплёте, с Вурмлингской часовой под Тюбингеном и первой строчкой трогательной баллады: *Droben stehet die Kapelle...* Был побывавший вместе со мной в Унжлаге заключительный том Собрания сочинений любимого моего Ги де Мопассана в издании славного Конара с предсмертными произведениями, этюдами о Флобере, с «Жизнью пейзажиста», с факсимиле рукописи начатого, но так и не написанного романа «*Angélu*»: в холодный зимний вечер 1870 года, который запечатлелся в памяти французов под именем Страшной години, *l'Année terrible*, графиня де Бремонталь, беременная молодая жена ушедшего на войну офицера, героиня будущей книги, одна, тоскует, читает стихи Ламартина и греется у пылающего камина. Но как согрели меня в бараке на нарах эти страницы!

Книги приходили по зашифрованному адресу лагпункта, я получал их от родителей. Это не запрещалось. Посылка, распакованная, лежала в каптёрке, надзиратель разглядывал французские и немецкие буквы, словно это были китайские иероглифы, и бросал эти богатства на стол.

Изящные издания эпохи грюндерства, приобретённые в ломившихся от военной добычи букинистических магазинах, — пре-

красный готический «Фауст», кстати, тоже сидевший со мною в узилище, «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра в двух томах, творения Новалиса с гравированным портретом лунного юноши в девических локонах, — были, перед тем, как отправиться в эмиграцию, мною препоручены одному американскому студенту из Филадельфии. Гёте, Шопенгауэр и юный барон Гарденберг добрались ко мне неведомыми путями сюда в Германию — вернулись, сами того не ожидая, к себе на родину. Минуя лагерь, возвратился и латинский Гораций. Книги, сказал кто-то, имеют свою судьбу.

...Весной 53-го донеслось до нашего таёжного княжества радостное известие — умер карлик-каннибал. Постепенно стала меняться жизнь. Агнцев отделили от козлиц, 58-я отселилась от уголовников. Конвой вёл небольшую колонну из лагпункта Белый Лух на крайний северный — Поеж. Я месил снег с чемоданом книг на спине, моим единственным имуществом.

Habent sua fata libelli. У книг своя судьба. Она повторяет судьбу владельца.

2013

РАДУГА

Дом, издали неприметный, мог показаться (или оказаться) башней, если бы посчастливилось тайком проникнуть внутрь. Никому не дано было знать о том, что мы это совершили, ибо любовь и нежность (которые можно объединить одним коротким словом: пол) способны совершать своего рода подвиги; итак, никто ни о чём не подозревал, ни гостившие в деревне у старой бабки родители девушки, ни соседи по лестничной площадке, вечно сидящие взаперти в страхе перед бандитами, уличными попрошайками и милиционерами, которые мало чем отличались от бандитов. Это был старый дом, переживший войны и революции.

Оба, девушка и мужчина, вошли в подъезд, она держала сообщника за руку. Выключили для вящей безопасности свет. Приключение напоминало мальчишескую выходку. В холодной полутьме, смеясь, поднялись по выщербленным ступеням, Дом казался вымершим. Лифт заставил себя ждать, но кабина была пуста. На площадке второго этажа сквозь пыльное слуховое окно сочился сумеречный день. Жильцы, если они вообще были живы, таились за дверями квартир без номеров. Заговорщики обнялись. Оба — пожалуй, это больше относится к водительнице — сгорали от нетерпения. Девушка первой побежала наверх. Мужчина крупно перешагивал ступени. Один марш за другим, — мимо, мимо, лестница казалась бесконечной. Наконец, последний этаж: правильной будет сказать, предпоследний, потому что здесь оставалась лишь узкая лесенка с железными перилами под самым потолком. Наверху — дверца. На двух петлях висел замок. Замком занялся мужчина. Ключ, оказавшись в руках предусмотрительной подруги, не без труда проник в скважину, пронзительно закрипело символическое отверстие. Так пол проникает в тайную щель.

Кралась на цыпочках, пригнувшись в полумраке. Женщина остановилась, мужчина приблизился к чердачному окну. Снаружи был виден мокрый скат крыши, шёл дождь.

Девушка остановилась перед зеркалом. Призрачно серебрищее волшебное стекло помнило томных красавиц, глядевших в него полтора столетия тому назад. Там почудился ещё кто-то. Это была опочивальня. Обернувшись, мужчина увидел чопорную фрейлину, наблюдавшую за церемониалом отхода ко сну, вокруг двигались тени камеристок. В полутёмном покое было тепло, почти жарко, груды рубиново-алых углей переливались в камине. Было слышно, как дождь наверху барабанит по кровле.

Принцесса была раздета, облачена в длинное белое, затканый гербами балдахин над ложем раздвинут, она лежала, укрытая, смежив ресницы. Мужчина сбросил всё что было на нём. Девушка откинула край одеяла. Время замедлилось, мгновения слились в непроницаемую вечность. Дождь не утихал. Оба видели одно и то же. Оба, крадучись, вошли в полутёмный подъезд. Дрогнули канаты, коробка лифта послушно спустилась и осветилась. Дом был погружён в молчание, словно никто там не жил, и девушке, всё ещё обнимавшей мужчину, привиделось, что оба они умерли после любви. Никому ничего не было известно, осталось тайной для всех, кроме меня. Мужчина воскрес, в полусне она пробормотала: ты куда?.. Он стоял в плаще и пернатом шлеме, отворив окно, и рукой в перчатке манил её к себе. Ей было холодно. Он протянул руку и помог перешагнуть на кровлю.

Дождь прекратился, проснулось солнце, и над заблестевшими крышами Валгаллы воздвигся многоцветный мост. Оба двинулись вверх по радуге, словно вагнеровские боги.

2015

ТВОРЦЫ

Женщины Дельво

Жизнь бельгийского художника Поля Дельво почти целиком уложилась в двадцатый век: Дельво умер в 1994 году на 97-м году жизни. На известном портрете, принадлежащем одному из друзей и соратников старика — а старость Дельво приближалась к вечности, — длинные белые волосы с двух сторон занавешивают лицо, маленькие острые глаза прячутся в глазницах, губы плотно сжаты. Он похож на лешего, на сказочного лесного волхва. Центральный сюжет его живописи, едва ли не единственный предмет вдохновения — нагая женщина. Она стоит, недвижимая, на уходящей вдаль пустынной улице, чёрная бездонность её глаз, как бы ожидающих мужчину, соотнесена с треугольником внизу живота. Тусклые городские фонари бросают керосиновый свет на её бледно-голубоватую, как у покойника, кожу. Всё окутано молчанием, объято сном, картина излучает мертвенную эротику. На других полотнах большеглазая загадочная женщина с застывшим могильным взглядом оказывается в чаще доисторических хвощей, вдали, теперь уже за деревьями леса, дефилирует безмолвная процессия таких же загадочных бледнокожих существ.

Для женщин Дельво не существует всеразъедающего времени с его привычным хронологическим распорядком, они обретаются в абсолютном времени. Эмигрантки из потустороннего мира, они не ведают ни прошлого, ни будущего. Для них есть лишь то, что Жиль Делёз называет *le temps à l'état pur*, временем в чистом виде — вечно дрящущее Настоящее.

Чудовища Браунера

Виктор Браунер, французско-еврейский художник, уроженец румынской Молдовы, мистик и визионер, умерший в 1966 г., на 64-

м году жизни, лежит на парижском кладбище Монмартр; на его камне написано: *reïgner, c'est la vie vraie, ma vie* (писать картины — вот истинная жизнь, моя жизнь). Переехав в 1930 г. из родного местечка в Париж, он прибил к сюрреализму, в следующем году написал автопортрет с вытекшим левым глазом, оказавшийся жутким пророчеством. Как-то раз в кафе, где собирались сюрреалисты, шумная и скандалёзная компания, сцепились два пьяных испанца. Браунер пытался их разнять, один из них швырнул в него пустым стаканом. Через минуту Виктор Браунер лежал на полу с лицом, залитым кровью. Левый глаз, выбитый из глазницы, повис на зрительном нерве.

Грянула Вторая мировая война, Франция капитулировала. Вечно объятый страхом в предчувствии грядущих бед и катастроф, мучимый устрашающими видениями, не отличимыми от галлюцинаций, вдобавок под тенью французской полиции, цепного пса на поводке у гестапо, скрывая своё еврейство, художник метался по стране, пока не удалось отыскать спасительное укрытие в Южных Альпах. Война кончилась, он вернулся в Париж.

От холстов Браунера, выполненных с изумительной точностью, с каким-то фантастическим правдоподобием, заболеваешь, начинаешь верить мастеру, который утверждал, что химеры, беременные одна другой и друг друга пожирающие, обитают в его собственном теле, как и внутри каждого человека. Картина маслом, подписанная просто «Композиция», изображает существо, ползущее на коротких лапах, с длинным хвостом, полужмею, полуамфибию, из разинутой пасти вырывается сноп огня. Акварель без названия: голова человека в профиль на безвоздушном чёрно-сером фоне, из обрубленной шеи высовывается рыбий хвост, бледная кисть чьей-то руки кормит голову головой рыбы. Ещё одна голова без лба, состоящая из рта и носа, вперяет в зрителя мёртвое око, зелёная рыба лезет из головы. Худая, как палка или иссохший стебель, рука с растопыренными пальцами предупреждает об опасности. Лиловая одноглазая змея, цепляясь когтями, обвивает тонкую оранжевую женщину с единственным соском на груди, змея оказывается её косою. Композиция сосредоточена вокруг двух центров, магнетизирующих взгляд посетителя выставки, — огромных неподвижных глаз пресмыкающегося и женщины. И ещё одно полотно, которое довелось мне увидеть впервые в чикагском Institute of Art, — яркая, многоцветная гамма. Некое бесполое существо, внушающее трепет, с ещё не рождённым живым отродьем в чреве.

Несмотря на то, что Браунер ещё в 20-х годах разошёлся с вождём сюрреализма Андре Бретоном, он остался верен основному постулату течения, на несколько десятилетий поработившего изобразительное искусство, литературу и кино: источник и живительная сила творчества — сны и образы бессознательного.

Искусство же, гласит эпитафия Виктора Браунера, — это сама жизнь.

Венера Кустодиева

Подобно рождённой из морской пены эллинской Афродите, которую римляне называли Венерой, русская Венера восстала из мыльной пены в бане. Борис Михайлович Кустодиев, страдавший хроническим неизлечимым заболеванием спинного мозга, был вынужден работать лёжа перед мольбертом. Так была написана, среди многих произведений, знаменитая «Русская Венера».

Рослая полногрудая и пышнотелая девушка стоит, перекинув через плечо гриву медвяно-золотистых волос, в правой руке у неё берёзовый веник, её молочно-белая кожа светится в жарком банном тумане.

Примечательно, что цветущая нагота дебелий купеческо-мещанской богини лишена эротической ауры, сексуального призыва самки. Спокойный взор этой девушки ничего не выражает, кроме счастливого сознания собственной молодости и красоты. Её душа — это её тело; шедевр Кустодиева, как и другие его ню, свободен от психологизма. Если бы она была одета, она оказалась бы обычной деревенской бабой где-нибудь в костромской глуши, столь любимой Борисом Кустодиевым, где он жила, изучая традиционный русский быт, часто и подолгу. Полотно было создано в середине 20-х годов, прототипом девушки в русской бане послужила дочь художника.

Огневолодая девушка Танги

Как всякий оксиморон, термин «классический авангард» представляет собой парадоксальное сцепление враждующих противоположностей: нечто общепризнанное, образцовое и принадлежащее почтенному прошлому противостоит новому и новаторскому, революционному натиску и зовущему к себе, предвкушаемому будущему.

Французский художник Ив Танги, бретонец, родившийся в Париже в 1900 году, умерший в 1955-м, прожил жизнь сумбурную и самоистребительную, кое-как учился в лицее, самостоятельно овладел азами ремесла, чтобы превратиться из скромного автодидакта в скандально известного потрясателя основ, примыкал к многочисленным группам и направлениям, разошёлся с кубизмом, разминаясь с сюрреализмом, пил, скитался по разным странам, едва не погиб от алкоголизма и наркотиков.

Полотно «Девушка с рыжими волосами» (1926 г.) изображает женскую фигуру возле колонны, с которой вот-вот соскользнёт миниатюрный детский гробик. Мама (если это она), тощее, жёлтое, как желток яйца, существо, в котором трудно признать женщину, стоит на одной ноге, подняв другую, так что взору невидимого соглядатая открыт тёмный женский треугольник. Центр композиции, удивительным образом избегнувшей видимого произвола и хаоса, — голова девушки, её лицо с фосфорическими глазами и карминовым ртом. Шея столбиком, воспроизводящим колонну, и над ней, над головой этой девушки, полыхает пожар вздыбленных ярко-красных волос. Это образ её души, лихорадочных мыслей, фантастических снов, неуголённых вожделений...

Гости Перуджино

Монах-подвижник, канонизированный под именем святого Бернардо, врачеватель язв, благословляет магически исцеляющим жестом страждущую девушку, которую привёл к святому пожилой отец. Бернардо сидит справа от зрителя за столиком, перед ним пюпитр с раскрытой книгой, слева, с полупрозрачным нимбом над головой, в одеянии карминовом на груди, просторном темно-синем вокруг бёдер, — одухотворённая Богоматерь, в стороне сопровождающие мадонну две девушки-крестьянки с деревенскими туповатыми лицами стоят, задумавшись, босые, в подоткнутых платьях. Светлая арка с элементами умбрийского пейзажа в голубоватой дымке, позади и над всеми присутствующими образует естественное средоточие всей композиции и задаёт её тон: тишину, зачарованность, гармонию и покой.

Картину «Явление мадонны святому Бернардо» создал на исходе пятнадцатого столетия Пьетро Перуджино, гражданин Перуджи, столицы Умбрии, учитель Рафаэля и один из создателей Сикстинской капеллы в Ватикане.

ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ

Звук, похожий на бульканье, словно без конца переливали воду кружкой из одного ведра в другое, слышался всю ночь, с ним засыпали и просыпались, и когда я смотрел на часы — было пять, — и пошатывался, слезая с обрыва, этот звук стоял в ушах. Солнце еще не успело вылезти из-за лесистых холмов, холодные камни казались отсыревшими за ночь.

Кто поверил бы, что накануне бушевал шторм! О нем, правда, напоминали клочья бурой травы, очески от бороды Нептуна, и зализы сырого песка со следами полусохшей пены. Но море было зеркально, пустынно и как будто дымилось белым паром.

Об этом стоит поговорить; мне кажется, я еще никогда не видел такой воды. Перед восходом солнца море было белым, как молоко, только у самого берега большие камни покачивались в воде и отражались в ней зелеными разводами. Вдали огромная бесцветная гладь сливалась с бледно-фисташковым небом.

И странная мысль являлась на ум при виде этой равнины: кажется, шагнешь — и не потонешь, и зыбким пятном отразишься в воде. Это ощущение плотной, холодной и колышущейся воды было так живо, что я тотчас принялся что-то сочинять на эту тему; вдали я заметил мерцающую полосу, смутную трассу, косо идущую вдоль горизонта. Так вот что такое были *дороги моря*, эти слова обрели предметность. Вообще я заметил, что смысл многих слов, давно утраченный, оживает, когда окажешься вот так, с глазу на глаз, с морем, землей и небесами.

В кустах над обрывом уже сверкало нечто подобное грандиозной улыбке. Апельсиновый луч брызнул с высоты. Из зарослей дубняка выбралось косматое солнце, свет бежал по песку, и вокруг меня протянулись сизые тени. Тотчас вслед за этим событием послышались озабоченные шаги. Учительница средней школы хрустела по песку в босоножках. Утро уже сияло вовсю. Учительница проспала солнце.

Мы не раз встречались так по утрам, и она угощала меня здешними мелкими грушами. Они были невкусные, но считались витаминными — так о женщине говорят, что она некрасива, но зато умна.

Разговор зашел о плавании. Морская вода держит, сообщила она, в ней много солей.

«Вы преподаете химию?»

«Нет. Но это и так известно. Можно лежать, и не утонешь».

«А ходить по воде можно?» — спросил я.

Мы жевали груши и швыряли в море объедки — чтобы не загрязнять пляж. Я заметил, поглядывая на собеседницу, что ноги у нее не смыкались, факт прискорбный, ибо степень упитанности влияет на мировоззрение. Никакие иллюзии невозможны для женщины, у которой торчат ключицы.

«Видите ли, — пробормотал я, — есть такой рассказ».

Мой вопрос поставил ее в тупик, ей стоило усилий отнестись к нему серьезно. Подумав, она ответила, что такое событие могло произойти — в очень далекие времена. Тот, кто шагал по воде, был пришельцем с другой планеты. Это были обломки чего-то прочитанного.

Итак, она согласна была фантазировать, но лишь под покровительством науки.

Зачем же, спросил я, прилетать с другой планеты?

Она не поняла.

«Какой смысл было прилетать ради того, чтобы заниматься моральной проповедью?»

«Моральная проповедь, — возразила учительница, — это выдумки. Вот это действительно выдумки».

Прищурившись, античным жестом я метнул огрызок груши по поверхности вод. В эту минуту ребристый луч упал на воду, и я увидел Идущего. Он шел, не обращая внимания на жидкий блеск воды, не заботясь о том, как истолкуют его явление. Я сказал:

«Знаете что? Попробуйте вы совсем отказаться от объяснений. Мало ли в жизни невероятного. Может, лучше искупаемся?»

Ответа не последовало — да и какой мог быть ответ? Учительница пошла в море, она смеялась и вскрикивала, говоря, что вода чудо и обжигает, словно огонь.

Наш диспут на этом окончился, и, может быть, не стоило все упоминать о нем. Но для меня он был важен, потому что возвращал меня к тайным и все еще неясным мыслям. Я испытывал нежность к этой компании простонародных апостолов, бродившей за своим учителем по рыжей от солнца галилейской равнине; я видел их, идущих толпой, точно крестьяне с ярмарки, громко спорящих и размахивающих руками или ступающих чинно друг за другом, след в след, как иноки минориты или буддийские монахи.

Учительница вышла на берег, вода стекала с нее, как чешуя. Она обула босоножки, и худые ноги ее захрустели по песку. Пора было завтракать. Я полез наверх по обрыву. Я вел восхитительный образ жизни. Образ Идущего по воде не выходил у меня из головы, и, раз уж это утро настраивало на метафизический лад, я вспомнил слова одного мудреца, кажется, Ясперса, о том, что тот, кто не может уверовать, создает себе веру в своем воображении.

*

Раввин устал, преследуемый толпой, отовсюду сбежавшейся поглазеть на него, и, когда на исходе дня они подошли к берегу, сказал, что не поедет и хотел бы провести ночь в горах, один.

Компания спустилась в ложбину по следу высохшего ручья, где давали немного тени полузасохшие кусты, которым не суждено было превратиться в деревья оттого, что их обгладывал скот. Был конец десятого часа — по-нашему шесть часов вечера, — и солнце стояло еще довольно высоко. Ученик Андрей отправился к рыбакам, он подошел к крайней лачуге, видневшейся на пригорке, и сейчас же оттуда с лаем выскочила дворняжка. Старик в портках, босой и с одним глазом вышел и стал разговаривать с Андреем.

«Все в порядке, — сказал Андрей, спустившись с холма. — Еле уговорил».

На земле были разложены остатки еды. Симон, который заведовал хозяйством, быстро собрал куски хлеба в мешок; все встали и пошли гуськом по засохшему руслу вниз. И чем ниже они спускались, тем ярче сверкало внизу между зарослями. За учениками шел старик с веслом и веревкой, а за стариком — мальчик лет десяти, волочивший под мышкой второе весло.

Наконец ложбина кончилась, и сверху перед ними открылась широкая и гладкая равнина. Она блестела, как медь. Это и было Генисаретское озеро, которое местные жители называли морем.

Симон догнал Андрея.

«Сколько ты ему дал?»

«Тридцать».

Симон вздохнул: в кошеле, висевшем у него под рубахой, оставалось двести динариев.

«Ну и сам бы торговался», — возразил Андрей.

Лодки лежали далеко от воды и для верности были привязаны к кольям, вбитым в песок. Старик указал на бокастый баркас, Андрей почесал затылок.

«Одной пары маловато будет», — сказал он.

Хозяин стоял, подняв к небесам свой вытекший глаз. Солнце висело над пеленою сизых облаков, легкий ветер шевелил рубаху старика.

«Отец!»

«Ну чего тебе?»

«Нам бы еще парочку весел».

«И куды спешить на ночь глядя? — проворчал старик. — Ночевали бы уж, а там... Тише едешь, дальше будешь». Он уселся на корточки отвязывать баркас. Учитель, до сих пор молчавший, подошел к Симону и Андрею.

«Езжайте, еще успеете, — сказал он. — Тут недалеко».

Они вопросительно глядели на него. Подошел брат Андрея Петр.

«Не хочет ехать, — сказал Симон вполголоса. — Может, вправду отложить до утра?»

«Пожалуй, — согласился Петр. — Переночуем в деревне. Извини, батя, — обратился он к хозяину лодки, — мы, того, передумали».

Раввин порывисто повернулся к ним. «Перестаньте, не тратьте времени. Встретимся в Капернауме». И, так как они медлили, добавил, обращаясь главным образом к Петру: «Здесь оставаться больше нельзя».

Они поняли, что он имеет в виду драку в трактире. Пьяный сириец, схватившись с Петром, чуть не убил его. Вернулся маль-

чик, весь потный и запыхавшийся, он волочил по земле вторую пару выдавших виды весел. Ученики — раз-два, взяли! — столкнули баркас на воду. Андрей первым взошел на лодку и сел на корме.

Старик бормотал, глядя на них: «Утро вечера мудренее. И куды нелегкая несет?»

Маленький Симон Кананит упавшим голосом уговаривал рабби взять у него часть денег на всякий случай. Придерживая на груди кошель, огорченный Симон прыгнул в лодку. Кормой вперед баркас отчалил. Передний гребец, оглядываясь, разворачивал, сидевший с ним рядом табанил; позади вторая пара гребцов сидела наготове, подняв весла. Круглый, похожий на скорлупу ореха баркас качался на воде. Потом все двенадцать стали медленно удаляться по медной, лоснящейся глади, лодка равномерно взмахивала веслами, а с берега, заслонясь от солнца, вослед ей смотрели провожатые. Мальчик махал рукой.

Они повернулись и пошли, дед и мальчик впереди, за ними, глядя себе под ноги, шагал высокий понурый раввин. Вот уж их и не видно. Широкой дугой раздалась бухта, открылись прибрежные холмы, позади них выступили скалистые серые горы. Вода сильно блестела. Баркас бойко шел вперед. Плыли молча. Сидевший на носу Петр видел сомлевшие лица товарищей, потные спины гребцов и на корме, над всеми широкое неподвижное лицо Андрея, озаренное точно пламенем пожара. Берег, еле заметный, растворялся в фиолетовом мареве.

Петр думал о рабби, о его словах, сказанных в харчевне, куда они завернули, истомленные зноем и жаждой. Ну и вертеп! С порога в носшибануло кислой вонью, две-три осовелых физиономии повернулись к вошедшим, больше никто не обратил внимания. Должно быть, сюда еще не докатилась молва о Царе иудейском. Хозяин молча сгреб объедки с длинного стола, растолкал спящих, чтобы освободили место, принес блюдо маслин, кислого вина и четыре кружки на всех.

Бряк! Лоснящаяся от жира монета с головой императора Тиберия ударилась об стол. «Ставлю бутылку, — сказал кто-то. — Я их уже видел». Перед ними стоял широкоплечий и смуглый, могучего вида оборванец, в серьгах, с амулетом на голой груди, грязным пальцем показывал на раввина.

«Иди, Варавва, чего привязался к людям?» — бросил ему мимоходом хозяин.

«Нет, шалишь. Сыграем? Кесарь твой, королева моя». Монета взлетела вверх и покатила по полу. «Абрашка! — закричал Варавва. — Кончай ночевать. Полезай под стол». И Петр вспомнил, как среди нищих один по имени Авраам, подхватив полы лохматого рубища, бросился под стол за монетой, а Варавва с криком: «Зубами, зубами!» — поддал ему пинком в зад.

Он искал глазами учителя, намеревался что-то добавить, но тут приоткрылась дверь, кто-то вошел в ярком свете дня: девушка лет тринадцати, черноглазая, с желтой лентой в волосах. В это время Авраам, воздев руки и держа в зубах золотой, тряся лохмотьями, исполнял какой-то сложный и похабный танец. Варавва заливался счастливым смехом, а хозяин, скрестив волосатые руки, стоял перед занавеской у входа в другую комнату и без всякого выражения смотрел на них.

Гостья с презрением взглянула на плясуна, она шла танцующей походкой, виляя бедрами под цветастой юбкой, трактирщик хотел остановить ее, она отмахнулась. Тоненький голосок нагло и нежно прозвенел в зловонной харчевне.

«Ай-яй. Какие гости! — сказала она по-арамейски. — Глаза мои не видели, уши не слышали. И где я была?.. — Она свесила голову на плечо, не спуская с равнина лиловых глаз. — Господин, погадаю, всю правду скажу. Где счастье найдешь, где голову потеряешь...»

Пришлось потесниться; гадалка, цепляясь юбкой, пролезла между ними. Рядом с учителем она оказалась на две головы ниже, точно ребенок, босые ноги ее висели под столом. Она сорвала с головы желтую ленту, знак ее ремесла, смеясь, тряхнула черными жирными волосами. Варавва засопел, развесил руки.

«Сука! Иди на место!» — прогромыхал он.

Она испуганно хихикнула, сказала быстро: «Жене своей можешь приказывать, я тебе не жена».

Петр скосил глаза: девчонка крутилась, как вьюн, между ним и учителем. Подняв голову, Петр увидел звериные очи Вараввы.

«Кому сказал, ну?!» — лязгнула Варавва. Из всех углов смотрели на них любопытные лица. «Слушай, друг...» — начал было Петр. Гигант, покачиваясь, ввинтил желтые глаза в рабби. Мед-

ленно и сначала как будто беззвучно задвигалась его челюсть, на груди закачался амулет, Варавва изрыгнул чудовищно-внятный мат. Женщина, взвизгнув, исчезла под столом. Верзила выбросил вперед цепкую, как щупальце, руку и схватил за бороду раввина.

Кровь бросилась в голову Петру, он вылетел из-за стола. Все повскакали с мест, стукнула, падая, скамейка. Нищие толпились вокруг. Варавва, сцепив ручищи, ударил Петра раз и другой. Кто-то хотел вступиться; Петр раскинул руки, отстраняя всех. Рука его шарила по столу, нашла кружку. Варавва расставил ноги носками внутрь, покачивался, что-то пел и доставал не спеша из-за пазухи короткий, вроде охотничьего, нож.

Петр смотрел врагу в живот, у него был свой план — броситься под ноги и, когда тот рухнет, навалиться сзади и разбить голову тяжелой кружкой.

Вдруг сильная рука остановила его, тонкие пальцы сжали локоть, как клещи. Учитель, худой и высокий, отодвинул Петра.

Варавва проглотил слюну. «Отойди, пахан, — сказал он мрачно, — без тебя разберемся...»

Раввин не двигался и смотрел на Варавву, который держал нож перед животом.

«Бей, чего уж там», — сказал раввин.

Варавва смотрел на него в недоумении. Все молчали.

«Ударь, — повторил раввин. — Ну бей же, если тебе так хочется. Убей меня, и тебе ничего не будет. Они, — он кивнул на учеников, — тебя не тронут, это я тебе обещаю».

Варавва исподлобья следил за ним. Раввин продолжал:

«Если ты ударишь его, то станешь убийцей, и люди будут преследовать тебя. А меня ты можешь убить без всякой опаски. Ведь я — Сын Божий».

Кто-то засмеялся.

«Убей, если не веришь», — сказал раввин и, неожиданно улыбнувшись доброй, жалкой своей улыбкой, раскрыл двумя руками одежду на груди.

Варавва покосился на лица, с жадным испугом ожидающие, что будет, смерил взглядом Петра, усмехнулся. Все зашевелились, раздались восклицания. Маленький Симон, нервно жестикулируя, что-то втолковывал непроницаемому хозяину.

Мигнув тусклыми очами, Варавва цыкнул слюной через плечо. «Ладно, — сказал он презрительно, — валите отсюда...»

Двенадцать вслед за учителем пошли прочь меж расступившихся людей, но, перед тем как уйти, раввин обернулся, пропуская учеников, и что-то сказал толпе. Петр заметил, что девушка с лентой в руках всхлипывает, снизу вверх глядя на раввина большими отсвечивающими глазами.

*

Учителя провожали, то ли благоговей, то ли насторожась и насмехаясь. Кто он был для них: артист-охмурыла, дешевый проповедник, каких было и будет тысячи, или тот, чьим именем он назвал себя? Что они бормотали, когда смотрели с порога вслед удалявшимся в пыли по белой дороге: «Много вас тут шляется» или «Благословен ты, Адонай»? Петр подумал о том, что нужно подставить себя под нож, чтобы доказать им, что ты бессмертен, и умереть, чтобы стать Богом.

Мысль, не понятная ему самому. Но рабби ничего не объяснял до конца. Ученик Петр был порывистым, опрометчивым человеком; он не любит умствовать. Петр вспомнил, как он стоял перед пьяной рожей, выбирая момент, когда кинуться вперед. Вот именно: не рассуждать, а действовать! Он смотрел на своих товарищей, они сидели, раскачиваясь вместе с лодкой, по двое и по трое на скамьях, и на всех лицах было одинаковое выражение терпения, усталости, долга. Гребцы успели смениться, скоро и его очередь.

На корме по-прежнему виднелось лицо Андрея, но золото предзакатного света уже померкло на нем. Обернувшись, Петр увидел, что солнце исчезло в фиолетово-сизых тучах, вода потемнела, ветер с заката рябил и серебрил ее. Баркас тяжело шел против ветра. Уже давно исчезло из виду восточное побережье, должна была показаться по правому борту песчаная отмель, но море по-прежнему было пустынно. Ни паруса, ни рыбацкой шлюпки. Чайки время от времени шныряли с криком над самой водой.

Ученики вполголоса переговаривались, поглядывали на небо. Гребцы усердно работали веслами. Банка справа должна была

находиться недалеко, в таких местах всегда кружится много чаек. А там и берег галилейский покажется, озеро в самом широком месте не превышало шестидесяти стадий. Ничего не показывалось. Чайки покричали и улетели. Впереди черно-пепельное море понемногу пошло белыми барашками. Дул ветер; вдруг стало совсем темно.

Баркас раскачивался, поворачиваясь на волнах. «Табаньте! — командовал Андрей. — Выходите на волну». Большой вал, приподняв нос лодки, прокатился под ними, и передние трое чуть не упали на гребцов. «Ты-то куда смотришь?» — крикнул Симон, хватаясь за что попало. Кормчий, держась за руль, величественно качался на корме вверх-вниз. Все море колыхалось, словно кто раскачивал его.

Ветер трепал волосы Петра. «Держись!» — крикнул кормчий, и новый вал окатил их брызгами. Эх, подумал Петр, не послушали старика... Тупой нос баркаса нырял в волнах. Тучи заволокли небо; теперь, если даже недалеко берег, его не увидеть. Вцепившись в борта, он вперялся во мглу, все еще надеясь различить огоньки Капернаума. Вдруг кто-то сказал: «Боже, что это?!»

«Что, что такое?» — заговорили сидевшие против гребцов, и все стали поворачивать головы. Все увидели привидение, которое медленно подвигалось, точно ехало по воде, и сбоку догоняло лодку.

Теперь можно было различить одежду, посох. Лицо тонуло во мгле. Призрак учителя, точно такой, каким раввин был в жизни, догонял их и, казалось, всматривался в их оцепенелые лица. Ученики, онемев, смотрели на эти шагающие ноги. Ветер стал как будто потише. Лодка, потеряв управление, медленно поворачивалась на воде. Идущий поднял руку. Голос донесся до них.

«Что он говорит?» — спросил Петр.

Все молчали. Донеслось покашливание.

«Не бойтесь, — громко и внятно сказал призрак. — Это я».

«Вот так здорово, — сказал Петр, у которого не оставалось сомнений в том, что он окончательно повредился в уме. — Рабби, — пролепетал он, — ты?»

«Ну да, — ответил голос, и лицо улыбнулось в темноте. Они не различали черты, но видели улыбку. — Успокойтесь же, говорю вам, — сказал он сердито. — Я не привидение».

В самом деле, это был он, стоявший в море, как на плоту. Вода перекатывалась через его ступни, ветер отдувал край хитона.

Что-то происходило с Петром, он вдруг засуетился. «И я, и я к тебе, — бормотал он, волнуясь, — можно?..» Поднялся сердитый ропот: «Куда? этого еще не хватало!» Петр никого не слушал. Дрожа от волнения и отдирая руки, которые пытались его удержать, упершись в чье-то плечо, он перешагнул через борт сначала одной ногой, потом другой, вода была ледяная, ему даже показалось, что он сделал шаг; учитель смотрел на него, опираясь на посох.

Мокрого, стучащего зубами Петра вытащили кое-как из воды. Гребцы взялись за весла. Раввин уже стоял в лодке.

«Эх, ты...» — сказал он Петру.

Из сборника
«ЭТЮДЫ О ВЕЧНОСТИ»

ЭТЮДЫ О ВЕЧНОСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОМ НА БЕРЕГУ

1. Рижское взморье

«Илга! Илга!..»

Латышское имя коснулось слуха одним безоблачным утром в Майори, бывшем немецком Майоренгофе, летом очень далёкого года. Тётя Рива подрядилась ехать в качестве врача с пионерским лагерем на Рижском взморье. Домик с террасой, куда нас поместили, стоял над пляжем: шагнуть с крыльца, и уйдёшь по щиколотку в горячий песок. Зной струится с высот, как растопленное масло, в полусотне шагов море искрится и сверкает так, что больно смотреть. Поодаль, у выхода на улицу курортного городка, стоит другой дом, и девушка на крыльце, круглолицая, белорукая, голоногая, в коротком платье, зевает и щурится от яркого света. Мать окликнула её, так я узнал, что её зовут Илга. Мне было 16 лет. Она едва ли была старше. Я видел её лишь однажды. Меня она не заметила. Этого единственного раза оказалось достаточно, чтобы запомнить её навсегда.

Вы спросите, дорогая, зачем я о ней рассказываю. Не знаю; ни-зачем. Странное, пожалуй, даже целительное свойство памяти: можно без сожалений вычеркнуть события великой, как её называют, эпохи вместе с мрачными именами вершителей судеб, а мимо-лётная встреча впечатывается навсегда. Впрочем, я помню всё, в том числе и рассказы о том, чего не мог запомнить.

Я помню свою мать. Моя мама в юности была красавицей. То была библейская, левантийская красота, которая быстро вянет, чтобы перейти к дочерям и внукам, красота, которая повторяется из века в век, из поколения в поколение вплоть до наших дней. Девушки сберегают то, что мужчины теряют в закоулках столетий. Такой

была юная Суламифь, возлюбленная царя Соломона, и Рахиль, пра-матерь царей, и Ревекка с кувшином на плече, так выглядела, должно быть, и сама прародительница Ева. Мама была сиротой, и если верить никогда не опровергнутым слухам, пятнадцатилетней взята в замок польского графа, местного феодала, человека разгульного и в конце концов промотавшегося; мой отец будто бы выкупил её у графа, вся эта романтическая история погубила репутацию нашей семьи в местечке. Давно было дело, о таких временах говорят: давно и неправда.

Красная Армия освободила воеводство от немцев. Позади была катастрофа евреев, и решили, что ничего этого уже не повторится; те, кто выжил, начали понемногу возвращаться в насиженные места. Вы скажете, непостижимое легкоеверие. Но не бывает так, чтобы не повторилось, — века гонений должны были научить. И повторилось. Ожил звериный инстинкт. Древняя ярость, вошедшая в состав крови, вновь — не успела откатиться война, — вскипела и поднялась со дна народной души. Гитлер нас недорезал! Надо было завершить его дело. Самый кровопролитный погром произошёл в Кельцах, недалеко от местечка моих родителей.

Добрались и до нас. Изуродованные трупы отца, мамы, бабушки, трёх моих сестёр и старшего брата лежали перед домом. Меня спасла соседка; мне было два года.

Разумеется, ничего этого я не помню, и, однако, помню всё. Это следует тоже отнести к причудам памяти. Но чему тут дивиться? Ведь помним же мы и египетский плен, и шествие шестисот тысяч по пустыне, и разрушение храма, и вечно повторяющееся изгнание.

Вы усмехнётесь: что, собственно, мне известно? Всё — и ничего. О своих пращурах я ничего не знаю. Известно только одно, что они были земледельцы и пастухи, после многих скитаний, потеряв свою землю, стада и богатства, они рассеялись по египетскому, греческому и романскому Средиземноморью, пережили Персидское царство и Халифат, расселились в Священной Римской империи. Гонимые отовсюду, подались на славянский восток. В конце концов, после третьего дележа Польши, они стали добычей хищного двуглавого орла. Тысячелетия приучили их глядеться в мёртвые воды колодца, называемого историей, и видеть там своё отражение. Так они прибыли в в новый Ханаан — Россию. Ум, не изверившийся в историческом разуме, нашёл бы такой финал провиденциальным. И довольно об этом.

2. Москва

Отвлекусь ненадолго, ещё одна встреча... Но прежде — глоток коньяка. Проезд стоил 15 копеек, в то время в метро существовали билетные кассы. Контроль перед эскалатором. Но можно было сэкономить три пятака, я владел этим искусством в совершенстве. Протиснуться в толпе мимо одной контролёрши, а билетик протягивать к другой, и, конечно, не дотянуться, шагнуть на ступеньку, и ты уже поехал вниз. Но главное — представьте себе, я помню её, словно видел вчера! — она стояла перед эскалатором. Я искал черноглазую девушку с должностной повязкой на рукаве, когда шёл к эскалатору из подземного коридора, где ещё сохранилась стальная рама герметических дверей: с начала войны наша станция Красные Ворота служила бомбоубежищем; я искал контролёршу и провожал глазами, уезжая в подземелье, и вижу её, , хотя фантазия, может быть, дорисовывает её облик. Тонкая шея, вострый взгляд; и опять же старше меня и, пожалуй, выше ростом. Я встречал её несколько раз. Потом она исчезла.

Я часто вспоминаю мою мать. Опять-таки вы найдёте это неправдоподобным, ведь когда её не стало, мне, как уже сказано, едва исполнилось два года. Я ничего не знаю о женщине, спрятавшей меня от польских солдат и орущего сброда, который присоединился к ним. Я не помню отца, брата, сестёр, не знаю, как выглядел наш дом — вероятно, большой и благоустроенный, — мой папа был довольно состоятельным предпринимателем. Но мама — невероятно: мне кажется, я вижу её совсем юной, какой она уже не была в пору моего появления на свет. Прямой пробор, толстый скрученный на затылке узел, она вынимает шпильки, встряхивает головой, и густые чёрные волосы обнимают её плечи. Свет из окна окружает её, как нимб. Чёрные глаза склоняются надо мной, я плююсь на неё из моей колыбели, потом начинаю плакать, она берёт меня на руки, ходит по комнате и поёт мне на языке, который я забыл.

Мне пошёл восьмой год, я был единственным, кто остался в живых; штетль, как назывались еврейские местечки, больше не существовал. Меня разыскала в детдоме и привезла в Москву тётя Рива, в царское время окончившая медицинский факультет в Варшаве. Теперь у неё был свой зубоврачебный кабинет. Тёте Риве было семьдесят. Я окончил школу, собирался поступить в университет. Буду-

щее стояло на пороге, как посыльный с букетом роз. Разумеется, оно обмануло. Тётя умерла. Оборудование кабинета было вывезено, вывеска рядом с подъездом нашего дома на тогдашней Метростроевской исчезла, квартиру заняли чужие люди. Никуда я не поступил, на приёмных экзаменах меня завалили, как можно было догадываться, из-за моих анкетных данных. Постоянной прописки у меня не было, жить было негде. Сколько-то времени я ещё проболтался в Москве, пока не пришлось отчалить.

Век революций, войн, погромов, концлагерей, таким он останется в истории, если история не прекратится; но для меня, — вы сочтёте меня сентиментальным идиотом, — для меня это был век девушек. Если кто-нибудь или что-нибудь могло заглушить рёв и песни каннибалов, заслонить руины и трупы, то это были они: нежные, смеющиеся, замечтавшиеся, погрузневшие, загадочные, — ведь поведение девушки — всегда загадка. Да, это было явление девушек, их было не так много, их невозможно забыть.

Так вот, две или три недели после смерти тёти Ривы я прожил в старой квартире вместе с новыми поселенцами; потом где-то уютился; пока, наконец, милиция не выставила меня из столицы. Надо было работать, занимался чем попало. Между прочим, успел побывать в должности подсобного рабочего на Центральном почтамте. Импозантное здание на углу Чистых прудов и улицы Кирова, говорят, красуется до сих пор. Там теперь что-то торговое; в моё время в просторном зале со стеклянной крышей находился почтамт, а вокруг на этажах экспедиции другого почтамта, газетно-журнального: продукция доставлялась из типографий, сортировалась и рассылалась по всей стране.

Появилась барышня, все другие — там работали одни женщины — казались мне старухами. Она стояла за пультом и регистрировала джутовые и бумажные мешки с почтой в особой ведомости. Вероятно, ей было не больше двадцати. Лоб и нос у неё были напудрены, брови подбриты и подрисованы, на губах алая помада. Усердно писала, склонив голову в беретике, из-под которого спускались подвитые снизу локоны. Через всё помещение от упаковочной экспедиции до люка, ведущего вниз, на платформу, где стояли грузовики. Шелестела лента транспортёра, я подтаскивал мешки, выкликал номера и бросал мешки на транспортёр. Я едва отваживался взглянуть на эту царевну. Как её звали, так и не узнал. Вскоре она исчезла; за ней и я.

Завершу здесь летопись ранних лет, – раз уж начал, – несколькими пояснительными фразами. Попытки зацепиться в Москве, как уже сказано, не удались. Слоняясь по коридорам недоступного для меня университета, я познакомился с ещё одним неудачником, юношей по имени Марк Леви; он тоже не прошёл конкурс. На мою беду мы сблизились. Он приехал из Жмеринки, захолустного городка где-то на Украине; во время войны его родители погибли в гетто. У этого Леви была навязчивая идея, – думаю, не только у него: он считал, что всё повторится. Что повторится? Всё! И поэтому у евреев всегда должен оставаться запасный выход, мало ли что произойдёт. Выход называется Эрец Исраэль. Своё государство, понимаешь? Признаться, я в то время о его существовании даже не подозревал. Бросить всё, двинуться туда? А если ты живёшь в стране, откуда уехать так же невозможно, как забросить камень так высоко, чтобы он не упал обратно? Но оказывается, находятся люди, которые все-таки уезжают. Ты здесь один, говорил Марк Леви, у тебя никого нет. А в Израиле тебя встретят как брата. Мы расстались, некоторое время я получал от него письма. Признаться, его идея меня не вдохновляла. Потом он куда-то пропал. Так или иначе, но кратковременная дружба оказалась роковой.

3. Где-то в России

От тюрьмы, да от сумы не зарекайся, гласит национальная мудрость. Народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному режиму, не мог найти лучшего поучения. Для нашего времени смысл этого завета был прост и понятен. Всякий, кого угораздило родиться и жить в нашей стране, обязан считаться с вероятностью рано или поздно угодить в застенки. Азбучная истина, – да только не для такого простофили, как я. Да, меня ожидало ещё и это... Не стану распространяться, почему и отчего: причина и повод нашлись без труда. Меня остановили на улице, позже я узнал, что это довольно обычный способ. Вежливый голос окликает тебя, цепкие руки втаскивают в машину. Я был доставлен в сверхсекретную Внутреннюю тюрьму в недрах знаменитого здания на Лубянке, тогдашней площади Дзержинского, позже переведён в Бутырки – назовите мне кого-нибудь, кто о них не слышал. Осень сорок девятого, чрезвычайно урожайного для госбезопасности года я провёл в утлой, до отказа набитой камере следственного спецкорпуса, воздвигнутого ещё при

наркомое Ежове. (О том, что мне предстояло, — о лагерной одиссее в заболоченной тайге на дальнем Северо-Западе — вы уж извинните, говорить сейчас не хочу и не буду.)

В тюрьме всё было подчинено десятки лет назад заведённому ритуалу. В полдень недреманное око восходило в дверном глазке, откидывалась кормушка. Надзиратель утробным голосом называл инициалы, нужно было откликнуться. Ключ скрежетал в замочной скважине. Мы выбирались. Марш по коридору мимо ограды и сетки над провалом нижних этажей, железная коробка лифта, гром засовов. Выходная площадка и близкое дыхание воли. Далее мы шествуем гуськом вслед за конвоиром в туго подпоясанной шинели с сержантскими лычками на погонах, с кобурой на бедре, перед нами гремят шаги, покачивается узел ореховых волос под фуражкой с синим околышем. Завитки вокруг нежного затылка... Верите ли, дорогая, это была девушка! Подковки её сапог цокали по асфальту. Не помню, чтобы она хоть раз взглянула из-под своего картуза на нас. Всем своим видом, независимостью, походкой девственной Дианы она демонстрировала холодное презрение к врагам народа. И она пропала, толкнув нас, одного за другим, в прогулочный дворик, каменный мешок над небом Москвы, защищённый стенами и вышками, — исчезла, чтобы навсегда остаться в моей осиротевшей памяти. Как она оказалась в этом царстве лжи и насилия? Что с ней стало, сменила ли она свои лычки на звёздочки, вышла замуж, родила детей?

4. Океанский берег

...Продолжаю свои заметки на другой день, и снова (вместе с вами, дорогая) спрашиваю себя, чего ради я затеял этот рассказ. Я не собираюсь излагать всю путаную историю моей жизни. Судьба евреев — скитаться; одиночество и бесправие гнали меня в неизвестном направлении, обстоятельства швыряли по разным углам огромной нашей России, я переменял много профессий. Не об этом речь. Как вы знаете, я давно не живу в стране моего родного языка. В стране, чья глухонемая, каменная враждебность встречала и провожала меня всю жизнь. А дальше? Поселиться в Израиле, на родине пращуров, мне так и не пришлось. Давно уже ваш слуга сделался гражданином Соединённых Штатов, из моих окон виден седой океан.

Моей мечтой было поселиться в какой-нибудь глухомани, подальше от шума и многолюдства, не слышать ни польской, ни рус-

ской речи, не слушать радио, не читать газет, не вперяться ежевечерне в домашний экран. Я обретаюсь на острове, где жителей всего несколько тысяч: рыбаки, ремесленники, мелкие торговцы. Между прочим, здесь жила одна известная писательница, бельгийская француженка по имени Маргарита Юрсенар, поселилась с той же целью уединения. Вилла, где она умерла, стоит никем не посещаемая — сколько лет я грезил о закованном доме! — недалеко от моего жилья. Могучие ели, клёны, дубы нависают над каменистым ущельем. Высоко над лесом, на голых утёсах пылает закат. Неширокий пролив, сорок минут езды на катере, отделяет нас от континента; последнее время, к великой моей досаде, на острове появились туристы.

Вернусь к моим пенатам. К благословенному острову у берегов штата Мэйн, к Шуберту, Дворжаку и целительному напитку. Алкоголь отрезвляет, говорит вышеупомянутая островитянка, мне попалось кое-что из её творений. «Алкоголь отрезвляет: несколько глотков, и я о тебе больше не вспоминаю». Но я-то помню — вас, дорогая, и тебя, девушка, твой разноликий образ. Ты менялась, ты появлялась в разных местах, чтобы тотчас исчезнуть, но оставалась одной и той же.

Казалось бы, природа, музыка, поэты, русские, польские, английские, всё те же, нежно любимые, да ещё скромное social welfare, пособие, которого мне вполне хватает, должны были избавить меня от душевного неустройства, от грызущей тревоги. Откуда эта тревога? Смешно сказать, порой меня одолевает какая-то, чуть ли не метафизическая, тоска. Угнетает бессмысленное струение времени. Абсурд истории, которая пожирает сама себя. Или это гнёт прошлого, скорбь тысячелетий? Страх, что «они» доберутся досюда? Кто это — они? Попробуем объясниться, хоть это и нелегко. Ещё коньячку...

Время, в какие бы метафоры его ни обрядить: текучая вода, колесо дня и ночи, сыплющийся песок, кругооборот светил, — время поработает. Карусель событий одуряет, лавина эфемерных новостей валит с ног. Пускай мы здесь избавлены (надолго ли?) от войны, время властвует над нами и здесь, жизнь современного человека — это безостановочная суета и спешка, отчаянные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — смерть. Грохот состава, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность.

Что же это такое: нечто сущее на самом деле или изобретение мозга? Спор никогда не будет решён, его и не надо решать, это спор о словах. Существует переживание вечности, Вечного Настоящего, ослепительная догадка, что время — временно и этой временности противостоит нечто пребывающее. Я ударился в философию, но позвольте мне закончить.

Не правда ли, Вам хотелось бы, связать это чувство с религиозной верой. На мой взгляд — сомнительное дело. Религия обещает личное бессмертие. Однако вечность вовсе не означает вечную жизнь. Вечность — сама по себе. К ней можно прикоснуться — на краткий миг.

Вера, говорите вы... Какая вера? Вера сгорела в печах. Унеслась с дымом в пустые небеса. Я не могу спорить с учёными богословами. Они станут вам в который раз доказывать, что Всевышний наделил человека свободой воли и, дескать, люди сами виноваты: предпочли зло добру. А я думаю, что всеильное и благое Верховное существо, допустившее гибель шести миллионов ни в чём не повинных людей, мало того что дискредитировало себя в глазах жертв и тех немногих, кто уцелел. Оно поставило под сомнение своё собственное существование. Это было самоубийство Бога! Пускай теперь пастыри пытаются выгородить своего кумира. Мы, всё наше поколение, чувствуем себя на поминках.

Как вдруг чарующий квинтет А-Dur этого чеха, танец двух скрипок, виолы, виолончели и контрабаса, мгновенное счастье, нечаянный луч, упругий, стремительный ритм воскрешают забытое чувство. Не сочтите меня, дорогая, сентиментальным идиотом. На крыльцо вышла, закрываясь ладонью от солнца, латышская девушка. Что же это было: порыв ветра, мгновенно вспыхнувшее желание обладать юной женщиной? Не думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя плотским влечением? Может быть, — но и нечто иное: чувство вечности.

Вот видение — ещё одно. Я стоял на привокзальной площади одного провинциального города в средней полосе, но когда же это было, дай Бог памяти, сколько лет или десятилетий тому назад? Не могу исключить возможности того, что это был сон. Подъехал УАЗ, грузовик-вагончик, стукнула раздвижная дверца. Шофёр разгружал вещи. Возле кабины стояла девушка, дочь или попутчица, невысокая, плотно сбитая, похожая на гриб-боровик, в коротком коричневом платье из вельвета. Она посмотрела в мою сторону — о чём она

думала? Я был для неё случайным встречным. Наконец, она заметила постороннего, серые глаза вопросительно взглянули на меня, она как будто меня узнала, маленький бледный рот приоткрылся.

Подошёл водитель.

«Ты чего на неё уставился?»

Так, сказал я, ничего.

«Ну и вали отсюда».

И теперь, как в тот день, я оборачиваюсь: нет ни машины, ни девушки, редкие пешеходы бредут по вокзальной площади. Из моих окон виден океан.

Вечность... Хочется, однако, кое-что пояснить. Существует обстоятельство преследующее и неотвратимое, ибо оно обусловлено самой нашей натурой, равно как и традицией страны, где мы выросли и откуда явились, существует недуг хронически-рецидивирующий, как обозначил бы его медик. Русская болезнь, вот её имя. И лечить эту болезнь приходится испытанным русским лекарством.

В чём дело?

Внезапно, ни с того ни с сего, очнёшься от жизни, оглянешься и спросишь: кто ты такой и что это такое — пресловутая действительность, обступившая тебя? Кому не приходилось время от времени просыпаться, как просыпаются среди ночи, открывают глаза, а кругом немота и мрак? Проснуться от жизни, развести в стороны, как занавески на окнах, всю эту ветошь и видимость, и увидеть пустые провалы — да, вот он, экзистенциальный недуг, он настигает длинными, вязкими вечерами: оцепенелое сидения за пустым естолом, бессмысленное блуждание между вещами и обрывками мыслей. Всё, куда ни обернись, оборачивается мнимостью и обманом, надо только протереть глаза, чтобы в отчаянии обозреть свои стены, свои пожитки, перевести взгляд с одного на другое, вновь и вновь терзая себя вопросом, куда же деваться от сосущей пустоты, спастись от истины; ибо эта катастрофа сознания, собственно, и есть последняя истина.

Всё, всё — морок, мечта, обман зрения, а на самом деле нет ничего. Когда вдруг необъяснимым образом начинают бить, откуда-то взявшись, воображаемые старинные часы, точно бронзовые листья один за другим падают в воду, — это голос великого Ничто, это оно отзывается со дна бытия.

Таков наш наследственный недуг, он-то и породил нашу суевликую жадность к идеям, все равно каким, к хаотическому фило-

софствованию, исконно русскую привычку жить кое-как, есть кое-как и презирать всяческое благоустройство. Потому что знаешь: вся эта жизнь сочинена бездарным бумагомарателем, сшита из лохмотьев на скорую руку; и вот-вот полезет по швам; высунешь голову, а там ничего нет, ни любви, ни Бога, ни истории: одно великое паралитическое Ничто.

Но! Тут-то и является единственное на свете спасение, якорь надежды, панацея. Девушка, чувство вечности

Dixi. Я сказал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СНОВА РОССИЯ

Давным-давно

То было раннею весной...

А.К. Толстой

Разговор, как всегда, польхал о политике, о Ближнем Востоке, но почему-то потух, спорящие умолкли — тихий ангел пролетел. Осталось неизвестным, кто первым предложил рассказывать эпизоды из жизни. Или (добавил один из присутствующих) сны.

«Сны? — возразил кто-то. — Сны забываются... Есть тут ещё? — спросил рассказик и, настигнув бутылку на столе, налил себе честного, скромного божоле. — Сон забываешь, как только проснёшься, но, клянусь вам, то, что я хочу вам поведать, случилось на самом деле».

Слушатели изобразили преувеличенное внимание.

Он продолжал:

«В сущности, совершенно незначительный эпизод, будете разочарованы. Но знаете, — рассказик сделал основательный глоток, — до сих пор всё стоит у меня перед глазами, а ведь сколько времени протекло, дай Бог памяти? Шестьдесят лет!»

«Представьте себе, хоть это и нелегко, — сказал он, усмехнувшись, — еврейского подростка, худого и носатого, с длинной шеей, всклокоченной шевелюрой, живущего в мире книг, представьте подростка, едва успевшего очнуться от великого сна своего детства.

А на дворе апрель, та самая, ещё ранняя весна, когда трава ещё всходила, весна, о которой пел граф Алексей Константинович Толстой, любимейший мой поэт... Только эпоха совсем другая. Другие песни.

Идёт война. Каждое утро радио за дощатой стеной вещает сводку военных действий. Один успех за другим, уничтожено велико-лепное количество вражеских самолётов, подбиты танки, захвачено вооружение, минувшей ночью союзная авиация бомбардировала Эссен, Дортмунд, Дуйсбург... Сплошные победы, и всё-таки невозможно не почувствовать, что дела у нас неважные... Да о чём тут толковать, вы и так всё помните».

Рассказчик обвёл глазами компанию.

«Теперь надо бы описать место действия. Так сказать, кулисы.

Природа вокруг чудная, но не буду вас утомлять. Обыкновенный, если кто там бывал, пейзаж Предуралья.

Могучая река неспешно катит свои воды, поблизости, почти ровень с пологим берегом, тянется дорога, уже просохшая, а по правую руку, если шагать от села до больничного посёлка, поднимаются лесистые холмы. Леса, говорят, доходят отсюда до самой Удмуртии».

Он кашлянул, пригубил из бокала.

«В тот день я возвращался из школы, зачем-то повернул налево к неглубокому оврагу и, отшвырнув портфель, взбежал на пригорок. Тут она появилась.

Кто? Мне почудилось, что встреча наша не была случайной. Девушка, вся в белом, промелькнула между деревьями по ту сторону овражка и остановилась как бы в замешательстве.

Подросток сбежал вниз по склону.

Он взошёл наверх, не доверяя счастью, не веря своим глазам. Да, это была она, Нюра, в белом платье с бретельками на голых плечах и деревенским кружевом на груди. Точнее, в ночной сорочке, понадеявшись на апрельское лукавое солнышко. Нюра Привалова была больничная медсестра, ей было, опять же если не ошибаюсь, девятнадцать. Она казалась мне неопишимо красивой. Прибавлю, что и теперь, в воспоминании, она предстаёт мне живым воплощением Вечной женственности.

Вы рассмеётесь: сентиментальная риторика, этак во вкусе Владимира Соловьёва, — а я, между прочим, как раз в те дни узнал о его существовании, впервые в жизни пережив поэзию молодого Блока.

Конечно, она, эта Нюра с её простонародным именем была вполне заурядная, обыкновенная русская девушка с жемчужно-серыми глазами, плотно сложенная, с негустыми волосами цвета калёного лесного ореха, — тип женщины, характерный для этих мест. Она стояла передо мной в прозрачной тени, и мы оба молчали. Нюра, сказал я, вы меня любите? Она опустила глаза и ничего не ответила.

И это всё? — спросил кто-то.

Рассказчик пожал плечами, развёл руками.

Сюжет

Однажды, сказано у Пушкина, играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно...

Как-то раз в дружеской компании за столом рассказывали эпизоды из жизни; я присоединился к этой игре. Вспомнилась одна история, которая, правда, произошла не со мной, — не могу даже припомнить сейчас, от кого я её слышал. Но зато я удостоился комплимента от одной из присутствующих дам — писательницы, одиноко сидевшей в стороне от других. Прервав молчание, она произнесла:

«Интересный сюжет».

«Дарю его вам, — сказал я, — хотя, на мой взгляд, история довольно банальная».

Кто-то добавил:

«Как всё в жизни».

Она возразила:

«Не скажите. Может, и обыновенная, но исключительная. Самая важная в жизни».

Началась дискуссия, к которой я не хочу возвращаться. Писательница публиковалась под псевдонимом «Б. Хазанов»; я не читал ни одной из её книг. С какой стати она присвоила себе мужское имя, вдобавок не слишком благозвучное, осталось для меня тайной. Впрочем, кто знает? — возможно, принадлежность, пусть даже формальная, к обеим литературам, мужчин и женщин, — ведь это, не правда ли, разные вещи — давала ей особые преимущества.

Что касается моего рассказа (не слишком продолжительного), история в самом деле не была лишена некоторой занимательности.

Взрослая женщина получила влюблённое письмо от 15-летнего подростка. Дело происходило во время войны, в ничем не примечательном, полурусском, полутатарском селе у подножья лесистых холмов на берегу Камы, куда автор письма приехал с матерью из Москвы. Прибыли летом памятного сорок первого года, когда враг уже почти вплотную приблизился к столице; ехали сперва в товарном эшелоне для эвакуированных женщин и детей, затем теплоходом по широкой спокойной реке. Их приютили временно в пустующей школе, а затем они поселились в посёлке местной, бывшей земской больницы, в двух километрах от села, в одном из бараков для медицинского персонала. Мать подростка устроилась лаборантом в амбулатории, по ночам подменяла дежурных сестёр в общем корпусе. Мальчик ходил пешком в сельскую школу.

Героиню романа звали Анна, иначе Ньюра. Ей было 24 года, она окончила сестринские курсы и работала медсестрой. Эта Ньюра была крепкая, рослая и широкобёдрая девушка обыкновенного северо-западного типа, из тех, что расцветают в восемнадцать и расплываются к сорока годам, круглолицая, сероглазая, с негустыми ореховыми волосами, — одним словом, ничего особенного, отнюдь не красавица.

Миновала осень, наступила зима, та самая, ранняя и студёная, необыкновенно жестокая первая военная зима, сковавшая грязь на российских дорогах, что чрезвычайно ускорило марш тевтонского полчища — моторизованных дивизий группы «Центр», хотя и они понесли значительные потери от отморожений. Никто в далёком тылу ничего не знал о реальном положении вещей, об устрашающих масштабах молниеносного вторжения и поражения; радио передавало победные сводки. Не было вестей от отца, который ещё в первые дни войны записался в наспех сколоченное, так называемое народное ополчение, и судьба этого ополчения оставалась неизвестной.

Жизнь шла своим чередом, пока не случилось упомянутое приключение. Началось всё это в один прекрасный, солнечный январский день; оба, подросток и медсестра, шагали в село. Им было по дороге. Прежде виделись лишь мельком. Матово-голубое, стеклянное небо распахнулось над сонным, в белых плотных дымах, больничным городком, над заиндевевшими лесами, над простором надолго уснувшей реки. Снег поскрипывал под ногами. Свежая и порозовевшая, в платке и полушубке, из-под которого выглядывала

юбка вокруг обтянутых грубыми чулками колен, Нюра, ступала, внимательно глядя себе под ноги, осторожно ставя маленькие чёрные валенки, характерным женским движением помахивая отставленной левой рукой, правую прижимая к груди. Разговаривали почти ни о чём.

Ближе к вечеру мороз начал крепчать; обратный путь в лиловых сумерках отрок проделал чуть ли не бегом, прижимал к обветренному лицу ладонь в варежке и был охвачен необъяснимой, беспричинной радостью, в которой сам не отдавал себе отчёта. Как будто в мозгу гремел и дудел духовой оркестр. Музыка не покидала его, покуда он не добрался до места. Взлетев на крыльцо барака, миновал сени, кухню толкнулся к себе, матери не было дома. Мальчик швырнул на пол шапку и школьный портфель. Он был голоден, едва успел приняться за ужин. В эту минуту что-то случилось.

«Влюбился», — сказала та, что печаталась под мужским псевдонимом.

«В этом возрасте?» — усомнился кто-то.

«Именно в этом»¹.

Откровение настигло подростка, словно удар бичом.

Вечером, когда мать ушла на дежурство, он зажёл на столе копилку — лампу без стекла ради экономии керосина. Одинокая тень упала на кровать, поднялась от стены к потолку, в чёрном оконном стекле, обрамлённом морозными узорами, он увидел таинственное лицо двойника, озарённое снизу. Рука с пером в ученической вставочке повисла над раскрытой тетрадкой с дневником; он, наконец, очнулся, попытался справиться с собой, в конце концов так и не написал ни слова. Вдруг напала зевота. Усталый после грандиозного дня, он поднялся из-за стола, завернул фитиль, дунул на умирающий огонёк и лёг. И сразу же перед ним открылся сверкающий санный путь. Нюра Привалова что-то говорила ему, поглядывая из-за плеча, и отвернулась, не дав ему времени понять, о чём она, и ответить; он замешкался, между тем она, мелко и быстро ступая в своих чёрных валенках, помчалась вперёд, край юбки порхал вокруг её ног, обтянутых чулками, мальчику не терпелось открыть свою тайну, он чувствовал, что опаздывает, торопился, чуть не плача, догнать Нюру, а она всё шла и шла, и уходила всё дальше.

¹ Тут мне хотелось сказать: «Влюбился в свою влюблённость. Подозреваю, что писательница таки воспользовалась сюжетом». *Примечание автора.*

Время сместилось, как бывает в фантастических рассказах, сколько-то дней прошло, заполненных этим упоительным открытием; он отсиживал положенные часы на уроках, ничего не видя, не слыша, думал об одном. Тут надо заметить, что девчонки в классе не существовали для подростка. Была только она, и она должна была *знать*. Необходимо каким-то образом, дать понять Нюре, как он к ней относится. Главное — открыться, этого было достаточно, прочее, право же, не имеет значения, она была единственная, какая есть, ей совсем не обязательно быть сверхкрасивой, важно, что это *она*. Об этом — ослепительная мысль, настоящее приключение! — он должен был ей написать, признаться, потому что сказать вслух невозможно — стыдно, боязно, хоть и увлекательно, и никто не должен об этом знать. О том, чтобы встретиться, мы не то чтобы не мечтали, но просто не думали: с нас довольно одних чувств.

Было уже совсем поздно, написанное письмо лежало на столе; мальчик спал, как вдруг стукнули в дверь. Вскрикнув, он вскочил, первая мысль была, что мать увидит письмо, но всё кругом молчало. Он сидел на кровати с голыми ногами, ждал, стук не повторился. Встал и зажёл светильник. Письмо, начертанное, чётким ученическим почерком на двух страницах, вырванных из тетрадки, было аккуратно свёрнуто, как было принято в военное время, треугольником; оставалось надписать адрес — тот же, что и его собственный: Привалова Анна Ивановна проживала в соседнем бараке. Он потушил коптилку.

В шапке с завязанными ушами, в пальто, из которого он давно уже вырос, и подшитых снизу валенках, подросток шагал по мёрзлой оловянной дороге, точно в пространстве сна, чтобы бросить письмо в почтовый ящик в селе, вернулся в ночи к себе, а на другой день — как вы думаете, что произошло?

«Ничего», — ответила та, что подписывалась мужским псевдонимом.

Никакой реакции не последовало и в последующие дни. Получила ли она его послание? Прочла и выбросила? Однажды вечером, как всегда, в одиночестве подросток сидел перед чахлым огоньком. Услышав, как запела и хлопнула тяжёлая дверь из сеней, насторожился. И, как будто снова во сне, кто-то тихонько постучался к нему. Это была она.

«Неужели пришла?»

«Я думаю, — отрезала писательница, — это было неизбежно».

Кто-то возразил:

«Это неправдоподобно».

А по-моему, наоборот, очень даже понятно. Представьте себе молодую женщину, девушку, из простых. И вдруг она получает письмо, страстное, искреннее, горячее, ведь так оно и было?»

Я пожал плечами.

«Никто ей так никогда не писал. А тут кругом война, мужчин ни одного не осталось, всех забрали на фронт. Конечно, она заинтересовалась. Мальчишка, ребёнок... А всё-таки — может, поговорить с ним? Вправить ему мозги».

Итак, она вошла. На Нюре был тёплый платок, снежинки искрились на выбившихся волосах цвета калёного ореха. Пальто с воротником из искусственного меха накинуто наспех на рубашку с грубыми кружевами — видимо, только что встала с постели. Придумала какую-то отговорку: дескать, нет ли чего-нибудь почитать. Страшно стеснялась. В воздухе веяло присутствие женщины — не просто женщины: её присутствие.

Огонёк колыхнулся, взметнулись тени. Нюра подседа к столу. Любовники — кто отважился бы назвать их любовниками? — скорее заговорщиками — обменялись бессмысленными словами, история не сохранила их. Историю вытеснила мифология. И шло, кошачьими неслышными шагами уходило время.

Она поднялась: пора было уходить. Да ещё мать подростка того и гляди нагрянет. Он упрямо помотал головой. Таинственная гостья стояла подле своей тени, зовущей к себе с кровати, придерживала на плечах сползающее пальто; её груди стояли в вырезе рубашки. Но уже упоминалось о том, что эпизод этот (как все подобные происшествия) длился недолго. Мальчик выбрался из-за стола. Он успел вырасти, был худ и костляв. Женщина была выше ростом. Пальто упало на пол. Она взяла его за плечи и привлекла к себе. Оба молчали. Огонёк изнемогал на столе. В чёрном оконном стекле совершался призрачный танец. Он почувствовал на губах продолжительный, повторяющийся поцелуй. Она отстранилась. Мальчик ждал, сердце билось так, что он едва удержался на ногах. Нюра, невысказанно красивая, стояла в чулках, в сорочке выше колен, он почувствовал, что его раздевают.

Считанные мгновенья ушли на то, чтобы планеты довершили свой полёт, юный любовник приник, как дитя, к материнским сосцам, и тёплые, сильные руки обхватили его и увлекли к себе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Мариенбад

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen?
Goethe¹

1

Барышня, которую тайный советник увлёк за собой в бессмертие, была моложе его на полстолетия, скандальная влюблённость могла напомнить историю с работницей цветочной мастерской Кристианой Вульпиус, но тогда, тридцать пять лет тому назад, он сам был молод, возмущение веймарских дам ни к чему не привело, герцог, не чуждый подобным интрижкам, только посмеивался. Да и мамзель Вульпиус, круглолицая, пухленькая дочь народа, стала в конце концов госпожой фон Гёте.

Теперь тайный советник был уже вдовцом, в Мариенбад наезжал лечиться и заодно пополнить свою коллекцию минералов. Некогда Богемия, согласно его нептунической теории, находилась на дне океана, горы вокруг курортного городка были не что иное, как отложения морских солей.

Обыкновенно он останавливался в пансионе отставного прусского офицера Брёзике. Туда же приехала летом 1821 года дочь хозяина Амалия фон Левецов, вдова с тремя дочерьми. Старшая, 17-летняя Ульрика, только что вышла из французского пансиона, по-французски говорила охотней, чем по-немецки, забавно грассировала, ни одной строчки Гёте не читала. Состоялось знакомство. Старец и девушка сидят вдвоём на террасе, в виду лесистых гор. Его превосходительство толкует о рудах и недавно вышедших «Годах странствий Вильгельма Мейстера», посматривает на малютку Левецов как добрый папаша, вернее, дедушка.

И в третий, последний сезон 1823 года, как прежде, мамаша с дочерьми обитает в пансионе Брёзике. На этот раз там остановился сам герцог Карл-Август, теперь уже великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский. Гёте — напротив, в «Золотом голубе». Снова

¹ Чего теперь мне от свиданья ждать? Гёте, «Элегия» (1823).

стояние у окна в ожидании, когда Ульрика появится на террасе пансиона; беседы, гуляния, поездки по окрестностям; весь Мариенбад видит их вместе.

Это история поражения, миф о любви олимпийского Зевса к земной женщине Алкмене.

«Она была красивой?»

«Красавицей вряд ли. Худенькая немецкая девочка, ровесница пушкинской Татьяны, в белом муслиновом платье с завышенной талией, как тогда носили. Серые глаза, завитки светлых волос вокруг лба, шея царевны-Лебеди».

Есть несколько портретов, продолжал я, этот, где ей семнадцать, — самый известный. Есть ещё любительская гравюра: мать и три дочери, Ульрика с гитарой. Ну и, наконец, дагерротип конца века. Старуха в чепце стоит перед резным столиком с книгами и шкапулкой — если бы заглянуть, что там хранится...

Так, невинно беседуя, мы блуждаем по парку, сидим на скамейке. Почему зашёл разговор об этой девочке?

«В Марианске Лазне, так теперь называется Мариенбад, стоит памятник: Гёте и Ульрика Левецов. Там она совершенно не похожа на свои портреты».

«Вы там были?»

«Бывал. Кстати, в прусских фамилиях на -ов буква w не произносится. Но мы по-русски привыкли так говорить: Вирхов, Бюлов, Левецов...»

«Вы хорошо знаете немецкий?»

«Так считается...»

«А сами вы тоже так считаете?»

«Нет. Язык неисчерпаем, Таня».

Смеркается, пора возвращаться.

2

Я люблю этот дом. Можно сказать, чувствую себя здесь как дома. А в своём доме — нет, не чувствую. Особенно с тех пор, как я остался один, стены московской квартиры опостытели до такой степени, что хоть беги на край света. К счастью, так далеко спастись не нужно. Я, конечно, не бог весть какая важная птица, литературный ранг мой невелик, — у нас ведь всё по ранжиру, — но так как всё-

таки числюсь писателем, то могу не только обитать здесь, но даже выбрать удобное для себя время. Меня знают, обслуга улыбается мне как старому знакомому.

Обыкновенно я приезжаю, дождавшись лучшей поры — той, о которой сказано: очей очарованье. К сожалению, на этот раз не повезло: буквально на другой день разверзлись хляби. Я было отправился по обычному маршруту через парк, к развалинам церкви, в рощу, и — вернулся промокший до нитки. Милая Глаша всплеснула руками. Ванна, липовый чай; до ужина провалялся в постели.

Можно считать, что это было дурным предзнаменованием. Теперь все глаголы придётся ставить в прошедшем времени: после того, что случилось, я твёрдо решил, что нахожусь здесь в последний раз. Остаётся подвести печальный итог; как говорили древние, *dicere et animam levare*, высказаться и облегчить душу.

Итак, если вернуться к тем дням... Я прочёл Тане что-то вроде популярной лекции из жизни германского поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте. Прочёл, надо признаться, не без задней мысли; сомнительная игра. А играть, между прочим, вовсе не хотелось. Но рассказ увлёк меня. А она? Не знаю. Мне казалось, что она просто терпит моё присутствие. Кто-нибудь, полистав эти странички, скажет: седина в бороду, бес в ребро. Щёлкнули по носу, так тебе и надо.

Облегчить душу... о, нет, я знаю точно, что рана не закроется. Начнёт гноиться, и надо поступить так, как поступают хирурги: не ковырять, а вырезать. Иссечь края и зашить. Вот мы этим и займёмся.

Вот моя комната. Книги, бумаги, кофеварка. Хаос кое-как набросанных мыслей, надо бы всё это привести в порядок. Не говоря уже о том, что заброшена моя работа, а между тем «Жизнь Гёте» должна быть сдана в издательство не позднее следующего квартала. Словари, справочники — всё наготове. Окно в слезах дождя... Казалось бы, лучшее время для работы. Моя пишущая машинка, словно старая собака, выжидающе глядит на меня.

Собственно говоря, я и прежде наезжал сюда подчас не в лучшем расположении духа, с такой же неохотой листал свои бумаги, валялся на кровати, ждал, когда уютный дом исцелит меня. Похоже, моя жизнь крутится, как заевшая пластинка. Кстати — до чего заезженное сравнение. Теперь оно уже становится малопонятным: спросите любого школьника, что такое патефон, он не ответит. Что такое примус, стиральная доска, чернильный прибор? Сколько слов нашего детства, юности, даже зрелых лет сдуло ветром.

Я стараюсь поменьше общаться с соседями, нынешних писателей откровенно презираю. В столовой сажусь у окна, один, и чувствую себя вельможей среди плебеев.

3

Некоторым решающим событиям жизни присуще одно свойство: их никто не ждал. Они никак не вытекают из предшествующих обстоятельств. Ссылаются на судьбу; но что такое судьба? Скитаясь по округе, я натолкнулся на гуляющего папашу; разговорились; надо же было так случиться, чтобы они с дочкой оказались в доме одновременно со мной.

Не знаю, следует ли гордиться этим знакомством. Мне приходится по моей профессии иногда бывать в Германии, разумеется, Восточной, в так называемом первом социалистическом государстве на немецкой земле. Профессор N (ограничусь литерой на старинный манер) напоминает садового гнома, немцы любят ставить у себя под окнами эти фигурки из раскрашенной глины. Только вместо красного колпака на его седых кудрях сидит академическая ермолка. Профессор мал ростом, большеголовый, большеносый, в пышных лиловых усах и бородке клинышком, вальяжен, следит за своей внешностью. Говорят, известный учёный, член-корреспондент и лауреат.

Не совсем понятно, почему он искал отдохновения от трудов в нашей сравнительно скромной обители, а не там, где положено поправлять здоровье генералам наук и искусств. Впрочем, и здесь бывают знаменитости: я, например, тут встречал Корнея Чуковского, которого на дух не переносу.

Как и я, профессор N предпочитает не ложиться после обеда; мы гуляем втроём. (Изредка вдвоём с Татьяной, как в тот день, когда я рассказывал ей об Ульрике.) Кажется, он обрадовался случаю найти если не вполне достойного, то по крайней мере терпеливого слушателя; а я? Теперь совершенно ясно: я искал возможность побывать с дочкой. Ради этого готов был выслушивать разглагольствованья папаша. Сейчас это модно, кое-что в этом роде я уже слышал, читал машинописные труды на папиросной бумаге. От этой самодеятельности я, разумеется, далёк. Само собой, учёные заслуги профессора N принадлежат к другой области; философствование о судьбах России всегда было любимым занятием дилетантов.

В прежние годы я тоже немного фрондировал, подписал письмо с протестом, к счастью, без серьёзных последствий. Помню, был у меня однажды разговор с моим покойным дядей о цензуре: я возмутился, а он доказывал мне, что литературу нельзя пускать на самотёк. Руководство необходимо, партия должна воспитывать писателей и так далее. Потом умолк, поглядел на меня своими склеротическими глазами старого, всё повидавшего еврея, покачал головой. И прибавил: «Ты что, не понимаешь, где ты живёшь?».

Ещё бы не понимать.

Ах, не всё ли равно... И цену этому режиму мы прекрасно знаем; только я-то здесь причём?

Это я к тому, что профессор N, довольно скоро проникшись доверием к моей персоне, похоже, не подозревал о том, что вся его национальная философия — или как там её назвать — что всё это жёвано-пережёвано. Как-то раз он сказал: «Вам как бойцу идеологического фронта будет бесполезно поразмыслить над...»

4

Идеологический фронт... Фразеология, которая давно вышла из моды. Но суть, разумеется, не изменилась. Мне стоило некоторого труда удержаться от возражений. Ничего обидного в этом определении профессор не видел; я, однако, почувствовал себя оскорблённым. Вот, значит, за кого он меня принимает. Я хотел сказать: не смешивайте меня с этой братией, я не писатель. Я переводчик, имею дело с текстами такого уровня, до которого всем им, вместе с начальством, далеко как до звёзд. «Жизнеописание Гёте» — 800 страниц! — принадлежит западному автору, известному специалисту и отнюдь не члену коммунистической партии. Пробыть эту книгу стоило немалых трудов. Да и выйдет она вероятней всего с охранительным грифом «Для научных библиотек».

Всё это я мог бы ему выложить, но промолчал. Не то чтобы опасался, что покажусь диссидентом. Но в том-то и казус, что собеседник мой в некотором роде был прав. Да, государи мои, назовём вещи своими именами. Идеологический фронт, тра-та-та, что это значит? Это значит, что вы все куплены с потрохами. И я, разумеется, не исключение, хоть и воображаю себя либеральной овечкой. Все — и писатели, и критики, и переводчики, и патриоты, и лизоблюды, и

те, кто тщетно старается сохранить лицо. Беззаботное времяпровождение в санаториях и домах творчества вроде нашего. Приличные гонорары, свободный образ жизни. Не надо вставать ни свет ни заря, не надо бежать на работу, не надо толкаться в очередях... Кому мы всем этим обязаны? Начальству, которое сами же исподтишка браним. Сваливаем всё на «них», а на самом мы у них на содержании, как пышнотелая бабёнка у богатого купца.

Я промолчал, воздержался от дискуссии с моим наставником, да он и не ожидал иного. Он привык не слушать, а говорить. Не было смысла и оспаривать его отважное вторжение в историсофию. (Если можно это так назвать.) Я лишь осторожно осведомился: не противоречат ли его рассуждения Великому Учению? Мы вышли из ворот и приблизились к полуразрушенной церкви. Профессор-гном остановился.

«Вы имеете в виду ревизию марксизма-ленинизма?»

Я покосился на дочку — было приятно констатировать, что она скучает. Церковь стояла перед нами неммым укором, в ожидании ремонта, совершенно так же, как нуждалось в ремонте основополагающее учение.

5

«Отнюдь! — вскричал профессор. — Никакая это не ревизия, но дальнейшее углубление, дальнейшее обогащение новой постановкой вопроса. Новыми идеями! Видите ли, дорогой мой... — Он мягко заговорил, словно обращаясь к несмышленишу. — Подчас альтернативу “или — или” бывает необходимо заменить синтезом: “и — и”. Тогда окажется, что и альтернативы-то на самом деле никакой нет».

Я снова украдкой бросил взгляд на Таню: поговорить бы с ней на другие темы...

«События нашего века требуют этого самым настоящим образом. Маркс жил сто лет тому назад. И Владимир Ильич умер больше полувека назад... Я имею в виду назревшую необходимость обновления нашего советского мировоззрения, насыщения нашей идеологии национальным содержанием. Ведь что получается? Война отгремела, великие жертвы были принесены, и не только на алтарь Отечества. Мы спасли Европу! Спасли весь мир... Россия поднялась на такую высоту, о какой никогда не мечталось, Россия стала второй, а может быть, и первой — мы ещё посмотрим! — мировой

державой. А идеология? Почитайте наших умников — не сдвинулась ни на шаг, мы вернулись к старым баранам, вот и всё. Теория, кто спорит? — теория остаётся незабываемой, теория, сказал Ленин, непобедима, ибо она верна...»

Он таки основательно забаррикадировался. Мог не опасаться, что я на него наступлю.

«Но речь идёт о сегодняшнем дне, об идеологии, а идеология — это, знаете ли, вещь нешуточная. Становой хребёт нации!»

Я пролепетал: «Нас учили...»

«Знаем, как же. Надстроечная категория, а базис...»

«Экономика».

«Браво. Ставлю вам пятёрку. Но, знаете ли, экономика экономикой, а без духовного обновления нам не обойтись. Если говорить напрямую — без национальной ориентации. Мы должны осознать, кто мы такие».

Что это значит, спросил я.

«А то значит, что наша история началась не с Семнадцатого года. России, батенька, больше тысячи лет! Между прочим, уже Киевская Русь во многих отношениях обогнала Западную Европу. Это я говорю вам со всей ответственностью... Нам все уши прожужжали о нашей отсталости, догнать и перегнать, всё такое. Кого, спрашивается, догонять? Пора, наконец, осознать нашу особую роль в мире».

Признаться, я не подозревал, что эта галиматья аттестуется в известных кругах как выдающееся достижение отечественной мысли. Голос моего друга профессора, размеренный, хорошо поставленный голос опытного лектора, звучал в густеющих сумерках.

«Война столкнула нас лицом к лицу с Западом. Начался процесс, обратный тому, что совершается там у них уже несколько столетий и привёл, прямо скажем, к губительным последствиям... Вы упомянули об историческом материализме, тут, кстати говоря, тоже всё не так просто, учение еврея Маркса, что ни говори, пришло к нам оттуда... Но! Я вовсе не собираюсь подкапываться под теорию. Напротив, я делаю из неё решительные выводы... Да, конечно, экономические условия нашей жизни скромны по сравнению с западным благосостоянием — с так называемым благосостоянием. Но зато они освобождают нас от иссушающей погони за материальным преуспеянием. От власти капитала в её самом отвратительном выражении, поработившей западного человека настолько, что он забыл о вертикальном измерении бытия...»

«Папа, — жалобно сказала Татьяна, — может, я пойду?»

«Куда? — строго спросил профессор. — Ты помнишь, что сказал доктор: ежедневно гулять не меньше двух часов. И, кстати, тебе тоже не вредно послушать».

Он пояснил, что Таня этой весной окончила десятый класс (о чём я уже знал), врачи советуют не спешить с поступлением в институт, пусть отдохнёт годик. Тем более что ещё не решено, куда она поступит. Я посмотрел на профессора, посмотрел на дочку, снова взглянул на отца, и увидел, как он смотрит на Таню. Куда девалась его строгость — это был просящий, растерянный взор. И мне стало его жалко. Странная, несуразная мысль: вот человек говорит, говорит, а ведь на самом деле это не важно, не в этом дело, а в том, что мы гуляем втроём, и отец смотрит на свою дочь, а она на него не смотрит, и он чувствует, что она ускользает, её мысли далеко...

Проклятье! опять дождь.

6

Обитатели дома бродят по коридору, словно привидения, спускаются по скрипучей лестнице, из бильярдной доносится стук шаров — игра, в которой я не вижу абсолютно никакого смысла. Я стоял у окна, там, в своей комнате, и думал, к чему я всё это пережёвываю. Какой-то персифляж, мне попросту не хватает чувства юмора, чтобы это почувствовать. Опять же эти прогулки с Таней: разве моё неуклюжее ухаживанье за девочкой, хождение вокруг да около, разве это не пародия на любовь великого олимпийца? Профессор с его откровениями... Читайте старых славянофилов, господа, вы всё это там найдёте в куда более талантливом изложении. В конце концов читайте Достоевского. Этот пирог давно съеден.

И, наконец, причём тут я. Мне-то какое дело до ваших споров.

Я уже сказал, что не испытывал желания дискутировать с моим наставником. Да и что я мог бы ему сказать... Я не то и не другое, я вообще обретаюсь в иных сферах. Не будучи ни в коей мере ненавистником моей страны, я не могу считать себя и патриотом, в будущее нашей родины не верю, не верю в «народ», стараюсь даже не употреблять эти скверно пахнущие слова. Не такое это великое счастье родиться в России, — но раз уж так получилось, надо терпеть. Делать своё дело, вот и всё. Кстати, я никогда не испытывал желания покинуть страну.

Но в чём же, наконец, моя вера, есть ли у меня какая-нибудь вера? Я отвечаю: есть. Я верю в литературу. Флобер (я когда-то переводил его письма) говорил своему дорогому Ги: если всё, что происходит вокруг, будет для тебя важным лишь поскольку оно может стать материалом для литературы, если для тебя и собственное твоё существование никакой другой ценности не представляет, — тогда впредь: пиши, печатайся!

Но я не писатель, я только перелагатель, переписчик древних пергаментов, как средневековый монах.

Я стою перед слезящимся стеклом, мысленно перед кем-то оправдываюсь, и вдруг спохватываюсь. Меня словно осеняет в который раз: зачем я здесь? Рассуждаю о литературе, о том, о сём, а ведь на самом деле меня гложет иная забота. Это похоже на то, как бывает, когда смотришь в вагонное окно. Навстречу бегут деревья, но это лишь то, что мелькает перед глазами; стоит перевести взор, и позади другой хоровод несётся следом за поездом. Так другая, тайная мысль летит за мной, мысль о девочке, которая ещё не успела сменить школьное платье, которой нет до меня никакого дела. Стыд, и ужас, и тайная надежда, и какой-то не подобающий моим летам восторг...

Я искал случая остаться с Таней наедине и в то же время боялся этого. Мне нужно было спрятаться за кого-то, нужен был третий — если не папаша, то его превосходительство Geheimrat¹ фон Гёте. Я не знал, что я скажу Тане, осмелюсь ли. И вот я выхожу после обеда, она стоит на крыльце одна. Папа неважно себя чувствует и остался дома. Что-нибудь серьёзное? Погода влияет, сказала она. Надо было ехать на юг, а не сюда. Но тогда бы мы не познакомились, возразил я шутя. Она колебалась, мы смотрели на небо.

Наметилось просветление. Как ни странно, это меня не обрадовало, я почувствовал, что не готов к разговору тет-а-тет. И загадал: если, сойдя по ступенькам, она не откроет свой зонтик, значит, она и сама никогда для меня не раскроется. Старый циник, я почувствовал двусмысленность этой метафоры. Но тотчас загадал снова: если, сойдя с крыльца, она обернётся, значит, меня ждёт удача. Таня не обернулась. Мы двинулись по обычному маршруту через парк: я, скованный суеверием, возрастом, воспитанием, она, помахивая сложенным зонтиком. Вспоминая эту прогулку, я горько усмехаюсь: неужели так

¹ Тайный советник (нем.)

трудно было разомкнуть уста? Сказать, наконец, о том, что меня переполняет, найти простые человеческие слова. Моё сердце, зверёк в груди, закопошилось, когда я подумал, подойдём к церкви, и будь что будет, остановлюсь и скажу... что я скажу? На моё счастье мы не успели дойти до цели, как снова полило сверху. А на другой день, за завтраком, произошло событие, погубившее разом все надежды.

7

В столовой появилось новое лицо. Рядом с дочерью за профессорским столом сидел молодой человек лет двадцати. Я дал себе слово не обращать на них внимания, не смотреть в эту сторону — и не смог совладать с собой. Гость был в новом, дорогом костюме, в белоснежной рубашке, в щёгольском галстуке. Темноглазый и темноволосый, аккуратно причёсанный, чтобы не сказать — прилизанный.

Допив кофе, я потащился к их столику. Якобы поздороваться. Мальчик был мне представлен: студент Института международных отношений, «и будем надеяться, — с хитренькой какой-то, кислосладкой улыбкой прибавил профессор, — будущий член нашей семьи».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Таня покосилась на меня — мне почудилось в этом взгляде желание поставить меня на место. Но, может быть, и другое: меня как будто испытывали. Такое предположение было, разумеется, смехотворным. Словно я тоже «кандидат». Я промолчал, да и она никак не реагировала на заявление профессора; все трое молча занялись яичницей.

Обыкновенное бабье любопытство. Что я скажу, как поведу себя? Я откланялся. До обеда сидел над бумагами, перелистывал толстый том, пробовал вжиться в стиль автора, ход его мыслей; так и не сдвинулся с места.

Сказать, что меня терзала ревность? Нет, — просто чувство вдребезги разбитого существования. Таня ничего не говорила об этом женихе. Но почему она должна была мне докладывать. Кто я такой?

Безусловно, это была самая подходящая партия: сын богатых родителей, молодое поколение нового привилегированного класса, советская *jeunesse dorée*¹. Импортный костюмчик, причёска. И что

¹ Золотая молодежь (*фр.*)

это за институт, кого они там готовят, мы тоже прекрасно знаем. В такие учебные заведения принимают не каждого. Нужно как минимум иметь рекомендацию райкома комсомола, образцовую анкету и, разумеется, соответствующих родителей; сюда же и будущий тёсть-академик.

В молчании, словно приговорённые к ежедневному ритуалу, мы брели, теперь уже вчетвером, по непросохшей песчаной дорожке, молодые люди впереди, мы с профессором следом, я делал вид, что внимаю его шамканью, и чувствовал, как растёт с каждым шагом расстояние между мною и этой семейкой, больше того — как далёк мне и чужд весь этот мир. Вынужден с вами согласиться, проворчал я, поглядывая на удаляющуюся пару. Профессор что-то толковал и тоже не спускал с них глаз. Меня поразила убийственная догадка. Меня поразила убийственная догадка. Современная молодёжь: ведь они теперь не дожидаются совершеннолетия, не говоря уже о браке. Они «живут»! Отвратительное словечко, но и старинное «близки» звучало бы не лучше.

Позабыв о спутнике, я впиваюсь глазами в Таню, ищу в её походке, в том, как она ставит ноги, в едва заметном покачивании бёдер подтверждение моей проклятой проницательности. Есть такие специалисты, которые будто бы могут угадывать по походке, девушка или уже не девушка. Я стыдил себя — и не мог остановиться, рисовал одну сцену за другой; он и приехал, ясное дело, ради того, чтобы ночью Татьяна, дождавшись, когда папаша захрапит, неслышно, в наспех наброшенном халатике пробежала по коридору и юркнула в его комнату. Да о чём там говорить: наверняка и старый хрыч в курсе, чувствует, что ей не терпится, и делает вид, что уснул.

8

В августе костюмированный бал в кургаузе. Зал освещён площадками, на антресолях трубят рожок, пилят смычками оркестранты, гости отплясывают модный вальс с подскоками. Что это такое? Сейчас покажу.

Я беру её руку, престарелый скоморох, подпрыгиваю, неловко обнимаю её за талию, и мы делаем несколько туров. Всё трясётся: Гектор с Андромахой, Орлеанская дева с королём Карлом, турки, китайцы... Амалия фон Левцов в парике, в золотисто-зелёном пла-

тье, с пышным розовым бантом на шее, с подвесками до обнажённых плеч, — маркиза де Помпадур. Дочь Ульрика в наряде гётевской Лотты, пришлось-таки прочесть знаменитый роман, а кто же Вертер, неужели его превосходительство? Бедняга Вертер застрелился, помнит ли об этом Ульрика?

«У нас в школе тоже хотели устроить маскарад».

Какой же наряд ты выбрала себе, Таня?

«Никакой. Вечер отменили».

Почему?

«Отменили, и всё. Из моральных соображений».

Я не пытаюсь уточнить, в чём было дело, я нахожу эту отмену резонной и рассказываю Тане о том, что на балу в кургаузе произошло нечто из ряда вон. Документальных подтверждений этому событию нет, если не считать маловразумительных намёков в письмах двух-трёх современниц. Но мало ли слухов ходило в те дни в Мариенбаде о тайном советнике и Ульрике. Почему автор «Жизнеописания», серьёзный учёный, счёл возможным упомянуть эту сплетню? Очевидно, не находил её такой уж неправдоподобной. Оба, Гёте и девушка, на минуту покинули зал, как-то так получилось, что они оказались одни в коридоре, где время от времени пробегали озабоченные лакеи. Поцелуй, — кто был его инициатором?

«Я думаю, она», — сказала Таня.

Нет, всё-таки это легенда.

Прижав ладони к пылающим щекам, Ульрика выбегает к гостям. Кажется, никто не заметил их отсутствия. Тайный советник исчез, не простившись ни с кем.

Карлсбад

1

Гёте советуется с врачом и получает заверение, что с медицинской стороны противопоказаний нет, напротив, брак будет только полезен. Посвящает в свой план великого герцога, старого друга. Карл— Август в восторге и отложил на два дня поездку на военные манёвры в Берлин. В мундире с лентой, при орденах, его светлость нанёс визит госпоже Левецов и вручил ей письмо Гёте. Тайный советник и министр просит руки дочери.

Со своей стороны монарх охотно поддерживает предложение. Будущей супруге Гёте обещана роль первой дамы веймарского двора и годовая пенсия, 10 тысяч талеров на случай вдовства. Мать с младшими дочерьми получит во владение дом в столице герцогства.

Ответ мамы уклончив; на другой день будущая невеста не выходит из дому, не показывается на террасе пансиона. Внезапная новость: Амалия с барышнями уезжает. Записка от Ульрики: папа хочет провести остаток сезона в соседнем Карлсбаде; о предложении его превосходительства ни слова. Гёте велит паковать вещи и отправляется следом за женщинами. В Карлсбаде... что в Карлсбаде?

«Отказ, что же ещё...»

Кто-то надоумил Ульрику написать на склоне лет свои воспоминания. Что могла помнить старая дама спустя три четверти века? Маменька ссылалась на то, что Ульрика слишком молода и пока ещё не выражает желания выйти замуж. Но желания не появилось никогда. Мучительно-сладостный труд зачатия остался ей неведом. Фрейлейн Теодора Ульрика Софи фон Левецов, наследница крупного состояния, умерла в приюте Святого Гроба для пожилых незамужних дворянок, близ Тёплица, поздней осенью 1899 г. В этом году был отпразднован 150-летний юбилей Гёте. Ульрике исполнилось 95 лет.

2

Она рассказывает о первой встрече в пансионе Брёзике, 1821 год.

«Бабушка позвала меня к себе, а служанка сказала, что там у неё сидит пожилой господин, хочет меня видеть. Мне идти не хотелось, я как раз занялась новым рукоделием. Когда я вошла к ним, в комнате находилась и моя мама, она сказала: это моя старшая дочь Ульрика. Гёте взял меня за руку, взглянул на меня дружелюбно и спросил, как мне нравится Мариенбад. Перед этим я провела год в пансионе, ничего не знала о Гёте, какой это знаменитый человек и великий поэт, но не чувствовала никакого замешательства перед таким любезным старым господином, никакой робости, как обычно со мной бывало при всяком новом знакомстве».

О брачном проекте:

«Великий герцог был очень милостив... Моя мать твёрдо решила, что не станет уговаривать нас выходить замуж. Всё же спросила, имею ли я такое желание, а я спросила, хочет ли этого она. Мама сказала, дитя моё, ты ещё слишком молода. (Между прочим, Ульрике уже двадцать.) Но предложение тайного советника — это большая честь, сказала она, я не могу дать ответ, не спросившись у тебя, ты сама должна поразмыслить. На что я ответила, мне размышлять не надо, я люблю Гёте как отца, я бы ещё согласилась, если бы он был одинок и нуждался в моей помощи, но у него есть родня, он живёт с сыном и невесткой...»

И в заключение — загадочная фраза: «Keine Liebschaft war es nicht». Вполне равнодушной я всё же не оставалась. Примерно так можно перевести, сказал я Тане.

3

Эта ночь. Или несколько ночей, тех, что слились для меня в одну. Просыпаясь, я спускаю ноги с постели, постепенно из мрака проступает переплёт окна. Идет дождь. Как всегда, всю жизнь, идёт дождь! Зажигаю лампу, ищу таблетки.

Я должен, — прежде чем поставить точку, — упомянуть о главном: о страхе. Именно страх, неподдельный, безотчётный, — что-то случится, кто-то войдёт, принесут весть о несчастье, — страх перед старостью, одиночеством, крахом — вот источник всех нелепостей моего поведения. Значит, не страсть, не вождение, не любовь, как её обычно понимают? Да, потому что страх — синоним моей любви.

Что ещё написать, что добавить? Что комическая на вид, а на самом деле драматическая история последнего увлечения Гёте повлияла на мою собственную судьбу, мои рассказы не прошли безнаказанно? Всё обернулось ничем... Я решил, что уеду завтра же, не прощаясь. Сон покинул меня окончательно, я сижу вполборота к столу, не могу читать, не в силах работать, на часах половина третьего, и кто-то стоит за дверью. Кто-то медлит с гибельной вестью. Стучат. Я не откликаюсь. Стучат! Поднимаюсь: к моему изумлению — Таня. Точно такая, как я воображал: в рубашке, в поспешно накинутом халате, в тапочках на босу ногу. Я не знаю, что ей сказать, я совершенно не готов к этому визиту.

Но лучше всё по порядку... После того, как я их увидел в столовой, после прогулки вчетвером мы не виделись целых два дня. Думаю, что профессор и Таня сознательно избегали меня. Я тоже старался не попадаться им на глаза. На третий день случайно встретились. Кто-то вышел на крыльцо следом за ней, к счастью, это был не отец. Я боялся взглянуть, понимал, что она потеряла ко мне всякий интерес. Но она медлила, шурилась, что-то разглядывала вдали; несколько минут прошло, она пробормотала: «Папа снова нездоров...» И мы сошли с крыльца.

Как ни странно, её молчание меня ободрило. Я заговорил — как бывает, когда бредут всё равно куда, лишь бы не стоять на месте, разговаривают о чём угодно, лишь бы не молчать, — заговорил каким-то докторальным тоном, словно отвечая на её безмолвный вопрос.

«Видишь ли, Таня», — и запнулся.

«Видишь ли... Иногда хочется сломать клетку, которая называется действительностью. Природа придумала для этого сон. А человек изобрёл искусство. Пусть я не художник. Но когда я тебе рассказывал... разве это не было желанием преодолеть, разрушить постылую действительность?»

«Почему же постылую?» — возразила она.

Я понимал, что ухожу в сторону. Моя ахиня её не интересовала.

«А где же...» — начал я...

«Мой так называемый жених?»

Оказалось, что студент Международного института уехал. Утром, до завтрака.

«Вы поссорились?»

Она пожалала плечами, задумчиво покачала головой: откуда я взял?

«Ты говоришь — даже не завтракал».

Молчание.

«Извини, Таня, что я надоедаю тебе вопросами... Почему так называемый?»

Снова пауза.

«Папа хочет, чтобы я вышла за него замуж. Не сейчас, конечно... рано ещё об этом говорить... То есть я хочу сказать, Володя для меня слишком молод. Да и я... Сейчас так рано не женятся».

Она ждёт ответной реплики. Я жду продолжения.

«Мне бы, конечно, лучше выйти за взрослого, опытного мужчину... Я думаю, я была бы хорошей женой... Я бы принадлежала ему, а он принадлежал бы мне... А иногда я думаю, что вообще не выйду замуж, останусь старой девой вроде вашей Ульрики... Может, мне всё-таки согласиться?»

«Из сострадания?»

«Володя меня любит. Вы, наверное, решили, что он из богатой семьи».

Гм, как это она догадалась?

«Он сирота. Отец не вернулся с войны. Мать умерла от голода в Ленинграде. Он вообще не москвич».

Помолчав, она добавила:

«Вы на папу не обижайтесь».

За что?

«Все эти его рассуждения. Не обращайтесь внимания. Он добрый, он и вас очень уважает... Я вам еще хотела сказать... Я ведь давно догадалась».

Догадалась, о чём?

«Я поняла... когда вы стали рассказывать о Гёте».

«Понять нетрудно», — сказал я печально.

Ещё несколько шагов прошли, не смея взглянуть друг на друга.

«Но ты же понимаешь, что я вовсе не собирался сравнивать себя с...»

«Разве? — Мне послышалась в её вопросе лукавая нотка. — А мне показалось...»

«Эта история кончилась ничем. Если не считать...»

«Если не считать чего?»

«Мариенбадской элегии. Там имя возлюбленной не упоминается, но это о ней».

«Вы описали её словно какую-то дурочку».

«Гёте думал о ней иначе».

«Я тоже... Вы говорили, там в конце есть загадочная фраза».

«В мемуарах Ульрики? Я перевёл её очень вольно».

«А буквально?»

Мы остановились. Я озирался. Серое небо. Я люблю эти места, люблю Подмоскowie, единственный родной уголок посреди огромной неприютной страны... И вот мы стоим одни на усыпанной иглами лесной тропе, и я гляжу на неё, как потерянный, и знаю, что от этого разговора, от этого стояния друг перед другом зависит вся моя жизнь.

«Этой ночью, — проговорил я, — мне приснилось, что ты пришла ко мне. А может, не приснилось? Скажи мне, Таня, что это не был сон».

Она смотрит вдаль. Влага блестит на её волосах. Я пробормотал:

«Так, значит, ты колеблешься. А папа настаивает».

Она возразила:

«Он нас не торопит. Я же говорю, мы слишком молоды. Володя студент, а я ещё даже никуда не поступила. Папа говорит: он честный, он хорошо учится, из него выйдет толк, я ему помогу. Папа хочет, чтобы я вышла за русского. А то кругом одни евреи...»

«Одни евреи, — сказал я. — Какой ужас».

Она пропустила мою реплику мимо ушей.

Я сказал:

«Современная молодёжь предпочитает не ждать, а? Что ты скажешь?»

«Откуда вы знаете?» — она испуганно взглянула на меня. Мы брели дальше.

«Ты промокнешь, — сказал я, — нам надо вернуться».

Она посмотрела на небо. «Ничего вы не знаете. Так вот, я вам скажу... — и умолкла. — Только не презирайте меня. Мы тоже однажды попробовали».

Она добавила:

«С Володей».

Вот как, пробормотал я.

«Да».

Я спросил: «И что же?»

«Ничего».

«Как это, ничего?»

«Так... Не получилось. Он ничего не умеет, а я тем более... — она продолжала: — Это я виновата».

Я не понял.

«Да, сама. Я его спровоцировала. Как ваша Ульрика».

«Но это легенда, Таня. Никакого поцелуя не было. Ничего не было».

«И у нас не было», — печально сказала она.

«Таня, — сказал я и словно прыгнул с вышки в воду. — Выходи замуж за меня».

5

Видит Бог, мне совсем не хочется досказывать. Но придётся. Решил ли что-нибудь этот разговор? Или хотя бы прояснил? Пожалуй, только одно: вот девочка не успела выбраться из детских пелёнок, как очутилась среди трёх мужчин. И оказалось, что только это и важно: она одна, летучий огонь, — и трое мужчин. А кто они такие: желторотый студент, почтенный академик и, наконец, потёртый жизнью, с разрушенной психикой, человек сомнительной профессии, — какая разница?..

«Вольдемар Иосифович», — она назвала меня по имени и отчеству. До сих пор я звался просто Владимиром.

«Раз уж мы решили договорить всё до конца...» — сказала Таня.

«Да, — отвечал я. — Насколько это возможно».

«Вы, как это называется, сделали мне предложение. Папа хочет, чтобы я согласилась выйти за Володю. Это называется помолвка. Папа хочет, чтобы всё было как в доброе старое время. А если я вам скажу, что наоборот? Что он как раз этого и не хочет!»

«То есть как?»

«Я вам не рассказывала про маму. Моя мама умерла. От рака, два года назад... Она была его студенткой, родила меня, когда ей было столько же, сколько мне сейчас. Раньше её портрет стоял у папы на столе. И он всегда говорил, что моя мама похожа на меня. Не я на неё похожа, а она на меня... Потом как-то раз вечером мы сидели, было уже поздно, он стал рассказывать, как они познакомились... Какое это было счастливое время. И как он всё потерял, когда её не стало. Всё, всё потерял — он даже пристукнул кулаком. Конечно, известный учёный и всё такое, за него любая бы вышла замуж, но он больше не женился. И не женится. Он тогда вечером говорил, наверное, целый час... Я на следующий день не пошла в школу, он уехал в академию, я встала, вижу, кабинет открыт, и портрета на столе больше нет».

«Вечером он приезжает, какой-то суетливый, растерянный, Дуся (это наша домработница) подаёт ужин, он говорит, что не голо-

ден, жалуется, что ему надоели все эти совещания, он хочет заниматься своей работой, а не сидеть в президиумах... Я у него спросила, куда девался мамин портрет».

«Вот такие дела, — сказала она, — Вольдемар Иосифович».

«Ты меня звала иначе», — заметил я.

Она рассеянно кивнула.

«Мы с твоим женихом тёзки».

«Женихом? Какой он жених... Я поняла, что отец нарочно оставил дверь открытой... Чтобы я видела... Он ничего не ответил, пошёл в кабинет, я за ним, он выдвинул средний ящик и достал мамину фотографию в рамке. Мама была красавицей, глаз не оторвать. Зачем же было её прятать? Затем, говорит, что теперь ты у меня. То есть он хотел сказать, что я на неё похожа, он и прежде так говорил, когда мама была ещё жива. Но я почувствовала, что он имеет в виду что-то другое. Повернулась и ушла».

«Как-то раз он меня спрашивает — когда уже появился этот Володя: он тебе нравится? Я говорю, красивый мальчик. — Значит, он тебе нравится. — Не знаю, говорю я. — И ты бы вышла за него замуж? — Я говорю: я об этом никогда не думала. Глупый разговор. Мой папаня говорит: значит, так — ты выскочишь за него замуж, а отца бросишь на произвол судьбы. Хорошо зная, что у отца никого, кроме тебя, нет. Что он будет по вечерам ходить взад-вперёд по комнатам и думать о тебе, а ты в это время... Что ж, говорит, я не против, мне твоё счастье дороже...»

«Я было возмутилась, но вдруг почувствовала, как в воздухе пронеслось: он ко мне близко не подходил, но я учуяла. Он был пьян! По крайней мере, заметно выпил. Этого с ним никогда не бывало. Я сказала: тебе вредно! Ты сам говорил, что не терпишь пьяных. Он ответил — очень холодно: ошибаешься, моя милая. Я не пьян. Я просто хотел у тебя спросить, только не отвечай сразу. Я хочу, чтобы ты... ну да. Чтобы ты стала как мама. Моей женой, разве это так странно?»

6

Эта ночь...

Измученный, я ложусь и тотчас засыпаю. Открываю глаза, смотрю на часы: оказывается, я проспал не больше часа. Пью воду, ищу таблетки. Кто-то скребётся в дверь.

Я не двигаюсь с места. Сон как ветром сдуло, но я всё ещё не могу сбросить оцепенение и уверен, что сплю. И когда ручка двери зашевелилась, я почему-то подумал, что пришла уборщица. Какая уборщица в это время? И когда вместо неё в мою келью робко вступила Татьяна, — мне тогда всё ещё казалось, я сплю. Есть такая запись у Новалиса: если спящему снится, что он видит сон, о значит, он близок к пробуждению.

7

Она стоит, прикрыв за собой дверь, в длинном шёлковом одеянии, которое в прошлом веке называлось пеньюаром, но это не пеньюар, на ней белое платье семнадцатилетней Ульрики, с оборками и высокой талией под грудью. Её губы шевелятся.

«Таня! Ты?..»

Она пролепетала:

«Я на одну минутку... Папа спит. Я хочу вам сказать».

«Что, что ты хочешь сказать?»

«Не знаю».

«Таня, это такое счастье, что ты пришла», — бормочу я. Она переводит взгляд с настольной лампы на меня, качает головой, в полутьме блестят её глаза. Она худенькая, поясок перетягивает её стан, она волнуется ничуть не меньше, чем я.

«Что же мы стоим, садись». Но она не садится.

«Я всё думаю... — Она, наконец, овладела собой, чего нельзя сказать обо мне. — Я всё думаю о том, что вы мне вчера сказали...»

«Таня... — Мы стоим и смотрим друг на друга. — Таня, я не могу без тебя... Моя жизнь зашла в тупик. Я не знаю, что со мной будет, если ты не будешь со мной... Я умру от одиночества... Таня, будь моей женой. Не оставляй меня».

Молча, дыша ртом, не сводя с меня расширенных зрачков, она берёт меня за руку и кладёт себе на грудь. Это всё-таки пеньюар, и под ним ничего нет. Я чувствую под моей ладонью маленький плоский сосок и толчки сердца. Но на самом деле мы всё ещё стоим на лесной тропе, под морозящим дождём, она хочет раскрыть зонтик, не получается, она вертит его в руках.

«Я к тебе приду... — шепчет она. — Ночью, во сне».

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Арбатские переулки

Дали слепы, дни безгневны.
Облака плывут.

А. Блок

1

Мэри, кто это написал? — Не знаю. — Нет, ты помнишь. Ты должна помнить: Блок. «В теремах живут царевны, не живут — цветут». — Да, верно. — Но как можно жить с этими стихами, когда вокруг нищета и разор? Какие терема? Когда армия-победительница, разбитая, возвращается эшелонами калек, ветераны, стоя на костылях, торгуют самодельными зажигалками на Тишинском рынке, безногие протискиваются, скрипя колёсиками своих тележек, в проходах пригородных поездов, собирают на выпивку, слепые поют военные песни? «Враги сожгли родную хату...» Когда хрипящих, оскаленных, с торчащими рёбрами на раздутых эмфиземой боках, лошадей бьют наотмашь дубинами, чтобы столкнуть с места вагонку с брёвнами на лагерных лесозаготовках?.. Смех, да и только.

Но это было, было.

Я была царевной и смотрела заставки. — Ошибаешься, милочка: это царица смотрела заставки, буквы из красной позолоты.

Я была княжной Мэри в амазонке и сидела боком в дамском седле, я обмерла, когда Печорин выехал из зарослей, в горской мохнатой шапке, в тёмно-бурой черкеске и белом бешмете, с кинжалом на поясе. «Боже мой, черкес!»

«Ne craignez rien, madame, — сказал я, усмехнувшись, — не пугайтесь. Я не более опасен, чем ваш кавалер».

Жить в России — и читать эти книжки, и твердить волшебные строки — как это совместить? Да никак. Как связать времена жизни... Связать невозможно. В крошечной тьме, проснувшись, я зажигаю лампу, на часах начало седьмого; я сижу на моём ложе, одеяло на коленях, и созерцаю свои голые ноги. Из безвременья вынырнуть в земное время — для этого тоже требуется время. Я скитаюсь по комнатам. Холодный душ, примитивная гимнастика. Рассвет отказывается наступить, всё ещё не прошло ночное оцепенение, кофе не

готов, а тем временем время уходит. Жизнь уходит, Мэри! Собрать непослушные, скользкие мысли, как бывает, когда ноги у пешеходов разъезжаются на обледенелом асфальте, и кто-то шлёпнулся там на тротуаре; сполоснуть посуду после скудного завтрака, — жизнь уносится прочь, если я хочу что-нибудь записать, то когда же, как не сейчас. Пустынный экран — как пустыня мозга. Вот оно, коварство письма, двойное предательство электроники и литературы: выстукиваешь букву за буквой, одну фразу за другой — и самого себя не узнаёшь. Бесплодность попыток выразить себя: ведь «я» — это всего лишь тот, кто говорит о себе: я.

Но позвольте — какой компьютер в первую зиму после войны, какая литература... Вот часовня, как прежде. А рядом огромное здание неизвестного назначения заслонило старый павильон метро «Арбатская». Прочь отсюда. Куда же? Я сбрасываю ночной халат, они меня ждут, пять минут до начала сеанса, толпа всё ещё теснится перед входом, просят лишний билетик. Зал полон, протискиваемся между рядами, моя двоюродная сестра впереди, я плюхнулся посредине, за мной, запыхавшись, разматывая шарф, ты, рыжекудрая Мэри. Серым дождём шелестит полотно, мелькают титры, и вот он, блестящий, как финифть, миф нашей жизни: вот она! *In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine!*¹ Ночью, ах, как не хочется быть одной... Прелестная Марика Рёкк, Девушка Моей Мечты, писклявый голосок, и ножкой дрыг-дрыг.

2

Нет, вы только взгляните. Сегодня канун западного Рождества, нас завалило снегом. Рейсовые самолёты не поднимаются с аэродромов, поезда застыли на заснеженных путях, остановилось движение на автострадах, девушки из Автомобильного клуба, в меховых капюшонах, пробиваются к застрявшим в дороге, разносят одеяла и горячий бульон, светает, сиреневый снег, бледнолиловое небо, и глаз не отведёшь от волшебного театра зимы, не различишь, где тротуар, где проезжая часть. Отойти от окна. И взад-вперёд по комнатам, в серо-молочном сумраке моего одинокого жилья.

Я вызвал тебя накануне вечером из виртуального ничто, словно из потустороннего мира, — знаю, что ты уже давно в Америке, жива

¹ Шлягер 40-х годов.

ли ещё? Увижу, как ты сидишь за столом под большим оранжевым абажуром, у родителей моей сестры, никого давно уже нет на свете, и вот я включаю экран, колеблюсь и страшась, и любопытствуя, как ты выглядишь, с тайным сознанием, что я-то не изменился. Ведь я живу во всех временах. Передо мной твоё лицо, крашенные волосы, седые у корней, мешки под глазами, ты что-то говоришь, я догадываюсь по шевелению губ: кто это? Блок?

Разумеется, я узнал её, и она меня узнала, хоть и с трудом, — я могу это объяснить тем, что компьютер неузнаваемо искажает черты.

Сегодня последний Адвент, в снежной мгле, в круговерти мерцают огромные цифры, халдейские знаки Нового года, сияют звёзды Давида, пурга раскачивает гирлянды цветных лампочек в центре города, где вознеслась огромная ель, — о Tannenbaum, о Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter¹, — и вся площадь заставлена лавчонками с мишурой, толпится народ, торгуют дымящимся глинтвейном; давно уже наступило другое столетье, но я всё ещё не привык к новым цифрам; я стою у окна, мне только что исполнилось семнадцать; продлилась война до осени, я был бы призван и убит в последних боях, как те, в Берлине за день, за час до прекращения огня, но эта мысль меня несколько не занимает, на занятиях я сижу в отцовской шинели, чтобы не выставлять напоказ заплаты на ягодицах, впрочем, и на них наплевать; на чём же, стало быть, мы остановились? Я сворачиваю на улицу Фрунзе. Мой отец ещё помнил старое название — Знаменка, я шагаю по левой стороне, вот и окно на первом этаже. Дом с колоннами, импозантный вход, обманчивый ампир. На самом деле там обыкновенные коммунальные квартиры.

«Ты помнишь, как я приходил вечерами, ты сидела за столом под абажуром. Ты переселилась к моей сестре, потому что в вашем доме нарушено отопление и то и дело отключают свет».

Разумеется, она помнит.

«На стене висит фотография: девочки в школьной форме, и сестра, и ты среди них, Мэри».

«Десятый класс».

«Жизнь была колючая, и мы это знали, мы сами были часть этой жизни, а между тем всё ещё не выбрались из детства».

Там, в Америке, через тысячу лет, она улыбается кислой старческой улыбкой.

¹ Немецкая рождественская песенка.

«Я окончил школу раньше, чем полагалось, ты и моя сестра были на год старше меня...»

Она кивает: на целый год. В этом возрасте это много. Её губы шевелятся, мне кажется, она хочет возразить: как давно это было! Разве то, что мы стареем, не доказывает, что никакой вечности не существует?

«Да, да... — бормочу я, чтобы не слышать. — У нас настоящая русская зима. Всё бело».

А у них в Сан-Диего, ведь это почти уже Мексика, жара выше тридцати. В доме с колоннами топили, в комнате было тепло, уютно, над столом оранжевый абажур. Декабрь. Я стою у окна — кто такой, собственно, этот «я»? Тот, кто говорит о себе: я; писатель; знает ли она об этом? Следует поразмыслить, действительно ли тот, от чьего имени я говорю, — я сам. Писание вытесняет меня, я превращаюсь в местоимение, мои реплики — литература, вот что значит быть сочинителем слов. Но все эти материи ей неинтересны. Ей не приходит в голову, что мы играем в ту же игру. Сидим и пишем друг другу записочки. Письмо — как маска.

«В длинной сказке, тайно кроясь, Бьёт условный час. В тёмной маске прорезь Ярких глаз».

Особенный способ разговаривать друг с другом, где я — не я, где многое позволено, волнует и увлекает.

Незнакомец хочет узнать, что Вы о нём думаете.

Ответ Мэри: Не скажу.

Кто Вы такая? Я бы хотел узнать Вас поближе. Назначьте мне свидание.

Какой шустрый. И ещё какая-то восхитительная чушь.

У меня, говорю я, есть замысел, не сердись: мне хочется написать о нашей неумирающей молодости, какими мы были тогда, — смех, да и только.— Я думаю, это невозможно. И всё же тянет восстановить все подробности, дух упоительного времени, а больше всего — твой взгляд. Помнит ли она?

Внезапно её лицо исчезло, экран погас. Её больше нет. Так я и знал: её уже нет в живых!

Я слышу её дыхание.

«Послушай, Мэри...»

Почему, собственно, её так прозвали?

«Моя мама обожала Лермонтова, в детстве была влюблена в Печорина. И я тоже... до пятнадцати лет. А потом разлюбила».

«Но княжне Мэри, кажется, тоже было пятнадцать лет...»

«Я думаю, шестнадцать. Княгиня говорила о замужестве...»

Я ударил лошадь плетью и выехал на дорогу, спокойный, победительный, в черкеске, с кинжалом на поясе...

«Почему разлюбила?»

«Не помню. Наверное, оттого, что он струсил; морочил голову, а сам, когда дошло до решительного объяснения, струсил. А мне хотелось настоящей любви. Но зато, — прибавила она, — в США моё имя пришлось очень кстати».

3

Наконец-то мне стало ясно, чего я хочу, а ведь так просто — переключить синапсы в мозгу, и мы уже в другом веке, в другой стране. Тому, кто ищет восстановить себя во всей цельности, собрать, как бусы, соскользнувшие с нитки, времена и встречи в единое, колышущееся, живое, как плазма, Время, — вот он перед тобой, на твоём экране, — а ты? где ты? В каком-то несуществующем Сан-Диего.

Ты помнишь, на Пушкинской площади, на крыше дома «Известий» световую газету: буквы бегут и пропадают, фразы одна за другой возникают и уносятся в ничто, а на самом деле одни и те же лампочки по очереди вспыхивают и гаснут, — разве это не образ неподвижно струящейся вечности?

Игра была прервана, записочки скомканы, тётя кормит меня ужином, десятый час, я стою посреди комнаты в чёрной железнородной шинели моего отца. Ты смотришь на меня. Смешно сказать: я этой минуты ждал весь вечер. Ради неё приходил ненастным вечером из университета в дом на улице Фрунзе. Я стою, не застегивая шинель, не опустив воротник, руки в карманах, особенно этот поднятый воротник придаёт мне молодецки-небрежный, независимый вид, и взглянув на тебя, я встречаю твой взгляд. Склонив голову, ты смотришь исподлобья, не отрываясь, таинственным, что-то сулящим взглядом, — что же он мог означать, как не то, что ты знаешь о моих чувствах и, может быть, отвечает на них? Я шагаю к метро, и всё ещё вижу этот взгляд тёмно-медовых глаз, какие бывают у рыжеволосых женщин, — он впечатался в мозг, — и вот тебе наглядный пример остановленного времени: больше нет прошлого, нет и будущего, женщина пробудилась в тебе, ищет испытать магнетизм своего взгляда — неважно на ком? Значит, я со своим воображени-

ем, с этим театром мужественности — лишь подвернувшийся случай? И я сбегая вниз по ступеням и вдыхаю тёплый и спёртый запах, искусственный воздух подземелья, и навстречу несётся ветер и гул из туннеля.

Этот взгляд...

Каждый раз, когда мне пора уходить, я стою, не застёгиваясь, не опуская воротник шинели, мальчишески-беззаботный, и твой взгляд, Мэри, летит за мной следом, и мнится, от меня ждут продолжения, игра должна к чему-то привести. С этой изумительной догадкой я выбежал из подъезда с колоннами: смотрите-ка, уже зима. В окнах мерцают огоньки новогодних ёлок, снег сыплется в конусах света под тарелками фонарей, и на круглом щите едва различишь эмблему метрополитена.

В комнате посветлело, метельные облака пронеслись над городом изгнания; лень одеваться, я стою у окна в домашнем халате, и думаю обо всём сразу: о доме с претензией на ампир, о теремах и царевнах, о том, что надо спешить — сеанс вот-вот начнётся, толпа под огромным, во весь фасад фанерным щитом с пляшущей Мариной Рёкк, жадные лица, вдруг кто-нибудь в последний момент прибежит продать билетик, а мы, счастливыцы, протискиваемся втроём между рядами, и медленно гаснет свет, и я думаю о том, что Вечное Настоящее, быть может, и пригодилось бы в литературе, ведь я всего лишь сочинитель слов, — а в жизни ты прикован к времени и влачишься вместе с ним; пресловутая вечность — всего лишь поэтическая вольность, умозрительный конструкт, — ты права, Мэри, меня тянет философствовать, — а что такое время, когда тебе семнадцать и война только что окончилась?

4

Я топчусь возле окна, только что вернулся с улицы Фрунзе; поразительно, что, глядя на тебя, я не знаю, как ты одета, только и вижу рыжие волосы и этот взгляд; кругом огни, морозная мгла моего города... Ты всё ещё у моей сестры, мама умерла, отец не вернулся из ополчения, сгинувшего в лесах под Вязьмой, зимой сорок первого. Ты сидишь весь вечер, не вставая из-за стола, я даже не могу сказать, какого ты роста, надеюсь, не выше меня, ничего не знаю о твоей фигуре, и странно, что она меня не занимает. Только взгляд!

«Но ты же в концов увидел. А до тех пор — кого ты видел: княжну Мэри? царевну? Ты должен был увидеть в конце концов, какова я из себя».

Опомнившись, компьютер возвращает её старое, неузнаваемо-узнаваемое лицо, ты, наверное, не решаешься спросить, сколько мне лет, впрочем, ты и так знаешь, я ведь старше тебя на целый год. Сейчас это не имеет значения; ничто уже не имеет значения, но тогда — догадался ли ты, что я — это я вся, с ног до головы, со стоптанных туфель до причёски, и что девчонка в 18 лет — это женщина. Послушай, мы должны прерваться, — там, в далёком будущем, она оглядывается: когда приезжают внуки, в доме всё вверх дном. Что я хотела сказать: ты должен помочь мне с бельём. Ты никогда не бывал у меня? Из дома сестры, как выйдешь, поверни налево, к Арбату; пройдёшь мимо сквера и нашей школы. Крестовоздвиженский переулок, первый направо.

5

Путешествие в прачечную: я несу пустой чемодан и корзину. Через двор, под арку ворот, по переулку налево, она торопится следом, я повис, уцепившись за штангу, одной ногой на подножке трамвая, рядом и надо мною другие, кто-то обхватил меня, чтобы удержаться, — вот откуда «трамвайная вишенка страшной поры» — кто тогда слышал эти строки? За мутным стеклом в окне вагона её глаза блуждают, она там в тёплом шерстяном платке, юная бабушка. Вагон тормозит толчками, сойти с подножки нельзя ни в коем случае, местечко, где уместилась нога, тотчас будет занято, толпа ждёт, колышется на каждой остановке, нет уж, извольте ждать следующего трамвая — и четыре увешанных гроздьями пассажиров площадки, оба вагона тяжело трогаются с места, визжат колёса, зелёные искры сыплются с дуги, трамвай поворачивает на конечное кольцо, я стою, мешая вываливающимся, прыгивающим, жду, когда ты покажешься на площадке, чтобы принять у тебя корзину и чемодан. Царевна смотрела заставки. «Царица, а не царевна!» Интересно всё-таки, кто стирал им исподнее, кто крахмалил рубахи?

Мы поднимаемся по лестнице, я тащу чемодан и корзину с бельём, отдых напрасен, дорога крута. Вечер прекрасен, стучу в ворота. Господи, причём тут Блок? А вот при том. Мы вваливаемся с нашей добычей в полутёмный коридор коммунальной квартиры.

Комната с широким окном, зимний подслеповатый день, двор, заваленный снегом, который свозят из переулка. Терем высок, и заря замерла... а в Сан-Диего жара — тридцать градусов и плещутся воды, катят волны Мексиканского залива. Мэри, как всё это соединить?

«И не надо. Невозможно».

Нечего тут разводить философию, говоришь ты или хочешь сказать оттуда, из-за океана, за тысячу вёрст и лет. Усталая, в зимнем пальто ты присела в уголке, сбросив бабушкин платок на плечи, встряхиваешь медью волос. Отчего же нельзя соединить?.. Ещё разок проверить, все ли вещи на месте, прошлый раз одной сорочки, самой красивой, с кружевами, не досчиталась. Чистое выглаженное бельё разложена на кровати, на табуретке. Мы разворачиваем и ставим ширму. В смутном предчувствии чего-то, что должно, наконец, произойти, я слышу издали стук моего сердца. А ведь если подумать, протереть глаза, — что такого особенного произошло?

В крошечной тьме зажечь лампу, седьмой час в начале. Посидеть, спустив голые ноги, из беспамятуства вынырнуть в земную сумятицу, пройтись, пошатываясь со сна, по комнатам. Кофе клокочет в старой кофеварке, и вся жизнь впереди.

6

А вот я тебе сейчас докажу, как легко всё сцепляется, ведь в мозгу нет отдельных ячеек — фолиант памяти хранят все клетки совместно, морозец такой славный, почему бы не прошвырнуться по главной улице, — помнишь? — той, что, оставив позади Манежную площадь, Исторический музей и выезд на Красную площадь, течёт вниз мимо Телеграфа к Триумфальной площади, впрочем, уже успевшей стать площадью имени лучшего, талантливейшего. Любишь ли ты Маяковского? Нет, пожалуй; после Блока он несъедобен.

«Почему, Мэри?»

«Так... Не люблю эту жестяную поэзию».

Улица Горького

1

Стоп. В двух нижних полуэтажах помпезного гранитного дома сияет призрачными огнями коктейль-холл, наимоднейшее словеч-

ко, знак эфемерной дружбы с бывшим союзником. Уже вот-вот будет произнесена речь в Фултоне, вот-вот грянет напоминание о капиталистическом окружении, исчезнут щеголеватые английские офицеры в темно-зеленых шинелях, перестанет ходить по улице Горького двухметровый красавец-негр в нашивках, умолкнут песенки: «Путь далёкий до Типерери» и «Зашёл я в чудный кабачок», и «Хорошо нам с тобой, милый мой, Билли-бой». Но «кок» ещё манит призрачными огнями. Мы с тобою там не были, Мэри, и никогда не будем, и всё-таки можешь мне поверить, можешь считать это выдумкой, грёзой нищих: входим.

2

Минуя презрительного швейцара в чёрно-золотом одеянии, не удостоив взглядом подскочившего гардеробщика, вступаем в область предания, я в тройке шикарного покроя, великолепно сидящей на мне, манжеты с запонками, галстук неопикуемой расцветки, ты — на тебе голубое, искрящееся платье с квадратными плечами, рыжие волосы сзади подвиты внутрь, как у Марики Рёкк, декольте узким мысом вдаётся в расщелину полуприкрытых грудей, вокруг лебединой шеи цепочка с медальоном в ямке между ключицами, крохотная сумочка через плечо на длинном ремешке до бедра. На тебя оглядываются. Мерцает стекло фужеров. За столиками сидят мертвецы. Официант склонил над нами лакированный череп с пробором. «Привет, Паша», — произносишь ты бархатным каким-то, грудным и неузнаваемым голосом и заказываешь «полярный со сливками».

Она добавила: «Два. Мне покрепче». Тут наконец я заметил, что это вовсе не Мэри.

«Как вас звать?» — спросил я растерянно.

Она удивлена. «Меня? Но ты же знаешь — Мария; здесь меня зовут Мэри. Хотя по-настоящему моё имя другое».

Я хочу спросить: какое?

«Не скажу. С каких это пор ты говоришь мне “вы”?»

«Конечно, Мэри, просто я тебя не узнал...»

«Вообще-то, если по-русски, ко мне все обращаются на ты, так здесь принято. Как по-английски: у них там одинаково: что “вы”, что “ты”... Да кому я это говорю, ты ведь писатель, — сказала она, посасывая через соломинку коктейль, — тебе должно быть это известно...»

Какой писатель, хочется мне возразить, когда это ещё будет...
«Ты знаешь английский язык?» — спросил я.
«Немного. Здесь это необходимо».

3

После двух-трёх глотков я почувствовал, как тонкая струйка выстрелила в мозг.

«Мэри, — сказал я, — это ты или не ты?»

Она оглядывает зал. Кто-то помахал ей рукой, она рассеянно кивнула.

«Кто я такая...» — промолвила она. С верхнего полуэтажа доносилось пощипывание банджо, стук маленького барабана. Зеленоватое сияние залило чертог, лица гостей смешались в неразличимую массу.

«Кто такая, — повторила она, — могу тебе объяснить, чтобы между нами не оставалось неясности... Я, конечно, не твоя возлюбленная, хотя... и она может стать такой же, как я, почему бы и нет? Каждая девушка мечтает о лёгкой жизни. Так вот, я и есть такая девушка. Вот только не вижу моей напарницы, мы работаем вдвоём, — кажется, у неё неприсутственные дни, — понятно, что я имею в виду?.. Одним словом, я то, что называется девушка для развлечений. Тебя не смущает это слово — девушка? Между нами — только не выдавай меня... — мне уже тридцать. Хотя выгляжу я на десять лет моложе, ведь правда? Скажи, что это правда, утешь меня...»

«Но я, — продолжала она, — чтоб ты знал, с кем имеешь дело. Я — высший сорт. Ко мне может подойти не каждый. Только мистер с толстым бумажником. В “Национале” за мной закреплён постоянный номер».

Я досасывал остатки из высокого стакана, она спросила: «Хочешь повторить?» Паша вырос как из-под земли.

«Медленней, — сказала Мария, — и делай паузы между глотками». Она смотрела на меня, влюблёнными глазами, не мигая, и, клянусь, это была Мэри. Это был её взгляд, когда она сидела за столом, а я стоял посреди комнаты в расстёгнутой шинели с поднятым воротником.

«Ошибаешься, мой милый... А впрочем, какая разница... Я всё думаю, не поехать ли с тобой, ты мне нравишься... Ты мне ужасно нравишься».

В чём же дело?

«Не могу».

«Почему?» — спросил я тупо. Она рассмеялась. «Дай-ка я тебе поправлю...» — и протянула руку к моему галстуку — или это была бабочка, голубая в белый горошек?

«Потому что у тебя нет денег!» И я с ужасом вспомнил, что у меня в самом деле нет ни гроша. Сколько может стоить это питьё? Зачем я только сюда притащился... Я ощупываю, обхлопываю себя в поисках несуществующего кошелька.

«Не волнуйся, — Мэри махнула ладошкой, — мы это уладим».

Она продолжала:

«Глупые вы дети... Нет денег. Разве в этом дело? Я не могу с тобой остаться, потому что ты — это ты, а я... сама не знаю, кто я. Алкоголь на меня не действует, просто выпивка позволяет понять кое-что... Неужели ты не видишь, что вся эта сволочь, — она обвела глазами столики, — это не люди, а привидения. Открой дверь пошире, ветер дунет, и от них ничего не останется... Я не могу с тобой, потому что ты дитя. Ну, ну, не обижайся. Ты ведь ещё ни разу не был с женщиной».

«Откуда это известно?» — проворчал я.

«Тут и гадать нечего, по тебе видно. Как ты себя ведешь. Как ты на меня смотришь... Да и твоя мордашка, не сердись. На тебе всё написано, малыш! Я желаю тебе успеха с твоей Мэри, только знаешь... Лучше чтобы она осталась такой, какая есть. То есть я хочу сказать, лучше будет, если у вас ничего не будет...»

Она швырнула на стол купюру. И мы вышли в морозную ночь.

Крестовоздвиженский

1

Мы успешно штурмуем трамвай, удалось, вознеся пустую корзину, втиснуться на площадку, я остался внизу и протягиваю ей над головами чемодан, тоже пустой. Ухватившись за штангу, стою у подножки, одна нога касается земли, другая на ступеньке. Медленно, тяжело, стряхивая пытающихся уцепиться, ковчег отваливает от пристани, и на каждой остановке, похожей на дебаркадер, его осаждают новые толпы. Зато обратный путь легче. Притиснутый к стеклу, я стерегу багаж на задней площадке, Мэри где-то в вагоне, рель-

сы бегут у меня из-под ног, трамвай шарахается из стороны в сторону, колёса визжат на поворотах из переулка в переулок; приехали, Мэри роется в кошельке, расплатиться с заведующей, я несу вещи с бельём — чемодан и корзину, она семенит следом в подростковом своём пальтеце с вытертым мехом, обвязанная антикварной шалью крест-накрест; мы бредём до поворота в Крестовоздвиженский, вступаем во двор, поднимаемся по ступенькам, где поколения жильцов оставили в камне круглые вмятины. Дверь в лохмотьях войлока, дощечка с фамилиями — кому сколько звонков. В полутьме она ищет ключ от английского замка.

2

Моя помощь больше не нужна, Мэри занята разборкой белья, ещё раз — всё ли вернули, мне пора идти; не поднимая глаз от раскрытого чемодана, равнодушным тоном она спрашивает, не опоздаю ли я на занятия, я медлю. Я не в состоянии двинуться с места. Она занята бельём. Воздух тяжелеет, сгущается сумрачный день.

Вздохнув, она вытягивает из-за шкафа старинную, странную вещь, матерчатую загородку на деревянных ногах, вместе мы раздвигаем створки, осторожней — шаткое сооружение вот-вот повалится. И вообще — к чему это? Для чего понадобилась ширма? Она таки рухнула. Мы давимся смехом, приключение разрядило атмосферу. А дальше, что же произойдёт дальше? Светает, я всё ещё не очнулся и допиваю кофе. Если я хочу что-нибудь записать, то это можно сделать только сейчас. Ополоснуть посуду, включить аппарат. Светится пустынный экран. Вся моя жизнь со мной, прошлое, будущее — какая разница, всё едино, оттуда я вспоминаю своё будущее. Вспомнить будущее, что сей сон значит? Ограбить прошлое, отнять у него его несбывшееся будущее...

3

Мне пора уходить. Чистое бельё лежит стопками на кровати, на старом продавленном кресле. В теремах живут царевны, не живут — цветут. При условии, однако, что они экипированы, как положено.

Там, за ширмой, она что-то делает, высунулась голая рука, я подаю ей то одно, то другое, она там прыгает на одной ножке и чуть было не уронила ширму. Так и случилось бы, если бы я не подскокил. Э, э! Чур не глядеть.

Но я и не решился бы, не хватило бы смелости заглянуть туда. Между тем тёмное чувство говорит мне — она как будто не против. Оттого и воскликнула: не глядеть.

Монитор опустел, нас обоих поглотила электронная бездна, я стучу по клавишам компьютера, я хватаюсь за ненадёжную ширму — как бы для того, чтобы не дать ей упасть, но мои пальцы разжимаются, рушится загородка, и мы стоим друг перед другом. Всё как было, и всё по-другому; ошеломив на мгновение нас обоих, твоя нагота раскрепостила тебя и меня. Мы свободны, ибо мы те, кто есть на самом деле.

4

Просветлённой вереницей
Глянем в небеса.
Встретят вёсны, встретят птицы,
Встретят голоса.

Ты совлекаешь с себя древнерусский наряд, чтобы надеть чистое исподнее и облачиться вновь, я всё ещё топчусь на пороге, гремят салюты, с треском рассыпаются падающие звезды, жёлтые, красные, зелёные, — армия возвратилась с победой, белоzubая, в пилотке набекрень, в шинели без хлястика, на костылях, прыжками стук-стук. Наплевать на хронологию, прошлое, будущее — не всё ли равно? Я не умею тебе объяснить, Мэри, что же всё-таки случилось в этот глухой день поздней зимы, но ты сама, слепым чутьём постигаешь, что произошло. Кто-нибудь усмехнётся. Ты сама теперь улыбнёшься: подумаешь, событие, увидел барышню, какова она есть. Тебя обступили сенные девушки. Двое стягивают с тебя длинную холщёвую рубаху, третья подаёт свежую, ещё одна держит наготове запону, девичий прямоугольный отрез с застёжками. Наконец, оденут царевну в расшитый наверхник с просторными рукавами. Рыжие вьющиеся волосы подхвачены лазеревой лентой, на тебе венец.

Ты протягиваешь из-за ширмы голую руку. Дай-ка мне... Нет, не та. Она хочет надеть другую рубашку. Я перебираю стопку белья. Опять не то. Бр-р, ей холодно. Стылый гниловатый день, конец зимы. Надо было ехать куда-то к чёрту на рога, на Абельмановскую заставу. С прачечными было туто.

Помнит ли она.

После некоторого молчания: «Помню».

«Что ты помнишь?»

«Я всё помню».

«Ты волновалась?»

«Да, очень».

«Ты себя когда-нибудь рассматривала?»

«Где?»

«В зеркале, где же ещё».

«У нас не было зеркала — такого, чтобы можно было увидеть себя всю».

«Зеркало в шкафу. С внутренней стороны...»

«Не было. И к тому же я стеснялась».

«Стеснялась самой себя?»

«Да, представь себе».

«Тебя волновала твоя нагота?»

«Да... очень».

«Как же это вышло...»

«Что ты меня увидел? Не знаю».

«Но ты этого хотела», — сказал я.

«Сама не знаю... Что-то такое было, словно меня кто-то принудил. Как будто это было необходимо. А я сопротивлялась».

«Тебе было стыдно?»

«Нет. Страшно. И в то же время что-то зудело: а вот возьму и покажусь».

«Это было твоё решение».

«Не моё. Что-то такое во мне было. Как будто прыгнуть в воду. Страшно — и тянет. Я думаю, — проговорила она, — это было наше общее наваждение».

«Скажи, Мэри... Для тебя было важно, чтобы это был именно я, то есть именно я тебя увидел, — или неважно кто, лишь бы мужчина».

Она засмеялась — там, за тысячи вёрст, в несуществующей Америке: «Какой мужчина — ты был всё ещё ребёнок».

«Тебе не приходило в голову, что всё это — мы были одни, и ты как будто согласна раздеться, и я увидел тебя, — что это может кончиться...»

«Этим самым? Конечно. Такая мысль всегда где-то прячется, только мне совсем не хотелось. И потом, где? Не на полу же. На кровати стопки белья. — Она смеётся. — А тебе?»

«И мне не хотелось. Я, по правде сказать, об этом совсем не думал».

«А о чём же ты думал?»

«О тебе».

«Но я тебя провоцировала. Это было испытание».

«Это было... даже не знаю, как это назвать».

Мэри, что с тобой? Ты молчишь. Я слышу твоё дыхание. Или мне показалось? Я отодвинул ширму. Или ты её задела; или она сама повалилась. Ты успела отвернуться, стоишь спиной ко мне. Ты — сама, какова ты есть, какой тебя создали твои предки, длинная череда, и, может быть, ещё кто-то посторонний; и сам я, наконец, понимаю, что я — это я и больше никто, не просто тот, кто говорит о себе: я; и мы с тобой наедине, и между нами только твоя узкая спина, тусклое золото волос, девически опущенные плечи. Глухой, бездыханный день, похожий на вечность, и то, чего я ещё никогда не видел: ложбинка между лопатками, хрупкая талия, расцветшие бёдра и нежные ягодицы. Ты поднимаешь тонкие руки к затылку, чтобы подхватить упавшие волосы, я вижу под мышками рыжие завитки, ты произносишь неожиданно низким, грудным голосом неясные слова, что-то вроде сюда нельзя — как если бы это было сказано на древнеславянском, на греческом, на египетском языке, а в переводе на русский — останься, не шевелись, смотри на меня! И, как во сне, в заэкранной вечности, я послушно беру её за плечи и поворачиваю к себе.

Я думаю, что могу сейчас записать нечто самое важное о себе, только сейчас и больше никогда, потому что моё «сейчас» — это и клокочущий кофе, и стояние у окна, шагание по комнате из угла в угол, и твоя комнатка в Крестовоздвиженском, где ты скрылась за ширмой; я думаю, что в ту минуту, когда я, наконец, тебя увидел, когда ты стояла спиной ко мне, когда повернулась или я тебя повернул к себе, я постиг то, что философ назвал абсолютным настоящим. Ты морщишься: опять философия... Но причина тому — твоя нагота: сбросив всё, что было на тебе, — одеяние царевны, костюм всадницы, которому напугал Печорин, домашнюю кофту, когда ты сидела за столом под оранжевым абажуром, — сбросив одежду, ты лишилась тайны, чтобы облечься в новую тайну.

В теремах живут царевны. Я хотел тебе объяснить, Мэри... в том-то и дело, что они живут вечно. Для них нет будущего, для них есть только одно настоящее. Я постиг это хитрое устройство времени, которое не уничтожает себя, как бегущие над крышей буквы световой газеты, нет, но попросту отступает, уступает место непреходящему, настоящему; я это понял, когда увидел тебя всю, и твои губы всё ещё шевелились, как бы желая сказать: уходи, сюда нельзя, — я понял, что обрёл это утраченное, казалось бы, навсегда сознание вечности. Ты стоишь, опутив руки, рыжие волосы упали тебе на глаза, и полдень длится без конца.

2012

Из сборника
«ОТЕЧЕСТВО ИЗГНАННЫХ»

О Русская земле, уже за шеломянем еси!

Слово о полку Игореве

Хорошо быть чужим,
Хорошо быть ничьим.

Ветрам встречным и поперечным
Парус поставило сердце.

Аноним 50-х годов

ВЕТЕР ИЗГНАНИЯ

Leb die Leben, leb sie alle,
halt die Träume auseinander,
sieh, ich steige, sieh, ich falle,
bin ein anderer, bin kein anderer.

P.Celan. Aus dem Nachlaß¹

I

С тех пор, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует зарубежная литература. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Череда предков за его спиной уходит в невообразимую даль. На берегу Понта его тень греется у огня рядом с Назоном. Вместе с Данте в чужой Равенне не он ли испытывал злобную радость, заталкивая папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Александр Герцен покоится на кладбище в Ницце за три тысячи вёрст от Москвы. Немецкий поэт Карл Вольфскель писал из Новой Зеландии друзьям: «Сюда-то уж они не доберутся». Он лежит на окраине Окленда, под камнем с надписью *Exsul* поэта, «поэт-изгнанник». На могиле Иосифа Бродского, на острове-погосте Сан-Микеле в Венецианской лагуне написано только имя.

Ура, мы свободны!

«Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключённый, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой». Это реминисценция Данте, это у него сказано о горьком хлебе чуж-

¹ Живи все жизни, не смешивай сны. Смотри: я поднимаюсь, смотри, я падаю. Я — другой, я тот же. (*Пауль Целан*, из посмертного.)

бины (lo pane altrui). Предполагается, что дома хлеб сладок. Как бы не так. Ахматова не могла признаться себе, что она эмигрант в собственном отечестве.

II

Слово *exsilium*, изгнание, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает всё то же. Изгнать значит прогнать насовсем, чтобы духу твоего не было. Изгнанный умирает для тех, кто остался и самим этим фактом как бы приложил руку к его изгнанию. Так было со всеми; и с нами, разумеется. Между тем мы не умерли. Прошли годы, кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беглецы и беженцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон, дорога «домой» открыта.

Но изгнание — это пожизненное клеймо, бывают такие неустрашимые стигматы. Изгнание, если угодно, — экзистенциальная категория. Можно объявить его недействительным, сделать его нереальным невозможно.

Византийская поговорка гласит: когда волк состарился, он издаёт законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажет нам прежний оскал.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Её памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? Но даже если бы их больше не было в помине. Даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная хранилища коррупции, дикости, привычного измывательства и произвола, — возвращение оказалось бы для изгнанника новой эмиграцией. С него хватит одной.

III

Разумеется, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Родина, как лицо умершей женщины на фотографии, стоит перед его глазами, какой он видел её в последний раз. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рождает детей, и даже чего-то достигла в жизни.

Всё его существо — сознаёт он это или нет — противится предположению, что «у них там» может выйти что-то путное. Не оттого что он кипит ненавистью к оставленной родине, отнюдь нет; но потому, что он так устроен. Это не должно удивлять. Это можно было легко заметить у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они так упорно возлагали свои надежды, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой на самом деле давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадёжной. Солдат, раненный в деле, считает его проигранным, сказано у Толстого. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, не потому, что она желает ему зла, а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живёт этой памятью.

С изгнанием ничего не поделаешь, изгнание — это отъезд навсегда. Билет в одну сторону, побег с концами. Вынырнуть ночью за бортом, вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в небытие, в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потустороннего мира в широкий мир, из рабской зарешечённой страны — на волю.

IV

За эту удачу нужно было платить. В сущности, за неё надо было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, наградившее беженца пинком в зад, вместо того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, — не довольствовалось тем, что ограбило его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть всё, что он сделал, выскоблить всякую память о нём. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Всё, что он написал, подлежит изъятию. Его не только нет, его никогда не было.

Зато никуда не денется, никогда не пропадёт его пухлое дело с грифом «Хранить вечно». Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Авось когда-нибудь ещё удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместо имущества и «корней», нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропор-

ту Шере-метьево-2, в последние минуты, его раздевают, как водится, догола, но самого главного не находят. Волчьи челюсти щёлкают, ловя пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, — это язык.

Язык! Неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают у сброшенного со скалы, язык, не напрасно названный жилищем бытия. Язык возрождается в каждом из нас и переживёт всех нас, и через голову современников и правителей свяжет нас с традицией. Никто не относится к языку так ревниво, никто так не страдает от надругательства над языком, как эмигрант. Гейне назвал Библию портативным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное и неистребимое отечество, которое изгнанник унёс с собой, — язык.

V

Но ведь там, где он бросил якорь, всё называется по-другому, и даже если ему не чужд язык приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык — так, по крайней мере, ему кажется — непереволим. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, — это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет собой замкнутый контур мышления, но русский изгнанник затворён вдвойне, он прибыл из закрытой страны, из гигантской провинции; самая ткань его языка пропахла затхлостью и неволей.

Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезённые с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, ущемлённого самолюбия и страха признаться самому себе, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы, то необыкновенное, неслыханное счастье, от которого рвётся грудь и о котором не имеют представления те, кто остался, — обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных faux pas, спотыканий, осечек.

О них отчасти могут дать представление первые пробы пера на чужбине и даже обыкновенные письма родным. Отчёт новосёла о жизни в другой стране — документация недоразумений. Вопреки распространённому мнению, первые впечатления ошибочны. Де-

вать десятых того, что было написано и поспешно опубликовано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. «Свежий глаз» наблюдает поверхность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.

VI

Знание языка не ограничивается умением понять, о чём говорят; скорее это умение понять то, о чём умалчивают. Настоящее знание языка — это знание субтекста жизни. Неумение понять окружающих, а ещё больше непонимание того, о чём они *н е* говорят, что разумеется само собой, превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся как с несмышленищем. Простой народ принимает его за слабоумного.

Но и самые скромные познания в языке — роскошь для подавляющего большинства русских эмигрантов, не исключая интеллигентов. О писателях нечего и говорить. Вот одно из следствий жизни в закрытой стране. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключился звук. Что происходит? Действующие лица смеются, бранятся, жестикулируют. Он глядит на них, как потерпевший кораблекрушение — на островитян. Как письмо из клочков бумаги, он тщится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных налету слов. Когда же мало помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остаётся для него зашифрованным, невнятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста.

Но он — писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, нежели разрешённым, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель и может писать только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У него открытый счёт в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили, как конники князя Игоря, за холмом.

VII

Эмигрант переполнен своим прошлым. Он должен его переварить. Условия самые подходящие: переваривание начинается, когда процесс еды в собственном смысле закончен — когда перестают жить прежней жизнью. Забугорная словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она «возвращается», то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное: новое зрение.

Люди, ослеплённые предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на нищету. Власть, приговорившая литератора к остракизму, преуспела вдвойне, заткнув ему глотку на родине и выдворив его на чужбину. Теперь он окончательно задохнётся. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки. Свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем ботанические метафоры более или менее ложны. Они были ложны и сто лет назад. Потому что литература — сама себе почва. Литература живёт не столько соками жизни, сколько воспоминаниями: память — её питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти.

Если труд и талант составляют две половины творчества, то память — его третья половина. Когда независимость влечёт за собой кару, когда писательство, не желающее служить кому бы то ни было, объявляется государственным преступлением, когда родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или «изменить родине», — тогда эмиграция предстаёт перед ним как единственная возможность отстоять своё достоинство. Тогда изгнание — единственный способ сохранить верность литературе. Эмигранту — и это тоже часть традиции — присуще непомерное самомнение. Он утверждает, что он «не в изгнании, а в послании». С неслышанной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому изгнаннику — Томасу Манну: «Wo ich bin, ist der deutsche Geist».

Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

VIII

Он уверен, что настоящая литература не страдает от дистанции, наоборот, нуждается в дистанции — и во времени, и в пространстве. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, — в противном случае она вянет, как только спускается вечер, и на другой день о ней уже никто не вспомнит, — но жива тем, что стоит перед мысленным взором писателя, на экране его мозга: это просто «осознанное» (воплощённое в слове) сознание. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как *praesens praeteriti*, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература — дело медленное: дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.

Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс ускользнувшей, очнувшейся на другом берегу словесности.

Это — творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даёшься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в своё дело, чтобы всё ещё корпеть над своими бумагами, всё ещё писать — в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разрежённом пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник (*unus in hoc pecto est ropulo*, жалуется Овидий, ни одного человека среди этого народа, кто сказал бы словечко по-латыни!). Если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический, а не тот, который может удовлетворить художественная словесность; обыкновенно от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чём уже сообщили газета и телевизор. Безнадёжная ситуация. И вместе с тем — вместе с тем это писательство, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

IX

Выбрав удел политического беженца и отщепенца, писатель лишился всего. Чёрт возьми, тем лучше! Он одинок и свободен, как никто никогда не был свободен там, на его родине. Пускай он не

решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, может быть, всю оставшуюся жизнь. Зато он живёт в мире, который прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение, независимо от того, удалось ли в него вжиться. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, как миновал век национальной музыки и национальной живописи. Но литература, увязшая в «национальном», обречена, это литература провинциальных углов и деревенских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, — что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь, огромная, необычайно сложная, несущаяся вперёд, оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом. Об этом опыте не догадываются те, кто «остался». Недаром встречи с приезжими соотечественниками так часто оставляют у него чувство общения с людьми, которым как будто не хватает одного глаза.

Расстояние имеет свои преимущества, о них хорошо знали классики. Гоголь в Риме, Тургенев в Париже, Достоевский, создавший в Дрездене едва ли не лучший из своих романов, — нужны ли ещё примеры? Взгляду из прекрасного далёка открывается доселе неведомый горизонт.

Х

Оставив злое отечество, писатель-эмигрант хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он по-своему верен отечеству, только это такое отечество, которого уже нет. (Может быть, никогда и не было). В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как «бывшие». Надтреснутые чашки, как выразился о немецких эмигрантах Эрих Носсак. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас эти инвалиды шагают вперёд бодрее других. Во всяком случае упреки в том, что они «оторвались», совершенно справедливы.

Действие «Улисса» приурочено к июньскому дню 1904 года, книга пишется во время первой Мировой войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу — а чужак корпит над сагой о временах, теперь уже чуть ли не допотопных. «Человек без свойств» создаётся в межвоенные годы и годы второй Мировой войны, а в ог-

ромном романе не наступила ещё и первая; действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. «Доктор Фаустус» начат 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, разговоры, споры, события — всё это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, — пишет, как в забытьи, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого. Парадокс, однако, в том, что прошлое может оказаться долговечнее настоящего. У прошлого может быть будущее — настоящее же, как ему и положено, станет прошлым.

XI

Лозунг Джойса: *exile, silence, cunning*. В несколько вольном переводе — изгнание, молчание, мастерство. Превосходная программа, если есть на что жить. Автор «Улисса» сидит в Триесте по уши в долгах. Роберт Музиль в Швейцарии сочиняет воззвание о помощи: нечем платить за квартиру, не на что жить. Жалкая нищета российской «первой волны» — общеизвестный сюжет. Вопрос, который задаёт себе писатель-изгнанник, есть, собственно, вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым пишущим, только в нашем случае он приобретает драстический характер: кто его затащил на эту галеру? Почему, зачем и для кого он пишет? Вопрос, на который нет ответа.

*Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,
Nec me sollicitae taedia lucis habent,
Gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,
Tu curae requies, tu medicina venis.
Tu dux et comes es...¹*

То, что делает проблематичным любое писательство и вдвойне сомнительным — писательство в изгнании, есть именно то, что делает его необходимым; воистину мы околели бы с тоски, когда бы не «муза». Чем бессмысленней и безнадежней литературное сочини-

¹ Итак, за то, что я жив, за то, что справляюсь с тяжкими невзгодами, с докучливой суетой каждого дня, за то, что не сдаюсь, — тебе спасибо, муза! Ты утешаешь меня, ты приходишь как отдохновение от забот, как целительница. Ты вожатый и спутник... *Овидий*.

тельство, тем больше оно находит оснований в самом себе. И можно спросить — или это всё та же заносчивость отщепенцев? — можно поставить вопрос с ног на голову: не есть ли эмиграция идеальная модель творчества, идеальная ситуация для писателя?

ХП

Всевозможные эмигрантские исповеди оставляют впечатление тяжёлого невроза. Но это вовсе не общий удел. На самом деле эмиграция — это, знаете ли, большая удача. Это значит не петь в унисон, не шагать в ногу; не кланяться ни режиму, ни народу, не принадлежать никому. Хорошо быть ничьим. Что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Умерший в эмиграции публицист и поэт Илья Рубин писал:

Над нами небо — голубым горбом,
За нами память — соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть чужим. Умереть, зная, что «там» по тебе никто не заплачет. Дом сгорел, возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас: в русскую литературу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатлительные фантастических. На помощь пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчётливо каждое слово и ничего не понимал. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали, за что уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что значит возвращаться, куда?

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание загранице; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего не изменилось за эти годы. Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. Незачем было торопиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — беззвучно спросила она. — Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыбнулась.

«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахла на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели: «Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёлся, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормотал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-старому? Что значит по-старому? Опять всё сначала: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было...»

О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменялось.

«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала».

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас мне снишься?»

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраниют, это не Россия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я объяснил: нам бы только добраться до метро.

«До метро?»

«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает».

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» — пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться в голо-

ве. А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.

«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахла халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал куда деваться от тоски и горя.

Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — Теперь всё поправили. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое впечатление, будто город исчез. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! — закричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или минут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадёжности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa!*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устаами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне

¹ Имена ненавистны (*лат.*)

здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут паcёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

«Да ну?» — сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».

«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда поймёшь, хочет она или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказал! А то хуже будет», — добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.

«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид нежилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким затылком, в парчовом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», — презрительно сказал я.

«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», — возразил я.

«Нет, вы это серьезно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насутился. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, грибастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрещину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ты... йёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдо с полурасплюсненным пирожным.

«Сливки?» — осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне.) Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» — сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблеме бытия?»

«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо идти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ась? Не слышу».

«На работу...»

«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».

«Одно другому не мешает».

«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забирая у меня пирожное. — Полиция дело десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожевал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научишься... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да

ты и сам не вылезешь в такую погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения подаваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, — один раз поймаю — всё, ты у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? — крикнул он. — Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски. Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе.

«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.

«Гармония происходит оттуда, — он поднял кверху палец, — это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слышал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», — сказал я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно побираешься? Один живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не выделяли меня среди спующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к нижней половине среднего класса. Я как бы видел себя со сто-

роны. Мои глаза приняли неопределённую окраску — это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрывки перед статуей кондуктора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминового приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки про-

цеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погода я отправляюсь в кабинет Клим, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я — работой и какой ни есть зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, чем реальности, и декларирует сверхистину снов; я не удивился бы, увидев вместо Клим в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже

думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клим. Возможно, я несую околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, прикинуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женскими и мужскими, — я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело происходит в полуподвальчике неподалёку от наших мест. За каким лешим, спрашивается, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на ты».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в цивильной одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжѣванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником монарху. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.

«Prost, малыш».

Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», — сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал».

«То, что вы слышали».

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утинового носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в мюллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Процветающее общество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот прощельга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил бокале по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал он, утирая рот салфеткой, — рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайноведением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не пригласить ли её к нашему столу,

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутины, из этих оглобелей; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Журналист?» — просипел профессор.

«Не то что бы, но вроде».

«А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий некоего Шекспира? Чем снится нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, запихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! — Дядя показал кулак. — Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», — сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», — сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем протитуированном обществе... А вы, случайно, не представительница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, приосанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«Х-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запьянею».

Я осведомился о её спутнике.

«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — пролепетал профессор.

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. — Даже если он не воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся головами, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».

¹ Знатность обязывает (*фр.*).

«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на вы, профессор. — Он сказал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на корточки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марью Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».

«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то сообщал. Потом произнёс по-русски с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»

«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», — сказал хозяин.

«К солёной маме! — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал он самодовольно.

В погребке зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручищи, двинулся к нам.

Фраппирован был и мой друг профессор.

«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутан схватил дядю за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду: коллега — известный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас разорит!» — кричал профессор. Никто уже не обращал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. — Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о другом. Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни хлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современ-

ных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Марья Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продолжать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле виделись где-то — ведь мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове — обманчивая мысль, — когда я сидел с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь остановилась бы и спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бежать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне *à l'aise*¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора удостоверяла, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыхла дешёвая музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фане-

¹ непринуждённо (фр.)

рованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком взобрались на последний этаж.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Марья Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. Станным образом — я заметил это ещё в кафе — она не была даже накрашена. О её фигуре невозможно было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития.

Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартамент», состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потолка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Марья Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожалала плечами.

«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Согласен, я вёл себя бестактно. Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра на работу», — проговорила она после некоторого молчания, не решаясь или не пожелав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. Я подлил ей и себе, она не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы слегка ослабили поясок халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдёрнула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет.

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв рот, я озирался, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И из недр этой блаженной тишины до нас донёсся храп.

Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она осторожно, — не надо столько пить...»

Она добавила, опустив глаза:

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

Я сказал: «У тебя там кто-то есть».

«Она спит. Не обращайтесь внимания».

Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатуха; я принял её за кладовку. Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»

Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.

«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя.

«Тебе приходится бывать у женщин?»

«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»

«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.

Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иудейка на пороге шатра.

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам предлагают воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не до конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. Мой маршрут изменился. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед остановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Всё смешалось в моей голове и смешалось на улице, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью автобус. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить что к чему, я подумал, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бушевали пожары. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих корпусов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, — оказалось, что она несколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал: «Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: или — или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спору. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отщепенца. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, прищурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть, его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, блестели орлы на фуражках, отсвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, поддержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водится, висел чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подаяние перед церковью Святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед окном, выходящим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что

все наши ссоры в конце концов завершатся примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть оружие из невидимой кобуры под мышкой и пристрелить арестанта, — люди с такими лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то, чтобы вернуться».

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова побарабанил пальцами, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».

Что он имеет в виду?

«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следовательно, как и полагалось, перешёл на «ты».) А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж инструкций.

«Ты дурочку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — тот город с башнями и церквями, с широкими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он рассказывал в тени, взад-вперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою старую, большую мать и укатил за тридцать земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, который оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул большим пальцем через плечо. — А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, присела на край кровати.

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, — сказал я. — Думаю».

«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»

«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы. Мои мысли были далеко.

«Я всё брошу», — проговорила она.

«Вот как».

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюрки».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.

«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбужу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», — попросила она.

О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.

«Мы увидимся?»

«В чём дело?» — спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показалось. Я оглядел её, она запахнулась плотней, подтянула поясок халата.

«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что процент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость — прежде всего».

«Отваливай, говорю», — сказал я, расстилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюститель закона.

«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», — отвечивал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальдемар. — Вот так лет двадцать походит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И паханá навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»

Я спросил, какого дела.

«Насчёт штофа, едрёна мать».

«Пробовал», — сказал я.

«Ну и как?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.

Он добавил:

«Цена обычная».

«Буду иметь в виду», — сказал я. Итак, это случилось вчера вечером. Пока мы лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.

«Давно?» — спросил я.

«Что давно?»

«Давно он там?»

«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его замечаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — воскликнул он.

«То есть как замечаю?»

«Очень просто. Тариф прежний — двадцать пять процентов. Порядок есть порядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Клима охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызволением родины из оков деспотизма, мой коллега и работодатель не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорогой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клима. Он придавал этому знакомству большое значение. Pater familias, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клима нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец,

микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клим, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб короля Генриха Птицелова или ясень Игтдрасил. На ветвях вместо птиц и животных висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл:

«Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомленность. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без

умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не попевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс переменил позу. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:

«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления советских властей. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz?¹»

«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы прошли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же поместительной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний».

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй».

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой».

¹ дорогая (нем.)

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается».

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хозяйка, — что это советская песня».

«Советская власть гораздо старше, чем думают».

До нас донёлся голос Клима:

«Наши нивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хозяйка притворила дверь.

Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется».

«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь Святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостиной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», — заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдемте, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришли по вкусу друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шляпу, я отправился к моему другу и кровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что проклятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, выпрыгнуть на ближайшей остановке.

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — пробормотал я, — последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел никелированный треугольник для подтягивания в постели. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завернутые в бумагу ампулы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: *paх in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест пространства — короткое вступление. И два волшебных женских голоса запели:

¹ на земле мир и в человеках благоволение (лат.).

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.

Dum pendebat Filius¹.

Немного погодя он сделал знак остановить музыку.

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил: «Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И вообще. Я пересматриваю свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говноедах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-нибудь в лапы...»

«А что говорят эскулапы?» — срифмовал Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараемся».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загребает воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают».

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять... Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».

«Кто говорит?»

¹ ...висел Сын (лат.).

«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольны с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал профессор, — и я не знаю, как его звали».

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Больной пробормотал:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».

«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».

«Да ведь ты, папаша, неверующий».

«Или студентом на теологический факультет».

«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»

«Что?» — нахмурился патрон.

«Я говорю, пока вы здесь, он...»

«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганые, мародёры, стоит мне только отлучиться!..»

«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно». Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

XII

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, — сказал он. — Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», — сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, что отношения наши малопомалу достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом.) Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонувшее в дымке, всё дальше уходившее от нас в

свою собственную недоступную жизнь, — для Клим это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там ждали, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, — сказал я. — Привет».

Там молчали.

«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В

редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.

«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клим.

XIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, на голубей, туристов, колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла вовремя. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на сублильную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», — сказал я.

Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл Адажио си-минор, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, там сказано иначе».

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» — проговорил я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована».

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на паперти?...»

«Света-Мария», — проговорил я.

«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из ложных версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-где обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залатанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие прохожие растворились в сумерках, протрусила собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал не торопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квартиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платья, а где то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», — сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.

«Катя, — сказал я, — какой я идиот».

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?» — спросил я, и она снова кивнула.

«Это — они?» — прошептал я в ужасе.

Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завёрнутые в газету, достал со дна жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на донышко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь оставаться, возразил я или, может быть, подумал.

Всё своим чередом, сказал он.

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделится. Одну ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катюха?»

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», — проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол.

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрав кверху морду, возле кровати.

«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

XV

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потребность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их втолковывает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пи-

шет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Сверкающий столбик ртути в термометре столетий то опустится, то подскочит ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: именно в это время нас угораздило жить. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоровне: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужская причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувствовал, что тут примешивается что-то другое. Возможно, я просто жалел Машу. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое

могли быть двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала; если уж на то пошло — доказательством любви. А для меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слыхал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журналчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пишете, небось тоже на американские денежки, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Какого Ильина?»

«Иван Александровича, профессора!»

«А», — сказал я.

«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К Маньке?»

«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».

«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье дело. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты — не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше похорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он погрозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант потёр палец о палец, — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.

XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-автоматов, спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны и увидел. Она ждала на стоянке, помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церковей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин, медным, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал мемуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлежность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на ты. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент — насилие...» Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

Она сказала:

«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, — всё было уже известно, эта бестия отделалась царапинами... — на другой день дедушку срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил:

«По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schlößchen, крошечный домик-зámок в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».

Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла придти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».

Блэклое голубоватое небо незаметно превратилось в серожемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной опушки. «Расскажите о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам в самом деле интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И слепые фиолетовые небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдаль — пелена облаков, или другие леса, или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»

«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. Я подставил руку кверху ладонью.

«Вы думаете, капает? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падайте в обморок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не считите это экстравагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упавши с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», — сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет?».

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет, никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упрёком. — Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».

«Значит, э...»

«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, — за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы завтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхототаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме. Спустя немного я услышал ее голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — говорила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось удивительное спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; лицо её выражало полную безмятежность, уста приносили будничные незначащие слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая фраза наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался сначала вполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувствовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, понять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефонные переговоры, визиты в редакцию и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало-помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильнее из России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвратимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая

на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли заинтересует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделан для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается совсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Конечно».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. Что нам здесь делать?»

«А что там делать?»

«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь — никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денежки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал прикреплённый над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, — я испытывал облегчение.

¹ резюмируя (англ.)

Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, наконец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от рутины, от этих оглобель жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных прохожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, на другой планете, в те ослепительно-солнечные дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным штабелем дров на дворе. Я сложил крест-накрест сухие мелко распиленные поленья. Между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решётку к очагу, уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного шавли ргітеиг. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Pax in terra et in hominibus benevolentia.*

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая дистанция отделяла от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной кроватью, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с отсветами огня на железной обивке перед печкой. И снова — *pax in terra*, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви», — сказал я.

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на ступенях св. Иоанна Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки огня — фаллические цветы — и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то происходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленищами, и за это время прошла вся жизнь, и жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сейчас мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоятельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосой женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что в конце концов у меня есть собственная гордость, — ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».

«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».

«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены».

«Причём тут большевики».

«Не понимаю».

«Её нет — одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, — сказал я с пола, — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я произвольно начинаю на нём же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык род-

ных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке среброголовую бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, с портретом бессмертной вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.

«Ах да, согласие... — Меня смерили длинным взглядом. — Я считаю, — внятно сказала она, — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отколупнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжется кипенье. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!» — и она назвала меня по имени.

«Zum Wohl»¹.

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин? Она покачала головой.

«Между прочим, — холод шампанского почувствовался в её голосе, — отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не понимать, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

¹ на здоровье (нем.).

«Да».

«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», — сказала она.

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фриivolности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Станный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласишься, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регулярного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне это рассказываешь?»

«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

XXII

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование — штаны, балахон, древнюю касторовую шляпу, к которой я питаю суеверную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похожих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, — сказал я, — сижу...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», — сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá окончательно закрепить за собою его привилегии. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хотелось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спинай ко мне, на постаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Фёдоровну, когда она опустилась на скамью рядом со мной.

Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял из её рук аккуратно завёрнутый бутерброд, банку кока—колы, прочёл, жуя и прихлёбывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали пошлину с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, продолжал я, и тогда герцог велел разрушить переправу и построил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в конце января, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-нибудь притащит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, можно ночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запира́ть двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревянные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порыжевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволакивали наверх, и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для

желающих воспользоваться двупальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие, по собственной воле намеревался проститься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было зябко, пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабыстым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой одежды; мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колыхающегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и обветшалый подъезд, ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ничего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество — фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажёгся над столом в оранжевом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов — было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина,

осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас поправился, сказав, что приехал налегке; она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду.

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай».

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготавливаю? Я всё найду!» — крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдце».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» — я осёкся.

«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.

«Слава Богу», — пробормотал я.

Она проговорила:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».

«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, неубранными улицами, вечной толчейей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, — она кивнула на неубранную постель. — Я себе постелю на полу».

«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить по-русски, — я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. Станный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь».

Чай остыл.

СОДЕРЖАНИЕ

Из сборника
«ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ СУРОВЫЕ»

Взгляни в глаза мои суровые	8
Диспут	27
Апофеоз	36
Валерия.....	41
Гиббоны и облака	59
Дорога	
1. <i>Интродукция</i>	64
2. <i>Путевые картины</i>	66
3. <i>Попутчики</i>	68
4. <i>Воспоминания</i>	71
5. <i>Туннель</i>	73
6. <i>Другая жизнь</i>	75
7. <i>Финал. Чудесное пробуждение</i>	77
Лигурия	79
Ноктюрн	92
Ночь Египта	100
Русалка.....	116
Сера и огонь	129
Страх	147
Французский рассказ.....	167
Διαλόγοι	
<i>Художник и смерть</i>	176
<i>Поэт и Вельзевул</i>	177
<i>Адам и Ева</i>	180
<i>Иосиф и жена Потифара</i>	182
<i>Рабби Лёв и Голем</i>	184

Из сборника
«ЗАБЫТАЯ ТЕТРАДЬ»

Две речи

<i>Речь по случаю присуждения Русской премии (2009)</i>	189
<i>Речь, произнесённая в Гейдельберге при получении премии Literatur im Exil (Литература в изгнании)</i>	190

Три предисловия

<i>К повести «Запах звёзд»</i>	194
<i>К повести «Третье время»</i>	195
<i>К повести «Светлояр»</i>	196

Vita somnium breve	198
--------------------------	-----

Пушкин.....	202
-------------	-----

Veritas.....	204
--------------	-----

Tristan.....	206
--------------	-----

Похож на человека	209
-------------------------	-----

Поколение	220
-----------------	-----

Мёртвое десятилетие.....	223
--------------------------	-----

Сталь и плоть	225
---------------------	-----

Детство тридцатых.....	231
------------------------	-----

Путь-дороженька	234
-----------------------	-----

Памяти книг	237
-------------------	-----

Радуга	239
--------------	-----

Творцы

<i>Женщины Дельво</i>	241
-----------------------------	-----

<i>Чудовища Браунера</i>	241
--------------------------------	-----

<i>Венера Кустодиева</i>	243
--------------------------------	-----

<i>Огневолосая девушка Танги</i>	243
--	-----

<i>Гости Перуджино</i>	244
------------------------------	-----

Идущий по воде	245
----------------------	-----

Из сборника
ЭТЮДЫ О ВЕЧНОСТИ

Часть 1. Дом на берегу

<i>1. Рижское взморье</i>	257
---------------------------------	-----

<i>2. Москва</i>	259
------------------------	-----

3. Где-то в России	261
4. Океанский берег	262
Часть 2. Снова Россия	
<i>Давным-давно</i>	266
<i>Сюжет</i>	268
Часть 3	
<i>Мариенбад</i>	273
<i>Карлсбад</i>	284
Часть 4	
<i>Арбатские переулки</i>	293
<i>Улица Горького</i>	300
<i>Крестовоздвиженский</i>	303
Из сборника «ОТЕЧЕСТВО ИЗГНАННЫХ»	
Ветер изгнания	311
Возвращение	321

Хазанов Борис

Дай мне имя

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

Корректор *Д. А. Потапова*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97

«Фаланстер», М. Гнездиновский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

в Риге:

«Intelektuāla grāmata»

Rīga, Kr. Varona iela 45/47. Тел. 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/8. Усл. печ. л. 25. Печать офсетная.

Заказ № 114572



Борис Хазанов (псевдоним Г.М. Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги Бориса Хазанова:

Истинная история минувших времен.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Романы, повести, эссе

Миф Россия. Статьи и эссе

Подвиг Искарриота. Рассказы, статьи, письма

В лучах чужих планет. Рассказы, статьи, переводы

...Пиши, мой друг. Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

Элизиум теней.

Пусть ночь придет. Повести о женщинах

Человек-перо. Писатели и литература

Письма из прекрасного далёка.

В садах за огненной рекой.

Тревога и труд.

Праматерь.

Зимнее солнцестояние.